



Мир приключений

ЗОРКОЕ ОКО



Аннотация

Героизм, отвага, верность долгу русских разведчиков, а также людей, «зоркое око» которых помогало хранить державу, – основная тема сборника, в который вошли произведения А. И. Куприна, А. Н. Толстого, М. Зощенко, Вс. Иванова и др.



ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ

1

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:

«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».

Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день – на два из Петербурга и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консistorского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверным словом в карман не лазил.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником – настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по несколько раз в главный штаб, в комитет заботы о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унижительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но – сто чертей! – проклятая нога не хочет заживать... Вообразите себе – нагноение! Да вот, посмотрите сами. – И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое,

праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате, — он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:

— Пожалуйста... не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ... Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.

Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечеству, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.

Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как

только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался с своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда он наконец уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхолненные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:

— И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства... Бедная Россия!..

В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи — портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.

Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырёх часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.

Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.

И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.

2

Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но неглубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.

Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.

– Пожалуйста, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.

И толстый, низко стриженный рыжеусый Прохор так же фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.

– Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйста-с. Все свои-с.

Как и всегда, братья писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать расстегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.

Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной бесшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.

Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:

– Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать – шестая великая держава. Что? Не правда?

При этом он ослаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.

«Где я его видел? – мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. – Удивительно кого-то напоминает. Кого?»

Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера – Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двенадесятые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.

Длинный, вихлястый, угреватый Матаня сказал:

– Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.

Офицер прокашлялся и сплюнул вбок на пол.

«Хам!» – подумал Щавинский, поморщившись.

– Русский солдат – это, брат, не фунт изюму! – воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. – Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом... Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц... А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.

– Вы, генерал, что-то о съемках начали, – напомнил Матаня.

– Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнул я сегодня. – Рыбников метнул быстрый острый взгляд на Щавинского. – Да, так вот-с... Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков – лихое войско, черт его побери... Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребятушки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на кроки: «Деревня Бутунду». Опять едут – опять деревня. «Название?»

– «Бутунду». – «Как? Еще Бутунду?» – «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит, – Иванов седьмой, а все-таки дурак!»

– А-а! Вы знаете Чехова? – спросил Щавинский.

– Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово... Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак...

– Вы с ним там на Востоке виделись? – быстро спросил Щавинский.

– Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем... Хоть ты и седьмой, а...

Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодежатыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и шелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видал и не мог определить, – какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.

В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие жесткие черные

волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара... Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивавшей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица – злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее – лица, принадлежащего существу с другой планеты.

«Точно я его во сне видел», – подумал Щавинский.

Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.

Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко:

– Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я. – Он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. – Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врагов. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?

Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:

– И, не считаясь, сдается в плен.

Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на

мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.

– Ничего не поделаешь – божья воля. Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не верно? – Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить!

– Мы все авось, да кое-как, да как-нибудь – тят да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают как машины. Макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?

– Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? – спросил Щавинский.

У Рыбникова опять задержались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро держались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.

– Кто знает! – воскликнул штабс-капитан. – Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова... А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?

Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли в это время кофе.

– Не хотите ли рюмочку коньяку? – предложил он штабс-капитану.

Рыбников опять слегка похлопал его по колену.

– Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? – воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.

«Притворяется», – подумал Щавинский.

Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.

– Может быть, пива? Красного вина?

– Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси¹.

– Сельтерской воды?

Штабс-капитан оживился.

– Ах, да, да! Вот именно... именно сельтерской... стаканчик не откажусь.

Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими, жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.

«Притворяется, – опять подумал Щавинский. – Что за диковинный человек! Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян».

¹ Большое спасибо (фр. *grand merci*)

– Жара, черт ее побери, – сказал Рыбников хрипло. – Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.

– Нет, ничего. Мы привыкли, – пробурчал Ряжкин.

– А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны? – спросил Рыбников. – Эх, господа! – воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. – Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишете. Вы только пишете. Так и озаглавьте: «Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны». Нет, вы не думайте – я без денег, я задаром, задаром. Как вы думаете, господа писатели?

– Что ж, это можно, – вяло отозвался Матаня, – как-нибудь устроим вам интервьюшку... Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?

– Нет, ничего; а разве что есть?

– Рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй! Патологический случай, расскажи Щавинскому!

«Патологический случай», человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом, сказал в нос:

– Я не могу, Владимир Иванович, ручаться. Но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя. Что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг. Чуть ли не двадцать судов.

– Это действительно ужасно, – тихо произнес Щавинский. – Может быть, еще неправда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное, глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды.

Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета «Славы Петрограда», чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью.

— Носятся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов.

— Я слышал, что главнокомандующий повесил пятьдесят сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер.

Щавинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово.

«Господи, да кого же наконец он напоминает?» — в десятый раз с нетерпением подумал фельетонист.

Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству: притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным.

Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением pokrutil головой.

– Ужасное известие. Вы верите? Что? Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как мы, русские, говорим: бог не выдаст, свинья не съест. То есть я хочу сказать, что свинья – это, конечно, японцы.

Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щавинского, и в его рыжих звериных глазах фельетонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти.

В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера.

– А, японская морда, ты еще здесь? – сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. – Поговори у меня еще!

И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.

«Японец! – подумал с жутким любопытством Щавинский. – Вот он на кого похож». И Щавинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью:

– Однако вы фру-укт, господин штабс-капитан!

– Я? – закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. – Я – штабс-капитан Рыбников! – Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. – Мое русское сердце болит. Позвольте пожать вашу правую руку. Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу. Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу.

Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны.

– Ну вас, бросьте, штабс-капитан. Верим, – сказал, морщась, Щавинский.

Но тем не менее из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан *армейской пехоты* носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико.

В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане.

– Это для вас, Владимир Иванович, – сказал Матаня, разорвав конверт. – Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на Зенита. Я вам во вторник отдам.

– Поедьте со мной на бега, капитан? – предложил Щавинский.

– Куда? На бега? С моим удовольствием. – Рыбников шумно встал, опрокинув стул. – Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй, к чертовой матери! Ха-ха-ха! Вот каков. Что? Не правда?

Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щавинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно:

– Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше чем в чине полковника, и теперь – военный агент в России...

Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло с новым пьяным восторгом:

– З-значит, мы с вами з-закутили! Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ! Здорово пьют и

знают жизнь насквозь. Веселие Руси есть пити. А я, брат, здорово с утра дерябнул.

3

Щавинский – и по роду его занятия и по склонностям натуры – был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды» – шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман – ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть; но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона – пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все: просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял – точно у бушменов – десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз; он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустият пышным махровым цветом

своего уродства; льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лезть – ключ ко всем замкам; щедро раздавал займы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий – так сказать, поддержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело.

Но уж давно никто так глубоко, до волнения, не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щавинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щавинский думал решительно:

«Нет, не может быть, чтобы я ошибался, – это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем эта напряженная,

нервная, жуткая развязность... Но если все это правда и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца! Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью».

Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага, был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана.

Но иногда он мысленно одергивал себя:

«А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцеведец, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц». И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса.

Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно и при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа – видит тот или нет?

Однажды Щавинский не вытерпел и сказал:

– Однако вы набожны, капитан.

Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел:

– Ничего не поделаешь, батенька. Привык в боях. Кто на войне не был, богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию – пули визжат, шрапнель, гранаты... эти самые проклятые шимозы... но ничего не поделаешь – долг, присяга – идешь! А сам читаешь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси...»

И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук.

«Шпион!» – решил Щавинский.

Но он не хотел оставить свое подозрение на половине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете, за обедом, он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки:

– Слушайте, капитан, теперь нас никто не слышит, и... я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротно, я глубоко убежден, что вы – японец.

Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком.

– Я штабс...

– Нет, нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы ни умны. Очертание скул, разрез глаз, этот характерный череп, цвет кожи, редкая и жесткая расти-

тельность на лице, все, все несомненно указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас, что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью, я скажу даже больше – полно благоговением, – ужасом, если хотите. Я, – а ведь я писатель, следовательно человек с воображением и фантазией, – я не могу себе даже представить, как это возможно решиться: за десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью, – ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли? – и вдруг разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании, вести самые рискованные разговоры! Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот, полчаса тому назад, вы вместо слова «рукопись», сказали – манускрипт. Пустяк, а очень характерный. *Армейский* штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет: рукопись, а сочинение. Но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать по-японски, совсем забыть свое имя, отождествиться с другой личностью. Нет, нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не враг вам.

Он говорил это совсем искренно, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему

рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и на лесть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глазами в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щавинский узнавал все ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда не постижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы.

– Э, бросьте вы, благодетель, – возразил небрежно Рыбников. – Ну его к дьяволу! Меня и в полку дразнили японцем. Что там! Я – штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человеческая. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай...

– А вы в каком полку служили? – внезапно спросил Щавинский.

Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые, заезженные, похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах. И Щавинский почувствовал невольную обиду.

Один раз, уже вечером, сидя на извозчике, Щавинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса:

– Капитан... нет, не капитан, а, наверное, полковник, иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Итак, скажем, полковник: я преклоняюсь пред вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божественная дерзость в

поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть с такой радостью, как будто они отправились на бал? А помните, как какой-то лейтенант – один, совсем один, – пробуксировал на лодке торпеду к окончанию порт-артурского мола? Его осветили прожекторами, и от него с его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене, но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Того прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои! Но еще великолепнее приказ Того о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а отечеству. Ах, черт, красиво!

– По какой это мы улице едем? – прервал его Рыбников и зевнул. – После маньчжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине...

Но увлекшийся Щавинский продолжал, не слушая его:

– Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее – это подписи самураев. Вы, конечно, не слыхали об этом, господин штабс-капитан Рыбников? – спросил Щавинский с язвительным подчеркиванием. – Ну да, понятно, не слыхали... Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм порт-артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много и

так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно, и некоторые из них, по древнему обычаю, отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи!

– Самураи! – повторил Рыбников глухо.

В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щавинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, невиданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щавинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством.

– Капитан, капитан, что это с вами? – воскликнул Щавинский почти в испуге.

– Это все в газетах наврали, – сказал Рыбников небрежно, – наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность, а мы почему ввязались? Никто не знает! Черт знает почему! Не было печали – черти накачали, как говорится по-русски. Что? Не верно? Ха-ха-ха.

На бегих Щавинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово Цусима было у всех на языке – у игроков, у

наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили и в насмешку над выдохшейся лошастью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом, и с горечью. Кое-где говорили страстно. И Щавинский видел издали, как штабс-капитан с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду.

С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щавинскому. Фельетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной, напряженной борьбы с чужой душой. Убедившись, что лесть ему не помогала, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства.

– Да, но все-таки жаль мне бедных макаков! – говорил он с ироническим сожалением. – Что там ни рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе и опьянении или от хвастовства взял и поднял спиною двадцать пудов, надорвал себе живот и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна – это колосс. Для нее маньчжурские поражения все равно что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захиреет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника.

Все-таки в конце концов японец – азиат, получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне так же, как бушмен, туарег и ботокуд. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом – макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка, эпилептический припадок. Вы знаете, что такое *raptus*, припадок бешенства? Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм. Но, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвастовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма.

– Вер-р-но! – кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге. – Что верно, то верно. Вашу руку, мусье писатель. Сразу видно умного человека.

Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щавинского по коленам, тряс его за руку. И Щавинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа.

«А что, если я ошибаюсь и этот Рыбников – самый что ни на есть истый распехотный армейский пропойца? Фу-ты, черт! Да нет, это невозможно. И если возможно, то боже мой, каким дураком я себя веду!»

У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его – маленькой опереточной артистки – не было в городе.

Рыбников разглядывал все это с вежливым, но без-

участным любопытством, в котором хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек.

«Это он, однако, сделал ошибку!» – подумал Щавинский, когда услышал его чтение, чрезвычайно правильное, но деревянное, с преувеличенно точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык. Но, должно быть, Рыбников и сам это заметил, потому что вскоре захлопнул книжку и спросил:

– Вы ведь сами писатель?

– Да... немного...

– А вы в каких газетах пишете?

Щавинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз.

– Ах, да, да, да. Я позабыл, я уже спрашивал. Знаете что, господин писатель?

– Именно?

– Сделаем с вами так: вы пишете, а я буду диктовать... То есть не диктовать... О нет, я никогда не посмею. – Рыбников потер руки и закланялся торопливо. – Вы, конечно, будете излагать сами, а я вам буду только давать мысли и некоторые... как бы выразиться... мемуары о войне. Ах, сколько у меня интересного материала!..

Щавинский сел боком на стол и посмотрел на штабс-капитана, лукаво прищурив один глаз.

– И, конечно, упомянуть вашу фамилию?

– А что же? Можете. Я ничего не имею против. Так и упомяните: сведения эти любезно сообщены штабс-капитаном Рыбниковым, только что вернувшимся с театра военных действий.

– Так-с, чудесно-с. Это вам для чего же?

– Что такое?

– Да вот непременно, чтобы вашу фамилию? Или это вам нужно будет впоследствии для отчета? Что вот, мол, инспирировал русские газеты?.. Какой я ловкий мужчина? А?

Но штабс-капитан, по своему обыкновению, ушел от прямого ответа.

– А может быть, у вас нет времени? Заняты другой работой? Тогда – и ну их к черту, эти воспоминания. Всего не перепишешь, что было. Как говорится: жизнь пережить – не поле перейти. Что? Не правду я говорю? Ха-ха-ха!

В это время Щавинскому пришла в голову интересная затея. У него в кабинете стоял большой белый стол из некрашеного ясеневоего дерева. На чистой, нежной доске этого стола все знакомые Щавинского оставляли свои автографы в виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову:

– Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном (Щавинский учтиво поклонился) и, смею льстить себя надеждой, не кратковременном знакомстве?

– Отчего же, я с удовольствием, – охотно согласился Рыбников. – Что-нибудь из Пушкина или из Гоголя?

– Нет... уж лучше что-нибудь сами.

– Сам? Отлично.

Он взял перо, обмакнул, подумал и приготовился писать. Но Щавинский вдруг остановил его:

– Мы с вами вот как сделаем лучше. Нате вам четвертушку бумаги, а здесь, в коробочке, кнопки. Прошу вас,

напишите что-нибудь особенно интересное, а потом закройте бумагой и прижмите по углам кнопками. Я даю вам честное слово, честное слово писателя, что в продолжение двух месяцев я не притронусь к этой бумажке, и не буду глядеть, что вы там написали. Идет? Ну, так пишите. Я нарочно уйду, чтоб вам не мешать.

Через пять минут Рыбников крикнул ему:

– Пожалуйста!

– Готово? – спросил Щавинский, входя.

Рыбников вытянулся, приложил руку ко лбу, как отдают честь, и гаркнул по-солдатски:

– Так точно, ваше благородие.

– Спасибо! Ну, а теперь поедem в Буфф или еще куда-нибудь, – сказал Щавинский. – Там будет видно. Я вас сегодня целый день не отпущу от себя, капитан.

– С моим превеликим удовольствием, – сказал хриплым басом Рыбников, щелкая каблуками.

И подняв кверху плечи, он лихо расправил в одну и другую сторону усы.

Но Щавинский невольно обманул штабс-капитана и не сдержал своего слова. В последний момент, перед уходом из дома, фельетонист спохватился, что забыл в кабинете свой портсигар, и пошел за ним, оставив Рыбникова в передней. Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздражил его любопытство. Он не устоял перед соблазном, обернулся по-воровски назад и, отогнув бумагу, быстро прочитал слова, написанные тонким, четким, необыкновенно изящным почерком:

«Хоть ты Иванов 7-й, а дурак!...»

Много позднее полуночи они выходили из загородного кафешантана в компании известного опереточного комика Женина-Лирского, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который был известен повсюду в Петербурге своим несравненным умением рассказывать смешные сценки на злобу дня, и покровителя искусств – купеческого сына Карюкова.

Было не светло и не темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными переливчатыми красками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших серый камень набережной и неподвижную зелень деревьев, с бледным, точно утомленным бессонницей небом и со спящими облаками на небе, длинными, тонкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты.

– Куда ж мы поедем? – спросил Щавинский, останавливаясь у ворот сада. – Маршал Ояма! Ваше просвещенное мнение?

Все пятеро замешкались на тротуаре. Ими овладел момент обычной предутренней нерешительности, когда в закутивших людях физическая усталость борется с непреодолимым раздражающим стремлением к новым пряным впечатлениям. Из сада непрерывно выходили посетители, смеясь, напевая, звонко шаркая ногами по сухим белым плитам. Торопливой походкой, смело свистя шелком нижних юбок, выбегали шансонетные певицы в огромных шляпах, с дрожащими брильянтами в ушах, в сопровождении щеголеватых мужчин в светлых костюмах, украшенных бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсажи-

ваемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористки и садовые певицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две. Другие – обыкновенные, панельные проститутки – шныряли тут же около деревянного забора, приставая к тем мужчинам, которые расходились пешком, и в особенности к пьяным. Их лица в светлом, белом сумраке майской ночи казались, точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; но тем жалче из-под этих наивно ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков. Двое конных городских, непристойно ругаясь, то и дело наезжали на них опененными мордами своих лошадей, от чего девицы визжали, разбегались и хватались за рукава прохожих. У решетки, ограждающей канал, толпилось человек двадцать – там происходил обычный утренний скандал. Мертвецки пьяный безусый офицерик буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку, а городской о чем-то его упрашивал убедительным фальцетом, прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородие, плюньте на их, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте mine в морду, позвольте, я вам ручку поцелую, ваше благородие». А в задних рядах сухопарый и суровый джентльмен, у которого из-под надвинутого на нос котелка

виднелись только толстые черные усы, гудел невнятным басом: «Чего ему в зубы смотреть! В воду его, и крышка!»

– А в самом деле, майор Фукушима, – сказал актер. – Надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедьте к девочкам. Сашка, куда?

– К Берте? – ответил вопросом Штральман.

Рыбников захихикал и с веселой суетливостью потер руки.

– К женщинам? А что ж, за компанию – говорит русская пословица – и жид удавился. Куда люди, туда мы. Что, не правда? Ехать так ехать – сказал попугай. Что? Ха-ха-ха!

С этими молодыми людьми его познакомил Щавинский, и они все вместе ужинали в кафешантане, слушали румын и пили шампанское и ликеры. Одно время им казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев, тем более что добродушие штабс-капитана, по-видимому, не имело границ. Эту грубую и фамильярную игру начал Щавинский. Правда, он чувствовал по временам, что поступает по отношению к Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но он успокаивал свою совесть тем, что ни разу не высказал вслух своих подозрений, а его знакомым они вовсе не приходили в голову.

В начале вечера он наблюдал за Рыбниковым. Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех: он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закуривал папиросу не тем концом. Однако Щавинский заметил, что пил он очень мало.

Рыбникову опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельетонистом. Щавинский почти не был пьян – он вообще

отличался большой выносливостью в кутежах, но голова у него была легкая и шумная, точно в ней играла пена от шампанского. Он поглядел на штабс-капитана сбоку. В неверном, полусонном свете белой ночи лицо Рыбникова приняло темный, глиняный оттенок. Все впадины на нем стали резкими и черными, морщинки на висках и складки около носа и вокруг рта углубились. И сам штабс-капитан сидел сгорбившись, опустившись, запрятав руки в рукава шинели, тяжело дыша раскрытым ртом. Все это вместе придавало ему измученный, страдальческий вид. Щавинский даже слышал носом его дыхание и подумал, что именно такое несвежее, кислое дыхание бывает у игроков после нескольких ночей азарта, у людей, истомленных бессонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушного умиления и жалости прилила к сердцу Щавинского. Штабс-капитан вдруг показался ему маленьким, загнанным, трогательно жалким. Он обнял Рыбникова, привлек к себе и сказал ласково:

– Ну, ладно, капитан. Я сдаюсь. Ничего не могу с вами поделать и извиняюсь, если доставил вам несколько неприятных минут. Вашу руку.

Он отстегнул от своей визитки бутоньерку с розой, которую ему навязала в саду продавщица цветов, и вддел ее в петлицу капитанского пальто.

– Это в знак мира, капитан. Не будем больше изводить друг друга.

Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные приехали раньше и уже их дожидались. Их пустили не сразу. Сначала в тяжелой двери

открылось изнутри четырехугольное отверстие, величиной с ладонь, и в нем на несколько секунд показался чей-то холодный и внимательный серый глаз. Потом двери раскрылись.

Это учреждение было нечто среднее между дорогим публичным домом и роскошным клубом – с шикарным входом, с чучелом медведя в передней, с коврами, шелковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись.

Пришлось подниматься во второй этаж. Там наверху была устроена широкая площадка с растениями в кадках и с диванчиком, отделенная от лестницы перилами. Щавинский поднимался под руку с Рыбниковым. Хотя он и дал себе внутренне слово – не дразнить его больше, но тут не мог сдержаться и сказал:

– Взойдемте на эшафот, капитан!

– Я не боюсь, – сказал тот лениво. – Я и так хожу каждый день на смерть.

Рыбников слабо махнул рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдруг сделалось от этой улыбки усталым, каким-то серым и старческим.

Щавинский посмотрел на него молча, с удивлением. Ему стало стыдно своей назойливости. Но Рыбников тотчас же вывернулся:

– Ну да, на смерть. Солдат всегда должен быть готов к этому. Что поделаешь? Смерть – это маленькое неудобство в нашей профессии.

В этом доме Щавинский и меценат Карюков были свои люди и почетные завсегдатаи. Их встречали с веселыми улыбками и глубокими поклонами.

Им отвели большой, теплый кабинет, красный с золотом, с толстым светло-зеленым ковром на полу, с канделябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины – сначала три, потом еще две, – потом все время одни из них приходили, другие уходили, и все до одной они были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке. Пришла также пожилая полная дама в черном, что-то вроде хозяйки или домоправительницы – очень приличная на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время смеялась по-старчески приятно, ежеминутно кашляла и курила не переставая. Она обращалась с Щавинским, с актером и меценатом с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в матери, хлопала их по рукам платком, а Штральмана – очевидно, любимца – называла Сашкой.

– Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи славной маньчжурской армии. А то вы сидите и киснете, – сказал Карюков.

Щавинский перебил его, зевнув:

– Будет вам, господа. Кажется, уж должно бы надоесть. Вы злоупотребляете добродушием капитана.

– Нет, я не сержусь, – возразил Рыбников, – выпьемте, господа, за здоровье наших милых дам.

– Лирский, спой что-нибудь, – попросил Щавинский.

Актер охотно сел за пианино и запел цыганский романс. Он, собственно, не пел его, а скорее рассказывал, не выпуская из рта сигары, глядя в потолок, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспеть раньше другой в словах. Потом Сашка Штральман прекрасно имитировал фонограф, изображал в лицах итальянскую оперу и подражал животным. Карюков танцевал фанданго и все спрашивал новые бутылки.

Он первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой полькой, за ним последовали Штральман и актер. Остались только Щавинский, у которого на коленях сидела смуглая белозубая венгерка, и Рыбников рядом с белокурой полной женщиной в синей атласной кофте, вырезанной четырехугольником до половины груди.

– Что ж, капитан, простимся на минутку, – сказал Щавинский, поднимаясь и потягиваясь. – Поздно. Вернее, надо бы сказать, рано. Приезжайте ко мне в час завтракать, капитан. Мамаша, вы вино запишите на Карюкова. Если он любит святое искусство, то пусть и платит за честь ужинать с его служителями. Мои комплименты.

Белокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто:

– Пойдем и мы, дуся. Правда, поздно.

5

У нее была маленькая, веселая комнатка с голубыми обоями, бледно-голубым висячим фонарем; на туалетном столе круглое зеркало в голубой кисейной раме, на одной стене фотографии, на другой стене ковер, и вдоль его широкая металлическая кровать.

Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла складками. Потом она прикрутила фитиль в лампе и, севши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки.

Рыбников сидел у стола, расставив локти и опустив на них голову. Он, не отрываясь, глядел на ее большие, но красивые ноги с полными икрами, которые ловко обтягивали черные ажурные чулки.

– Что же вы, офицер, не раздеваетесь? – спросила женщина. – Скажите, дуся, отчего они вас зовут японским генералом?

Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от ее ног.

– Это так – глупости. Просто они шутят. Знаешь стихи: смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно...

– Дуся, вы меня угостите еще шампанским? Ну, если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсинов. Вы на время или на ночь?

– На ночь. Иди ко мне.

Она легла с ним рядом, торопливо бросила через себя на пол папиросу и забарахталась под одеялом.

– Ты у стенки любишь? – спросила она. – Хорошо, лежи, лежи. У, какие у тебя ноги холодные! Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?

– Меня? – он откашлялся и ответил неверным тоном: – Я – штабс-капитан Рыбников. Василий Александрович Рыбников.

– А, Вася! У меня есть один знакомый лицеистик Вася – прелесть, какой хорошенький!

Она запела, ежась под одеялом, смеясь и жмурясь:

Вася, Вася, Васенька, Говоришь ты басенки.

– А знаешь, ей-богу, ты похож на япончика. И знаешь, на кого? На микаду. У нас есть портрет. Жаль, теперь поздно, а то я бы тебе показала. Ну, вот прямо как две капли воды.

– Что ж, очень приятно, – сказал Рыбников и тихо обнял ее гладкое и круглое плечо.

– А может, ты и правда японец? Они говорят, что ты был на войне, – это правда? Ой, милочка, я боюсь щекотки. А что, страшно на войне?

– Страшно... Нет, не особенно. Оставим это, – сказал он устало. – Как твое имя?

– Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Это только мне здесь дали имя Клотильда. Потому что мое имя такое некрасивое... Настя, Настасья, точно кухарка.

– Настя? – переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал ее в грудь. – Нет, это хорошо. На-стя, – повторил он медленно.

– Ну вот, что хорошего? Вот хорошие имена, например, Мальвина, Ванда, Женя, а то вот еще Ирма... Ух, дуся! – Она прижалась к нему. – А вы симпатичный... Такой брюнет. Я люблю брюнетов. Вы, наверно, женаты?

– Нет, не женат.

– Ну вот, рассказывайте. Все здесь прикидываются холостыми. Наверное, шесть человек детей имеете?

Оттого что окно было заперто ставнями, а лампа едва горела, в комнате было темно. Ее лицо, лежавшее совсем близко от его головы, причудливо и изменчиво выделялось

на смутной белизне подушки. Оно уже стало не похоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое русское сероглазое лицо, – теперь оно сделалось точно худее и, ежеминутно и странно меняя выражение, казалось нежным, милым, загадочным и напоминало Рыбникову чье-то бесконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо.

– Как ты хороша! – шептал он. – Я люблю тебя... я тебя люблю...

Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины.

– Что ты сказал? – спросила она с удивлением.

– Нет, ничего... ничего. Это – так. Милая! Женщина! Ты – женщина... Я люблю тебя...

Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к ее большому, молодому, выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем.

– У тебя и руки холодные, – сказала она с застенчивой неловкостью. Было в этом человеке что-то неожиданное, тревожное, совсем непонятное для нее. – Руки холодные – сердце горячее.

– Да, да, да... Сердце, – твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа.

– Сердце горячее... сердце...

Она уже давно привыкла к внешним обрядам и по-

стыдным подробностям любви и исполняла их каждый день по несколько раз – механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением. Сотни мужчин, от древних старцев, клавших на ночь свои зубы в стакан с водой, до мальчишек, у которых в голосе бас мешается с дискантом, штатские, военные, люди плешивые и обросшие, как обезьяны, с ног до головы шерстью, взволнованные и бессильные, морфинисты, не скрывавшие перед ней своего порока, красавцы, калеки, развратники, от которых ее иногда тошнило, юноши, плакавшие от тоски первого падения, – все они обнимали ее с бесстыдными словами, с долгими поцелуями, дышали ей в лицо, стонали от пароксизма собачьей страсти, которая – она уже заранее знала – сию минуту сменится у них нескрываемым, непреодолимым отвращением. И давно уже все мужские лица потеряли в ее глазах всякие индивидуальные черты – и точно слились в одно омерзительное, но неизбежное, вечно склоняющееся к ней, похотливое, козлиное мужское лицо с колючим слюнявым ртом, с затуманенными глазами, тусклыми, как слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастия, которое ей было противно, потому что она его никогда не разделяла.

К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и *смешон* современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И

между тем он незаметно окружал ее той нервной атмосферой истинной, напряженной, звериной страсти, которая даже на расстоянии, даже против воли, волнует чувственность женщины, делает ее послушной, подчиняет ее желаниям самца. Но ее бедный маленький ум, не выходявший за узкие рамки обихода публичного дома, не умел сознать этого странного, волнующего очарования. Она могла только шептать, стыдась, счастливая и удивленная, обычные пошлые слова:

– Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпа-ляля? Да?

Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел далеко-далеко и грустно.

– Когда ты еще придешь? – спросила женщина.

– Что? – сонно спросил Рыбников, открывая глаза. – Когда приду? Скоро... Завтра...

– Ну да... обманываешь. Нет, скажи по правде – когда? Я без тебя буду скучать.

– Мм... Мы придем скучать... Мы им напишем... Они останутся в горах... – бормотал он бессвязно.

Тяжелая дремота сковывала и томила его тело. Но, как это всегда бывает с людьми, давно выбившимися из сна, он не мог заснуть сразу. Едва только сознание его начинало завлакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг подбрасывал его тело. Он со стоном вздрагивал, широко открывал в диком испуге глаза и тотчас же опять погружался в раз-

дражающее переходное состояние между сном и бодрствованием, похожее на бред, полный грозных, путаных видений.

Женщине не хотелось спать. Она сидела на кровати в одной сорочке, обхватив голыми руками согнутые колени, и с боязливым любопытством смотрела на Рыбникова. В голубоватом полумраке его лицо еще больше пожелтело, обострилось и было похоже на мертвое. Рот оставался открытым, но дыхания его она не слышала. И на всем его лице – особенно кругом глаз и около рта – лежало выражение такой измученности, такого глубокого человеческого страдания, какого она еще никогда не видала в своей жизни. Она тихо провела рукой по его жестким волосам на лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липким потом. От этого прикосновения Рыбников задрожал, испуганно вскрикнул и быстрым движением поднялся с подушек.

– А!.. Кто это? Кто? – произносил он отрывисто, вытирая рукавом рубашки лицо.

– Что с тобой, котик? – спросила женщина участливо. – Тебе нехорошо? Может быть, дать тебе воды?

Но Рыбников уже овладел собой и опять лег.

– Нет, благодарю!.. Теперь хорошо... Мне приснилось... Ложись спать, милая девочка, прошу тебя.

– Когда тебя разбудить, дуся? – спросила она.

– Разбудить... Утром... Рано взойдет солнце, и приедут драгуны... Мы поплывем... Знаете? Мы поплывем через реку.

Он замолчал и несколько минут лежал тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Он со стоном повернулся на спину, и

странные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро побежали с его губ.

Женщина слушала, перестав дышать, охваченная тем суеверным страхом, который всегда порождается бредом спящего. Его лицо было в двух вершках от нее, и она не сводила с него глаз. Он молчал с минуту, потом опять заговорил длинно и непонятно. Опять помолчал, точно прислушиваясь к чьим-то словам. И вдруг женщина услышала произнесенное громко, ясным и твердым голосом, единственное знакомое ей из газет японское слово:

– Банзай!

Сердце ее так сильно трепетало, что от его толчков часто и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспомнила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли именами японских генералов, и слабое, далекое подозрение уже начинало копошиться в ее темном уме.

Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила ее.

– Клотильдочка, это ты? – послышался тихий женский шепот. – Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня Ленька, угощает абрикотином. Зайди, милочка!

Это была Соня-караимка – соседка Клотильды, связанная с нею узами той истеричной и слащавой влюбленности, которая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях.

– Хорошо. Я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то интересное. Подожди, я оденусь.

– Глупости! Не надо. Перед кем стесняться, перед Ленькой! Иди, как есть.

Она стала надевать юбку.

Рыбников проснулся.

– Ты куда? – спросил он сонно.

– Я сейчас, мне надо, – ответила она, поспешно завязывая тесемку над бедрами. – Спи себе. Я сию минуту вернусь.

Но он уже не слышал ее последних слов, потому что густой черный сон сразу потопил его сознание.

6

Ленька был кумиром всего дома, начиная от мамы и кончая последней горничной. В этих учреждениях, где скука, бездействие и лубочная литература порождают повышенные романтические вкусы, наибольшим обожанием пользуются воры и сыщики благодаря своему героическому существованию, полному захватывающих приключений, опасности и риска. Ленька появлялся здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительно и таинственно молчалив, и главное – это все хорошо помнят – он неоднократно доказывал, что местные городские чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания. Был случай, когда он тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочном жаргоне, в один миг прекратил страшный скандал, затеянный пьяными ворами, и заставил их покорно уйти из заведения. Кроме того, у него время от времени водились большие деньги. Поэтому, не мудрено, что к Генриетте, или, как он ее называл, Геньке, с которой он «крутил любовь», относились здесь с завистливым почтением.

Это был молодой человек со смуглым веснушчатым лицом, с черными усами, торчащими вверх, к самым глазам, с твердым, низким и широким подбородком и с темными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел теперь на диване без сюртука, в расстегнутом жилете и развязанном галстуке. Он был строен и мал ростом, но выпуклая грудь и крепкие мускулы, распиравшие рукава рубашки у плеч, говорили об его большой силе. Рядом с ним, с ногами на диване, сидела Генька, напротив – Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликер, он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном:

– Привели его в участок. Паспорт при нем: Корней Сапетов, колпинский мещанин, или как там его. Ну, конечно, обязательно пьян, каналья. «Посадить его в холодную для вытрезвления». Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу – ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. Сейчас сделал издали глазами намек дежурному околоточному и, как будто ничего себе, вышел в коридор. Выходит ко мне околоточный. «Что вы, Леонтий Спиридонович?» – «А ну-ка, отправьте этого красавца на минуточку в сыскную». Привели его. У мерзавца ни один мускул на лице не дрогнул. Я этак посмотрел ему в глаза и го-во-рю... – Ленька значительно постучал костяшками пальцев по столу. – «Давно ли, Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» Он, конечно, держит себя индифферентно – валяет дурака. Никаких. Тоже субъект! «Не могу знать, какой-токой Санька Мясник. Я такой-то». Тут я подхожу к нему, хватя его за бороду! – трах! Борода остается у меня в руках.

Привязная!.. «Сознаешься, сукин сын?» – «Не могу знать». Кэ-эк я его, прохвоста, врежу в переносье, прямым штосом – р-раз! Потом – два! В кровь! «Сознаешься?» – «Не могу знать». – «А – так ты так-то! Я до сих пор гуманно щадил тебя. А теперь пеняй на себя. Позвать сюда Арсентия Блоху». Был у нас такой арестант, до слез этого Саньку ненавидел. Я, брат, уж тонко знаю ихние взаимные фигель-мигели. Привели Блоху. «Ну, так и так, Блоха. Кто сей самый индивидум?» Блоха смеется: «Да кто же иной, как не Санька Мясник? Как ваше здоровье, Санечка? Давно ли к нам припожаловали? Как вам фартило в Одестах?» Ну, уж тут Мясник сдался. «Берите, говорит, Леонтий Спиридонович, ваша взяла, от вас никуда не уйдешь. Одолжите папиросочку». Ну, конечно, я ему папироску дал. Я им в этом никогда не отказываю из альтруизма. Повели раба божьего. А на Блоху он только поглядел. И я подумал: «Ну, уж, должно быть, Блохе не поздоровится. Наверно, его Мясник пришьет».

– Пришьет? – шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью спросила Генька.

– Абсолютно пришьет. Амба. Этот такой!

Он самодовольно прихлебнул из рюмки. Генька, которая глядела на него остановившимися испуганными глазами с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнула себя руками по ляжкам.

– Ах ты, боже ж мой! Какие ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Леня?

– Ну вот!.. Стану я всякой рвани бояться.

Восторженное внимание женщин раззудило его, и он стал врать о том, что где-то на Васильевском острове сту-

денты готовили бомбы, и о том, как ему градоначальник поручил арестовать этих злоумышленников. А бомб там было – потом уж это оказалось – двенадцать тысяч штук. Если б все это взорвалось, так не только что дома этого, а, пожалуй, и пол-Петербурга не осталось бы...

Дальше следовал захватывающий рассказ о необычайном героизме Ленки, который сам переоделся студентом, проник в «адскую лабораторию», подал кому-то знак из окна и в один миг обезоружил злодеев. Одного он даже схватил за рукав в тот самый момент, когда тот собирался взорвать кучу бомб.

Генка ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями:

– Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только. Клотильдочка, какие подлецы эти студенты. Вот уж я их никогда не уважала.

Наконец, совсем растроганная, очарованная своим любовником, она повисла у него на шее и стала его громко целовать.

– Ленечка, моя дуся! Даже страшно слушать! И как это ты ничего не боишься?

Он самодовольно взвинтил свой левый ус вверх и обронил небрежно:

– Чего ж бояться? Раз умирать. За то и деньги получаю.

Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она смутно подозревала, что в рассказах Ленки много вранья, а между тем у нее было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленкиных по-

двигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и она сказала тихо, глухим голосом:

– А знаешь, Леня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость.

– Мм? Думаешь, жулик? – спросил снисходительно Ленька.

Генька обиделась.

– Что-о? Это, по-твоему, жулик? Тоже скажешь! Пьяный офицеришка какой-то.

– Нет, ты не говори, – с деловой важностью перебил ее Ленька, – бывают, которые и жулики офицерами переодеваются. Ну, так что ты хотела сказать, Клотильда?

Тогда она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую наблюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова: о том, как его называли генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страстности, об его бреде и, наконец, о том, как он сказал слово «банзай».

– Слушай, ты не врешь? – спросил быстро Ленька, и в его темных глазах зажглись острые искры.

– Вот ей-богу! Не сойти мне с места! Да ты посмотри в замок – я открою ставню. Ну, вот – две капли воды – японец!

Ленька встал, неторопливо, с серьезным видом, надел сюртук и заботливо ощупал левый внутренний карман.

– Пойдем, – сказал он решительно. – С кем он приехал?

Из всей ночной компании остались только Карюков и Штральман. Но Карюкова не могли добудиться, а

Штральман, с оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчал неразборчиво:

– Какой офицер? Да черт с ним совсем. Подсел он к нам в Буффе, откуда он взялся, никто не знает.

Он тотчас стал одеваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышел. Он уже успел разглядеть в дверную щелку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какие сомнения, но он был хорошим патриотом, отличался наглостью и не был лишен воображения. Он решил действовать на свой риск. Через минуту он был уже на крыльце и давал тревожные свистки.

7

Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри его: встань! Полтора часа сна совершенно освежили его. Прежде всего он подозрительно уставился на дверь: ему почудилось, что кто-то следил за ним оттуда пристальным взглядом. Потом он оглянулся вокруг. Ставня была полуоткрыта, и оттого в комнате можно было разглядеть всякую мелочь. Женщина сидела напротив кровати у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными светлыми глазами.

– Что случилось? – спросил Рыбников тревожно. – Послушай, что здесь случилось?

Она не отвечала. Но подбородок у нее задрожал, и зубы застучали друг о друга.

Недоверчивый, жестокий блеск зажегся в глазах офицера. Он весь перегнулся вперед с кровати и наклонил ухо по направлению к двери. Чьи-то многочисленные шаги,

очевидно непривычные к осторожности, приближались по коридору и вдруг затихли у двери.

Рыбников мягким, беззвучным движением спрыгнул с кровати и два раза повернул ключ. Тотчас же в дверь постучали. Женщина с криком опрокинулась головой на стол, закрыв лицо ладонями.

В несколько минут штабс-капитан оделся. В двери опять постучали. С ним была только фуражка. Шашку и пальто он оставил внизу. Он был бледен, но совершенно спокоен, даже руки у него не дрожали, когда он одевался, и все движения его были отчетливо-неторопливы и ловки. Застегивая последнюю пуговицу сюртука, он подошел к женщине и с такой страшной силой сжал ее руку выше кисти, в запястье, что у нее лицо мгновенно побагровело от крови, хлынувшей в голову.

— Ты! — сказал он тихо, гневным шепотом, не разжимая челюстей. — Если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью!..

В дверь снова постучались. И глухой голос произнес:

— Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить.

Теперь штабс-капитан не хромал больше. Он быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким, кошачьим движением вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. Внизу под ним белел мощный двор с чахлой травой между камнями и торчали вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды, но в тот самый момент, когда он, сидя боком на железной облицовке подоконника, опираясь в нее левой рукой и уже свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок, — женщина с пронзительным криком кинулась к нему и

ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал неловкое движение и вдруг с слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчетливо полетел вниз на камни.

Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, с оскаленными зубами и горящими глазами Ленька. За ним входили, топоча и придерживая левыми руками шапки, огромные городовые. Увидав открытое окно и женщину, которая, уцепившись за раму, визжала не переставая, Ленька быстро понял все, что здесь произошло. Он был безусловно смелым человеком и потому, не задумываясь, не произнес ни слова, точно это заранее входило в план его действий, он с разбегу выпрыгнул в окошко.

Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Несмотря на то, что у Леньки от падения гудело в голове, несмотря на страшную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он не потерялся и в один миг тяжело, всем телом навалился на штабс-капитана.

— А-а! Вре-ошь! — хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением.

Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на краях его губ.

— Не давите меня, — сказал он шепотом, — я сломал себе ногу.



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову, – и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение – долгая и опасная поездка за границу – обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком, – все это были вестники чудесных дней (они наступят – это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурыми девочками и няней-японкой, — семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом заметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидел ее у окна около своего

купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что – вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее... Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй – не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувство-

вал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлечься на мягких подушках вагона, в отдохновении и бездельи следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас, почему-то особенно остро, Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза, – у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце – без любопытства, но внимательно, – мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

– Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

– Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, погибает север Норвегии и быстро растет; у Мурмана она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

– Я – русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы, – и подняла на него мрачные ясно-серые глаза. – Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

– Отчего так? – затем поклонился и назвал себя. Дама продолжала:

– Мое имя – Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу. – Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. – Я ненавижу Россию, правда, правда, – и она засмеялась, держа не донесенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

– Мое эстетическое чувство оскорблено, – говорила дама, – если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я, прежде всего, хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане; существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно склонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

– Будто вы там найдете людей!

– Людей изящных и смелых, первого сорта, – уж, конечно, не таких, как в России.

– И у нас водятся смелые люди.

– Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни: наша с вами страна – нелепый курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

– Разговор мне, простите, неприятен, – и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: – Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это – не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немоглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика, – и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку

прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевоту. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часы, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

– Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

– Ну, и вы меня простите за резкость, – ответил Никита Алексеевич добродушно. – А вы в самом деле в Америку едете?

– Я подписала контракт на тридцать концертов.

– А, это другое дело, а я думал...

– Что вы думали? – спросила дама, немного слишком поспешно.

– Что вы так... для забавы...

– Я – одинокий человек, – помолчав, проговорила она и опустила глаза, – мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно. – Она передернула плечами. – Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь... – Она грустно улыбнулась. – Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдемте.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела

шубка и в сетке лежал крошечный чемодан – весь ее багаж, – усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

– Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

– Мы оба холостяки, – сказал он, – встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекасти-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете – короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полу-прикрытый прядью волос лоб ее наморщился.

– Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь, – проговорила она медленно.

– Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

– Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к

ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым – пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

– Бы очень пугливы, – сказала она.

– Да, вы правы.

– Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.

– Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

– Я вам правлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили, – она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком. – Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

– Ну, хорошо. – Никита Алексеевич рассмеялся. – Прошу очень, очень извинить меня.

– За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблук потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал! «Лошадка с норовом», – и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

– Секрет-то в том, – сказал он душевно, – я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя, – попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так размахнуться – до звезд – хорошо... И мне

страшно всегда – подменить: вместо роскоши – почти то же самое, но – то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе.

О товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите», – на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

.....

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:
– Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

– Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

– Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

– Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

– Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

– Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

– Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен.

Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

.....

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в ко-

торых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно

чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке закрипел снег. Обозов вгляделся – из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» – подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стихи даже читал... Фу!

Он крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

– Возьмите левее, – крикнул он, – здесь сугроб, – и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

– Я вас искала, – проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках – искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

– Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно за-свистел поезд.

.....

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя:

– Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой, чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О, мой Ратмир!». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», – подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял:

«Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» – повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» – и сейчас же шла впереди него, придерживая накиннутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

– Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

– И вы бы не соскучились в уединении? – спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно

не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

– Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство конечно... – прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно опустилась.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза – пропадал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышином жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

– Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас. – Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

.....

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки – такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

– Что вы делаете? – прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня. – Положите пиджак, – сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: – Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

– Я хотела только посмотреть... Мне не нужно. Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

– Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шепотом:

– Спасибо...

– Подождите, – резко перебил он, – я вас не пущу; сами понимаете – не я, так другой попадется. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

– Зачем вы врали?

– Я не врала... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

– Не смейте говорить об этом...

– Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным голосом она проговорила:

– Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу – я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

– Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! – крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки, – она глотала слюну...

– Вы не одна, с вами спутник? – спросил он. – Она кивнула. – Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашлявшись, он сказал:

– Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком.

«Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто – ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!.. Бормоча и спотыкаясь, он пошел подальше от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо – бац из револьвера, потом – пожалуйста, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексеевичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяти и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другой шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидел знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда

кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба, — так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиной о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилося по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон; дверь купе была открыта, Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

.....

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетающих лебедек, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпильки киров, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, мор-

щась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедек, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он

плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степановной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится, – думал он, – либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику... «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала, – до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

– Вас желает видеть одна дама. Пожалуйста за мной.

– Какая дама? Что за вздор? – ответил он, берясь за медную штангу, – и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота. – Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

– Я безумно страдаю, – проговорила она хрипловатым голосом, – сядьте в ноги. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ноги, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

– Жалею...

– Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

– Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да, – она подняла руку и погрозила, – я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

– Да поймите же вы, смешная женщина, – сказал он, – я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

– Вы не смеее так говорить о любви.

– А мне противно, когда вы употребляете это слово. – Он поднялся.

– Боже, какой мрак! – закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав. – Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я – лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я – ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

– Ну, прощайте, – сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер, – он дрожал и вертелся у

нее в пальцах, – приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

– Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

.....

Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробиралась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

– Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» – пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк, – и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

– Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу. Когда вам понадобятся деньги – сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

1916 г.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

МУЖИК

Начались дни тяжелых переходов. Утром не знали, где будут в обед и где ночь сночают. Города, люди, небо, полки, роты, перелески, обозы, мосты, пыль, храмы, выстрелы, орудия (или, как говорили солдаты, урудия), костры, крик, кровь, острый запах пота – все тучей взметнулось, давило мозг и казалось сном.

Голодали порой. Порой наедались до дурноты.

Пили воду прямо из ручьев: хороши они здесь, – ручьи-то, – светлые, как слезочка; с устатку пьешь – не напьешься.

Сражались мало, все больше ходили.

Солдаты к вечеру угрюмели от усталости, искали, на ком бы сорвать злобу.

– Попадись теперь австрияк, зубом бы заел!

Впрочем, это так, больше от истомы походной.

К утру отдохнут, подobreют, и опять шутки, смех, – на бронзовых лицах зубы словно огоньки мелькают.

– Пильщиков, а ну, расскажи, какой ты сон нынче видел?

И все, сколько их есть вокруг – вся полурота, – все посмотрели, улыбаясь, на Пильщикова. А тот возился у костра – этаким здоровый, в зеленой рубашке без пояса, ворот расстегнут.

Возьмет сук в руку толщиной – р-раз! – и ломает о колено и в огонь: нет ему больше удовольствия, как костры разводить.

– Ныне, братцы, я в Шиханах был. Будто по своему двору с сыном ходил. А он на меня смотрит этак бочком, глаз-то у него синий да большой такой... К чему бы это?

Пильщиков помолчал и, сделав свирепое лицо, дунул в костер – искры столбом полетели.

– Беспременно опять получишь крест, – сказал насмешливо кто-то.

– Не. Такие сны я часто вижу. А когда крест получить, я будто женился...

– Хо-хо-хо! Вот он... От живой-то жены, да опять женился?

– Ей-богу. Я и сам удивился. «Я, говорю, женатый уж». А мне говорят: «Не, ты еще раз женись. Одна жена хорошо, а две в беспример лучше». – «Не водится, говорю, у нас так. Мне и одной довольно. Я человек расейский, не татарин какой». Упираюсь так... А они все свое. Так и женили. Утром проснулся – сам смеюсь, думаю, к чему бы это. А потом вдруг ротный бумагу: Пильщикову крест. А, будь ты неладна. Так оно все занятно.

Солдаты зубоскалят. И ни усталости, ни злобы...

А труба уже сбор играет:

– Готовься!

И опять поход, новые места, опять дороги, города, орудия, пыль, крики, выстрелы – усталость.

А Пильщиков... ему что, кряжу, делается. Он этакий ровный всегда, хозяйственный, ходит, пытливо посматривая по сторонам, на рощицы, на сады, на домики и нет-нет да свое любимое словцо протянет:

– Заня-ятно!..

Протянет вслух и ни к кому не обращаясь.

Или вдруг заговорит о том, что на душе у него, и нимало не заботясь, слушают его или нет.

– И вот, братцы, чуда какая. Гляди, и церкви наши, и народ по обличаю наш, только говорят, как в рот каши набрали – не поймешь сразу. Особливо церкви. Намедни я зашел в одну, все крестятся по-нашему, иконы наши, бог Салавоф в кунполе нарисован – наш, – этакий же седой да бородатый. «Иже херувима» и та наша. А вот воюем... Чудно!

И умолкал. Серыми пытливыми глазами смотрел кругом, задумывался, круто заквашенный, неповоротливый.

– Заня-ятно!

Раз отряд шел целый день, преследуя уходящего врага.

Враг, или, как говорят солдаты, «он», был где-то рядом. Еще не успевали дотлеть костры, зажженные им, еще четко виднелись в дорожной пыли следы кованых сапог, и чудилось порой, что в воздухе носится запах гари и пота, оставленный австрийцами.

– Вот-вот «он»...

К вечеру стало известно, что «он» остановился, может быть готовый завтра дать бой.

И, как вода в запруде, стали собираться роты и полки и стеною растекаться по фронту.

Рота, где был Пильщикова, расположилась подле леска, огороженного деревянным забором с каменными белыми столбами. В стороне была чистенькая изба с высоким коньком – там поместился сам ротный. Усталые солдаты, радуясь отдыху, живо притащили соломы, сучьев из леса – на разжигу ломали забор, – зажгли огни. Где-то недалеко, вот будто за этим лесом, слышались выстрелы, но они были

привычны, как писк комара для лесника, и никто не думал о них.

Пильщиков разогревал в котелке кашу.

В темнеющем молчаливом воздухе потянуло дымом, и четко слышался треск сучьев в рощице, куда солдаты ходили за дровами.

Над дальним лесом догорала зеленоватая заря, и небо было темно-бирюзовое, и на нем уже загорались робкие звезды. Только солдаты поужинали, вдруг из избы толстоусый фельдфебель, тот самый, которого в полку втихомолку звали сазаном:

– Ребята, кто нынче в разведку?

Так и обомлели все.

Вот тебе и отдых. Это после таких-то переходов идти в разведку? Избави, господи! Ноги же у всех подламываются.

Притаились все, съежились, и сразу угас смех.

Но понимают: надо же кому-нибудь идти.

И от этого сознания сердитый мороз побежал по коже.

А фельдфебель уже идет от одного костра к другому и все спрашивает:

– Ребята, кто в разведку?

– Вот Пильщиков, ему надо идти! – сказал кто-то, усмехаясь.

– Пильщиков? – переспросил фельдфебель. – А ну, где ты, Пильщиков?

– Пильщикову, Пильщикову надо идти! – загалдели солдаты.

Обрадовались, что нашлось, на кого свалить.

Ну, что же, теперь хочешь не хочешь, надо идти.

– Пильщиков, где ты?

– Вот я.

– Ты идешь?

– Так точно...

– Ну, собирайся живо.

И часу не прошло, Пильщиков вышел за лесок, прошагал с полверсты полем за сторожевую цепь и попер в тьму, дальше.

Где-то вправо есть бугор, невидимый теперь во тьме, и ротный приказал узнать, занимает ли его неприятель, или нет.

Пильщиков не спеша отошел шагов триста от цепи и лег в траву около плетня, от которого пахло гнилью и дневным жаром. Смутно было у него в душе – разобраться надо. Ночь уже поползла настоящая – все закрыла черным мягким одеялом.

Лесок остался позади, и тревожно в нем гугукали незнакомые ночные птицы – не то совы, не то сарычи, перепуганные, должно быть, кострами и многолюдством.

Вправо, где-то далеко, стреляли. Там стояло зарево, красноватое, шапкой – пожар. Пильщиков потянул носом – пахло землей и травой, – знакомый запах: будто в ночное выехал, в родных Шиханах.

А впереди, вон там, за дальними холмами, бродили последние отсветы вечерней зари, там тихо и темно было. Там «они»...

Может быть, далеко, а может быть, здесь вот, рядом, лежит вот так же, как Пильщиков, ждет встречи, готовый убить, притаившийся, злой.

– Смотри, если встренешься с ним, маху не давай, –

наказывал ротный, – дашь маху – и сам пропадешь, и нам плохо придется.

А Никифор Пильщиков и сам знает – маху давать нельзя: или убей, или тебя убьют.

Где-то в стороне гукнула сова. И тьма будто гуще стала.

А сердце стучало тяжко – дун, дун, дун...

Почти не дыша, пошел Пильщиков дальше. Вот плетень кончился, началась широкая дорога, и за дорогой хлеб стеной стоял.

Помял Пильщиков колос: – «Пшеница».

Только в нее шагнул, а она как зашумит сердито, словно живая: «Не топчи меня»! Аж страшно стало. Да и жалко: хлеб на корню мять – нет дела злее.

«Межой пойду», – решил Пильщиков и взял по дороге влево.

Ротный велел считать шаги. Пильщиков попробовал считать, но как дошел до семидесяти, так и сбился. То ли оно дальше восемьдесят, то ли девяносто... Да нельзя зараз и шаги считать, и неприятеля выслеживать, и думать о нем. Шел просто, перегибаясь, слушая. Искал межу. Вдруг дорожка пошла скатом в ложок, а по самому краю ложка тут и межа. Снизу потянуло сыростью, и трава здесь была мокрая от росы.

От сырости ли или от какой другой причины, только вдруг дрожь захватила Пильщикова, по спине побежали колючие мурашки, а зубы ляснули. И сердце сжалось, словно на него положили кусок льда. Пильщиков нутром почувствовал, что он теперь один. В целом мире один.

Один перед этим небом, усеянным звездами, перед этой тьмой. Убьют его, и никто об этом не узнает.

Страх поднял волосы на его затылке.

Тьма сразу стала жуткой, будто она была полна злых врагов, каждую минуту готовых броситься, растерзать.

В один момент Пильщиков обессилел.

С размаху, как подломленный, он сел в траву. А кругом было тихо, и тьма лежала – неподвижно. В лесу все кричали птицы, и вдали стояло зарево пожар. Успокоившись немного, Пильщиков встал на одно колено, снял картуз, начал слушать. Откуда-то издали шел смутный гул.

Пильщиков прилег ухом к земле.

Старая мужичья привычка.

Бывало, едешь один ночью, послушаешь землю – сразу узнаешь, есть ли люди на дороге, далеко ли едут и сколько их...

Теперь земля гудела ровно и глухо.

Он долго слушал ее, и вдруг ему почудилось, что где-то вдалеке раздался вздох, похожий на заглушенный стон:

– У...у...у!...

Пильщиков встрепенулся и сильно прижался к земле.

Болтали солдаты, что земля каждую ночь плачет.

Уже давно ему хотелось послушать ее плач, но все не доводилось. И вот теперь, затаив дыхание, он слушал эти странные стоны. Что это было? Может быть, это был гул далекой канонады... Он не мог решить. Он просто верил, что земля на самом деле плачет. Да и как ей не плакать? Ведь в каждый бой тысячами гибнет крестьянский люд. Земля – всем им родная... Каждого жалко...

– У...у...у!...

– Да, плачет.

Пильщиков привстал.

– Плачет матушка. Плачет земля.

Любовно он глянул в тьму, растроганный. Здесь она, земля-то. Не один он... Чего бояться? Вот кто его пожалеет. Вот кто с ним родной. Земля.

Он посмелел. Показалось – родное все кругом, как в Шиханах. И земля, и запах травы, и звезды на небе.

Сердце так забилося, что Пильщиков захотел придержать его рукой и... наткнулся на серую шинель, на пуговицы и на маленький крестик «Георгия», с которым он не расставался никогда с того самого дня, как получил его.

И смяк как-то. Лицо ротного выплыло из тьмы.

– «Узнай, есть они на холме или нет».

И опять тьма стала злой, и опять Никифору показалось, что он одинокий и беспомощный. Он затаил дыхание и сжался, но, помня приказ ротного, полез дальше. Страх капля за каплей опять начал падать в душу. Сжимая обеими руками винтовку, он пошел по меже вниз, в лог, чтобы оттуда пробраться к холму. Он теперь знал, где наши и где враги. Пугало только, что тихо кругом. Так тихо, что слышно, как сердце стучит. А сапоги гремят, и трава шумит сердито. От усталости и напряжения в глазах у него порой вспыхивали золотистые искры.

Вдруг странный звук поразил его слух. Будто машина пыхтела где-то далеко. Пильщиков остановился и стал слушать.

Звук повторялся через равные промежутки. В нем было что-то знакомое, даже родное для Никифора, а что – он не мог понять.

Вслушиваясь, он осторожно полез дальше. Звук становился слышнее. Вот где-то здесь он начинается, будто в этой траве, растущей на склоне холма...

– Что такое? – думал Пильщиков, напряженно вслушиваясь.

Будто вот-вот знакомое, а не узнаешь...

И вдруг он присел от ужаса:

– Батюшки, да ведь это храпит кто-то!

Все внутри у него метнулось.

Бежать!

Но сдержался. Замер. Весь напрягся, слушая. Да, теперь ясно: храпит кто-то. Здорово так храпит, настоящим мужичьим храпом. Пильщиков, как зверь, весь насторожился, пригнулся и полез туда, откуда слышался храп. Ступнет раз и остановится. Ступнет другой и остановится. Крался и весь дрожал. Всякий момент он готов был и выстрелить, и ударить штыком.

Руки клещами вцепились в винтовку.

Неясное забелелось в темноте, и оттуда густо, трубой валил храп. Настоящий такой, вкусный, от которого самому спать хочется.

Пильщиков осмелел. Он уже прямо шел к спящему.

Вот «он». Весь тут. Вот-вот... Руки разбросал, голова запрокинулась. Но кто? Может быть, наш, русский? Пильщиков потянул носом незнакомый запах:

– Австрияк. Наши так не пахнут.

Он присел и стал щупать кругом.

Винтовка и ранец из кожи лежали сбоку. На винтовке штык-нож. Поблескивает в темноте. Пильщиков потянул винтовку к себе. Теперь враг был безоружен.

«Га. Спит. Заня-ятно!..» – подумал Пильщиков и пристально присмотрелся к спящему.

Здоровый австрияк. Большемордый. Рот раскрыл, а в

горле будто телега едет и тарахтит. И таким родным, страшно близким пахнуло на Пильщикова от этого храпа, что он заулыбался.

– Умаялся. Тоже, поди, достается.

Он минуту посидел возле спящего на корточках, не зная, что делать, послушал, затаив дыхание. Кроме храпа и далеких выстрелов, ничего не было слышно.

Потом, не торопясь, он надел на себя ранец и взял в правую руку винтовку австрийца, а в левую – свою винтовку и осторожно пошел назад довольный, хитренько улыбающийся...

А тот все храпел, храпел...

Ног под собой не чувствовал Никифор, когда шел к ротному.

Эге!.. А может теперь другой крест дадут? Ведь это фокус – обокрасть австрийского часового.

Вот бы и не улыбался, да рот уголками к ушам тянется. И все лицо блестит, как блин скромный.

– Видел?

– Так точно, ваше бродь. Видел. Тот бугор-то, что вы мне показывали...

– Ну?

– Там на нем австрияк.

А у самого глазки хитренько поблескивают. Рассказал он все по порядку, как крался, как кричала сова, в каком месте встретил врага.

– Вот винтовку и ранец забрал

Ротный взял винтовку, осмотрел со всех сторон. Исправна, заряжена.

– Молодец. А в ранце-то смотрел, что там есть?

– Никак нет, не спопешился.

Расстегнули ранец – белье, еда, книжка какая-то...

– Та-ак, – протянул ротный. – А самого-то австрийца нельзя было живьем привести?

– Никак нет. Голоса недалеко были слышны. Сумно, а слышно. Ежели бы я его разбудил да повел, он закричал бы.

– Так, это, положим, верно. Ты хорошо сообразил. Молодец.

– Рад стараться, ваше бродь.

– А чем же ты его?

– Ась?

– Опять ты ась говоришь, – поморщился офицер, – я спрашиваю, чем ты его, врага-то, прикончил?

– Вот ранец и винтовку взял у него.

– Ну да, это так. А с самим-то с ним что ты сделал?

– А он там остался.

– Я знаю, что там остался. Но чем ты убил-то его?

Пильщиков широко открытыми, удивленными глазами посмотрел на офицера. Высокий, рябоватый, кряж настоящий.

И счастливое сияние на лице померкло. А рот чуть открылся.

– Ты же убил его?

– Никак нет.

– Как так? Ты его не тронул?

– Да он же спал, ваше бродь.

– Ну так что же, что спал, черт тебя побери! – вдруг закричал офицер, поднимаясь со стула. – Ты должен был убить его. Раз нельзя взять в плен, надо убить. Он кто тебе? Брат родной? Или отец твой?..

– Никак нет.

– Кто же он тебе? Враг?

– Так точно.

– Так почему же ты его не убил?

– Да я же говорю... Он же спал, ваше бродь.

Офицер злыми, потемневшими глазами посмотрел на Никифора.

– Ну, видали такого болвана? А? Я тебя под суд, негодяя, отдам.

Офицер протянул со стола бумажку, подержал ее, швырнул.

Сам красный весь. И показалось Пильщикову, что офицер не все понял, объяснить надо.

– Ваше благородие, встряк-то спал... храпел.. умаялся должно. Ежели б не спал, я б его в полон взял альбо поранил. А то он спит и храпит. Здорово так храпит. Доведись вот мне... Иной раз так умаешься, ног не чуешь под собой. Бывало, ребята в казармах будят иной раз: «Никишка, не храпи».

Офицер пристально посмотрел на Пильщикова, а тот, знай, ест его глазами.

По уставу, как нужно.

Сероглазый кряж. Такой на вид исполнительный, а на груди белеет «Георгий». И вдруг поползла, поползла улыбка по губам офицера. Будто и не хочет, а смеется.

– Ах ты урод этакий! Балда! Какой ты воин? Ты мужик. Пшел вон...

Повернулся Пильщиков налево кругом, вышел, полный недоумения. И, отойдя от избы, сказал вслух, по привычке, ни к кому не обращаясь:

– Главное дело, спал он. И притом же – *храпел...*



БОРИС ЛАВРЕНЁВ

РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ

КИНЕМАТОГРАФ

Улица... Рассвет...

На стене косо и наспех наклеенный листок...

ЭКСТЕННОЕ СООБЩЕНИЕ.

Красные покидают город. Части доброармии вступили в предместье. Население призывается к спокойствию.

Мимо листка проходит запыленный красноармеец.
Тяжело волочит винтовку.

Видит листок...

...срывает с бешенством и внезапной злобой.

Губы его шевелятся... Ясно, что он с надрывом и
длинно ругается.

ИНОСТРАНЕЦ

Зеркало в облезлой раме, с зелеными пятнами гнили на внутренней стороне, треснуло когда-то пополам, склеивали его неумелые руки, и половинки сошлись неровно, под углом.

От этого лицо резалось трещиной на две части, нелепо ломалось, и рот растягивался к левому уху идиотской гримасой.

На спинке стула висел пиджак, а перед зеркалом брился

человек в щегольских серых брюках и коричневых американских, тупоносых полуботинках.

Голяря в пригородной слободке, между развалинами пороховых погребов, была невероятно грязна, засижена мухами, пропахла самогоном, грязным бельем и гнилой картошкой.

И такой же грязный и лохматый, не совсем трезвый, хохол, неизвестно зачем открывший свое заведение в таком месте, куда даже собаки забежали только поднять ножку, обиженно сидел у окна и искоса смотрел на странного посетителя, пришедшего ни свет ни заря, чуть не выбившего дверь, отказавшегося от его услуг и на ломаном русском языке потребовавшего горячей воды и бритву.

Пыльные стекла маленького окна вздрагивали ноющим звоном от приближавшегося орудийного гула, и при каждом сильном ударе брившийся поглядывал в сторону окна спокойным, внимательным серым глазом.

В алюминиевой чашке, в снежных комках мыльной пены, золотыми апельсинными отливами блестели завитки сбритой бороды и усов.

Брившийся отложил в сторону бритву и намочил в горячей воде тонкий носовой платок. Обтер и попудрил лицо, достав из брюк карманную серебряную пудреницу.

Потрогал пальцем гладкие щеки и круглую ямочку на подбородке, и рот его, твердо сжатый и резкий, вдруг расцвел на мгновение беззаботным розовым цветком.

Но окно опять заныло от орудийного удара.

Хозяин вздрогнул и, как бы очнувшись, сказал хрипло:

– Жарять!.. Зовсим близко!..

– Comment?.. Что ви гаварит?

Иностранец быстро повернулся к хозяину и услышал обиженное ворчание:

– Що кажу?.. На ж тобі!.. П'ятдесят роки казав – люди розумили, а тепер непонятково!.. Христиане розуміють, а на бусурманина мови не наховаєш!

– А! – протягнув иностранец.

И к вящому изумлению хозяина вынул из кармана маленькую коричневую аптекарскую склянку, откупорил ногтем глубоко увязшую пробку и вылил на блюдце остро пахнущую жидкость. Намочил головную щетку и круглыми взмахами стал водить по прическе от лба к затылку.

Открыв рот, хозяин увидел, что намокавшие золотистые волосы потускнели и медленно почернели.

Иностранец встал, вытер голову платком и тщательно расчесал пробор.

Пристегнул воротничок, завязал галстук и, когда надевал пиджак, услышал нудный голос хозяина:

– От-то, оказія!.. Що це ви з волоссями зробили? Чи ви мабуть клоун, чи ще яке комедіянство?..

Иностранец легко улыбнулся:

– Ньет!.. Я ньет клоун, я купца! Мой ім'я Леон!.. Леон Кутюрье!

– Воно и видать, що нехристь!.. И имя в вас не людское, а неначе собаче... Куть... куть! Скильки ще гамна на свити!..

И хозяин с презрением плюнул на пол.

Леон Кутюрье снял с вешалки легкое пальто, нахлобучил на затылок котелок и сунул в руку хозяину крупную бумажку.

Хохол захлопал ресницами, но, прежде чем он опом-

нился, иностранец был на улице и зашагал вдоль садовых заборов к городу, из-за далеких труб которого рачительным и румяным хозяином скосоурилось солнце. Хозяин недоуменно смял деньги, мелкие морщинки его щек скрестились лукавой сеткой, и он хитро посмотрел в окно.

Качнул лохматой головой и произнес веско и ясно:

– Неначе скаженный!..

«AU REVOIR, ХРАБРУ JEUNE HOMME!»

Был погожий и теплый предосенний день.

Леон Кутюрье беспечно пошел по тротуару в том же направлении, в котором двигались кучки муравьиных людей.

За широким раскатом настороженно опустелой улицы открылся старый парк, над сбегавшим вниз обрывом, а под ним лениво лизала пески и ржавые глины обмелевшая, зеленая река.

Над самым обрывом белесой лентой легла аллея, огороженная чугунной резной решеткой, осененная столетними широколапыми липами.

Решетка взбухла грузом прижавшихся и повисших на прутьях человеческих тел.

На другой стороне реки, в заречье, покрытом прожелтью камышей, изрезанном синими червяками рукавов, по узкой гати двигались кучки крохотных рыжих букашек, поблескивая по временам металлическими искорками.

Когда Леон Кутюрье, беспрестанно извиняясь, приподымая котелок, протиснулся к решетке, издалека, слева, оттуда, где был вокзал, тяжело и надсадисто грохнули че-

тыре удара, высоко вверх запел звоном и визгом разрезанный воздух, и над далекой гатью, на синем мареве сосняка, вспухли четыре белых клубка.

Ахнула общей грудью облепленная людьми решетка:

– А-аах!..

– Перелет, – сказал крепкий и уверенный голос.

Но не успел еще кончить слова, как взвыл снова воздух, и белые клубки повисли над самой гатью, закутав ее плотной пеленой.

– Вот это враз!.. Чисто сделано!

Рыжеватый и плотный в золотом пенсне, стоявший рядом с Леоном Кутюрье, плотоядно облизнулся.

Стало видно, как засуетились на гати рыжие мураши.

– Ага, не нравится! Попадет сволочам!

– Жаль, удерут все же!

– Ну, не все!.. Многие влипнут!

– Молодцы корниловцы!..

– Всех бы перехлопать!.. Хамье, бандиты проклятые!

Шрапнельные разрывы учащались, ложились гуще и вернее. Пожилой человек в широком пальто, стоявший об руку с хорошенькой блондинкой, повернулся к Леону Кутюрье.

– Как это называется... вот чем стреляют?

– Шрапнель, мсье!.. Такой трубка, который имеет много маленька пулька. Очень неприятн! Tres desagreable!

Старик опять впился в горизонт. Блондинка, распушив губы и взмахнув обещающе длинными ресницами, улыбнулась Леону Кутюрье.

– Это карточное действие? – спросила она, видимо радуясь и гордясь специальным термином.

– Oui, madame! Картешь!..

Леон Кутюрье прикоснулся к котелку и отошел от решетки. Оглянувшись, увидел разочарованный взгляд, весело послал воздушный поцелуй и пошел по аллее, сбивая тросточкой мелкую гальку.

Спустился по песку к воротам, на которых тусклым золотом сверкал императорский, распластавший геральдические крылья, орел. Обе головы ему сбили камнями досужие мальчишки.

Очутившись на улице, направился к спуску в гавань, но услышал сзади переплеск криков: «...смотрите!.. едут!..» и звонкий грохот копыт мчащихся лошадей.

Леон Кутюрье остановился на краю тротуара и взглянул вдоль улицы.

Высоко взбрасывая белошкеточные ноги, брызгая пеной с закушенного мундштука, впереди разъезда кавалерии, коней в тридцать, летел золотисто-рыжий, почти оранжевый, английский скакун, легко неся седока.

Молодой, разругавшийся от скачки, азарта и хмеля удачи, тонкий офицерик держал в опущенной руке обнаженную шашку, и за его спиной вихрем метались длинные концы белого башлыка.

Он резко посадил коня на задние ноги у фонарного столба, прислонясь к которому стоял Леон Кутюрье, и оглянулся, как будто ища нужное лицо на тротуаре.

Очевидно, спокойная поза иностранца и хороший костюм произвели на него должное впечатление и, перегнувшись с седла, он спросил:

– Милостивый государь! Какая самая краткая дорога к пристаням?

Леон Кутюрье восторженно улыбнулся:

– О, mon lieutenant! Ви видит эта улиц? Ездиль до перви поворот эта рука... а droite! Там будет крутому спуску вниз, и ви найдет пристань!

Офицерик отсалютовал шашкой и спросил еще:

– Вы иностранец?

– Oui, monsieur! Я француз!

– А, союзник!.. Да здравствует Франция! Напишите в Париж, мсье, что сегодня мы вдребезги раскатали краснопузую сволочь. Скоро Москва наша!

Леон Кутюрье восхищенно прижал руку к сердцу:

– О, mon lieutenant! Русску офисье... это... это le plus brave! Маршаль Фош сказалъ – русску арме одни голи куляк разбиваль бошки пушка, – закончил он, с еле уловимой иронией.

Офицерик засмеялся: – Merci, monsieur!

Обернулся к отряду:

– За мной!.. Рысью... ма-арш! – и копытный треск пронесся по граниту к спуску.

Леон Кутюрье приветственно помахал вдогонку тростью и отправился дальше. На углу он остановился у разбитой витрины заколоченного магазина, оперся на ржавые перила и внимательно начал разглядывать валявшиеся на запыленных полках остатки товаров.

Поднял руку и с неудовольствием заметил, что манжета покраснела по краю пятном ржавчины.

– Sacrebleu! – сердито сказал француз и, вынув из кармана носовой платок, начал старательно стирать ржавчину.

До вечера, лениво и бесцельно, бродил он по улицам, встречая конные и пешие части входящих добровольцев,

помахивая тросточкой и котелком, любезно улыбаясь, впутываясь в ряды пехоты, разговаривая с солдатами и офицерами, поздравляя с победой, кланялся, шаркал ножкой.

Лицо у него было милое, глуповато восторженное лицо фланера парижских бульваров, офицеры и солдаты катались со смеху от его невозможного выговора, но француз не обижался, смеялся сам, суетился и только по временам его, видимо, беспокоило пятно на манжете, потому что он часто вынимал из кармана платок и с французскими ругательствами яростно стирал злополучную ржавчину.

День уплывал за заречные леса. Вместе с влажной свежестью обыватели попрятались привычно по домам, — из боязни налететь на пулю нервного часового или нож бандита.

Крепкие каблуки Леона Кутюрье застучали по пустынному переулку.

Издали француз увидел отяжелевшие светом окна особняка, принадлежавшего богачу помещику, лошаднику, и занятого при красных под райком партии.

У подъезда угрюмо стыл громадный «Бенц», и на подушках автомобиля спал усталый шоффер.

На ступенях крыльца, вытянувшись и застыв, воплощением простой нерассуждающей силы, стоял часовой юнкер. На рукаве шинели в сумерках чуть виднелась сложенная углом красно-черная ленточка.

Леон Кутюрье поровнялся с окнами и увидел, как по комнате прошли, оживленно жестикулируя, два офицера.

Он остановился, чтобы рассмотреть лучше, но услышал хлюпающий звук вскинутой на руку винтовки и жесткий крик:

– Нельзя!.. Проходи!..

Кутюрье шагнул вперед.

– Нишево, господин солдат!.. Я мирна гражданин, иностранец, если позволит! Леон Кутюрье! Мне иметь удовольствие поздравить православни армия с победа.

В голосе француза было такое обезоруживающее простодушие, глуповатое и ласковое, что юнкер опустил винтовку.

Француз стоял в полосе света, бившего густой сметанной белизной из окна, с котелком на затылке, расставив ноги, приятно улыбаясь, и показался юнкеру похожим на веселого героя экранных проказ Макса Линдера, над лицами которого юнкер беззаботно смеялся в те дни, когда его рука предпочитала сжимать не тяжелый приклад, а нежную руку девушки в тишине темного кино.

Но все же он строго сказал:

– Хорошо, мсье! Но проходите! С часовым говорить нельзя!

– Mille pardons! Я не зналь! Я не военна!.. Ви наверно сторожит большая пушка?

Юнкер хохотнул:

– Нет!.. Здесь штаб командующего! Но проходите, мсье!

Леон Кутюрье отошел. Пройдя особняк, оглянулся. Неподвижная фигура юнкера высилась бронзовой статуэткой на ступенях. На тонкой полоске штыка играл серебряный холодноватый блеск.

Француз снял котелок и крикнул:

– Au revoir, господин солдат! Я очень люблю храбру русску jeune homme!

МАНЖЕТА

Васильевская улица была тихой и сонной, утонувшей в старых садах, из которых выглядывали низкие особнячки.

За две недели до вступления белых, в квартиру доктора Соковнина въехала по ордеру жилотдела, заняв две комнаты, артистка Маргарита-Анна Кутюрье.

Мадам Соковнина вначале осwirепела:

– Поселят такую дрянь, а потом разворует все вещи и уедет. И жаловаться некому!

И, злясь на жилицу, избегала встречаться с ней и не кланялась.

Но артистка не только ничего не вывезла, но еще привезла рояль и несколько кожаных чемоданов, набитых платьями, бельем и нотами.

У нее оказалось прекрасного тембра драматическое сопрано, сухой медальный профиль, холеные руки и великолепный французский выговор.

А когда, однажды вечером, она спела несколько оперных арий, спела, мощно бросая звуки, свободно и верно – лопнула пленка человеческой вражды.

Докторша вошла в комнату жилицы, восхитилась ее голосом, разговорилась, предложила столоваться у них, а не портить себе здоровья советским питанием, и Маргарита Кутюрье стала своим человеком в семье Соковниных.

Мадам Марго пленила хозяев тактом, прекрасными манерами и восторженной и нежной любовью к мужу, застрявшему с весны в Одессе, которого Марго ждала с приходом белых.

В этот тревожный день, после стрельбы, конского то-

пота и людской молви по всполошенным улицам, мадам Марго вернулась к чаю возбужденная и веселая.

– О, Анна Андреевна! Я встретила на улице знакомого офицера!.. Он сказал... Леон в поезде командующего и будет сегодня к восьми часам, как только исправят взорванные рельсы за слободкой.

– Ну, поздравляю, дорогая! – ответила докторша.

Поэтому, когда за ужином все сидели в сборе: доктор, Анна Андреевна, Марго, дочь Леля, и из передней яростно задребезжал звонок, – за Маргаритой, выбежавшей с криком: «Ah, c'est mon mari!», последовали все.

В дверях стоял Леон Кутюрье. Жена с радостным смехом целовала его в щеки, он гладил ее по плечу и улыбался смущенно хозяевам.

– О, mon Leon! О, mon petit. Je vous attendais depuis longtemps!

Француз что-то тихо сказал жене. Она схватила его руку и повернулась:

– О, я так счастлива, что даже забыла!.. Разрешите представить моего мужа!

Леон Кутюрье, низко склонясь, поцеловал руку хозяйки и крепко сжав руку доктора.

– Что же мы стоим в передней? Прошу в столовую! Впрочем, вы наверное хотите помыться с дороги?

Француз поклонился.

– Благодарю... Parlez-vous francais, madame?

– Un peu... trop peu! – смущенно ответила Соковнина.

– Шаль!.. Я говорю русску очень плок. Я не кочу ванн! Я имею обичка с дорога брать бань. С вокзаль я даваль везти себя в бань... le bain. Козяин пугальсь, кавариль: «какой

бань... стреляйт». Но я давалъ ему два ста рубль. Она меня купаль, а на улиц «бум-бумм!..»

Он так жизнерадостно весело рассказывал о бане, что хохотали все, и Соковнины и Маргарита, изредка взглядывавшая на мужа мимолетными настороженными взглядами.

За чаем гость ел с аппетитом, сверкал зубами и улыбкой, ломаным языком рассказывал о событиях в Одессе, о высадке цветного корпуса и бегстве большевиков...

– Скоря будет польн порадок... Я занималь опять la commerce, фабрика консерв... Маргарит будет петь на опера.

Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на жену. Она поняла.

– Tu es fatigue, Leon? N'est-ce pas?

– Oui, ma petite! Je veux dormir... dormir...

– Да... да! Конечно, вам нужно отдохнуть после такой дороги. А где же ваши вещи, Леон Францович?

– О, у меня одна маленьки сак! Я оставляль его хозяин бань до завтра.

– Тогда возьмите пока белье Петра Николаевича!

– Не беспокойтесь, Анна Андреевна! Белье Леона у меня! – сказала француженка и покраснела мило и нежно.

– Merci, madame!

Леон Кутюрье еще раз поцеловал руку хозяйки и вышел за женой.

Войдя в комнату, наполовину загороженную роялем, француз быстро подошел к окну и посмотрел вниз, где смутно чернели плиты двора.

Круто обернулся...

... и спросил вполголоса.

– Товарищ Бэла!.. Вы хорошо знаете всю квартиру. Куда выходит черный ход?

– Во двор у дровяного сарая. Налево ворота. На ночь запираются. Стена в соседний двор – полторы сажени, но у сарая лежит легкая лестница.

– Вы молодец, Бэла!

Она тихо и певуче засмеялась.

– Знаете... это чорт знает что! Если бы я не знала, что вы придете в половине девятого, я ни за что не узнала бы вас. Феерическое преобразование!

– Тсс... тише!.. У стен могут быть уши! Не будем говорить по-русски. Такой разговор между супругами французами может показаться странным.

Она открыла крышку рояли и взяла густой аккорд. Спросила по-французски:

– Откуда у вас, товарищ Орлов, такой комический талант?.. Ни за что бы не поверила!..

– Не даром я шесть лет промотался в эмиграции в Париже...

– Да я не о языке!.. А вот об этой имитации акцента! Это же очень трудно!

– Пустяки, Бэла!.. Немножко силы воли, выдержки и умения держать себя в руках.

Он сел за стол и отстегнул манжету.

– Вы можете дать мне бумагу и ручку?

Взял бумагу, разогнул манжету, положил перед собой и старательно, вглядываясь в чуть заметные карандашные пометки, зачертил пером, и первая же строчка легла ясная и четкая:

«Корпус Май-Маевского. Александрийский гусарский полк. Приблизительно 600 сабель».

Кончив писать, тщательно вытер манжету резинкой и протянул листки женщине.

– Бэла!.. Завтра отнесете Семенухину. Он перешлет в военный отдел пятерки. Ну, довольно! Где я буду спать?

Бэла показала на открытую дверь спальни, где белела свежими простынями двуспальная старинная кровать карельской березы.

– Хорошая кровать!.. И комната!.. А вы где спите?

– Здесь же!

Орлов сдвинул брови:

– Что за чепуха?.. Неужели вы не могли подумать об этом раньше? Попросите у хозяев какую-нибудь кушетку для меня.

Бэла вспыхнула и посмотрела ему в глаза.

– Орлов! Я не считала вас способным на мещанство. Если вы считаете опасным говорить по-русски, то уж совсем не по-французски, чтобы приехавший после разлуки муж требовал отдельную кровать. Нелепо и подозрительно! У нас два одеяла, и будет очень удобно. Надеюсь, вы достаточно владеете собой?

Он резко махнул рукой:

– Я не потому!.. Просто боюсь стеснить вас! Я сплю очень беспокойно!

– Вздор!.. Выйдите, пока я лягу!

Выйдя, Орлов со злобой перелистал фотографии семейного альбома. Легкомысленное и глуповатое выражение давно сошло с напряженного железно-очертившегося и побледневшего лица. Углы рта опустились злой и старящей складкой.

В спальне щелкнул выключатель, хлынула мгла, и певучий голос Бэлы сказал:

– Leon! Je vous attends! Venez dormir!

Орлов вошел в темную спальню, ощупью нашел край кровати, сел на него и быстро разделся.

Скользнул под шуршащее шелком одеяло, сладко вытянулся и усмехнулся.

– Веселенькая история!.. Спокойной ночи, Марго!

– Спокойной ночи, Леон!

Повернулся к стене, перед глазами покатались, как всегда в полудремоте, красные, зеленые и лиловые спирали, и, глубоко вздохнув несколько раз, Орлов уснул.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Супруги Кутюрье жили мирно и счастливо. На третье утро после приезда мужа, в воскресенье, Бэла сидела на краю кровати, в утреннем халатике, пила ячменный кофе из большой детской чашки и по-ребячьи, захватывая сразу губами и зубами, грызла желтые пышные бублики.

Орлов медленно открыл глаза и повернулся.

– Доброго утра, Леон! Как спали?

– О, чудесно, – ответил Орлов, облокотившись на подушку.

Бэла отставила чашку на туалетный столик и повернулась к нему. Глаза потемнели и вспыхнули сердитыми блестками.

– А я эту ночь не спала... И, знаете, нашла, что все это очень глупо, нерасчетливо и гадко!

– Что такое?

– Ну вся эта история! Нельзя оставлять людей в подполье на месте легальной работы. Мы не так богаты крупными партийцами, чтобы терять их, как пуговицы от штанов. И я считаю, что Губком в отношении вас поступил идиотски глупо...

– Бэла!.. Я попрошу вас находить более подходящие выражения для оценки действий Губком.

– Я не привыкла к дипломатическим вежливостям!

– Привыкайте! Губком не глупее вас!

– Благодарю!

– Не за что... Что вы понимаете в партийной линии? – сказал Орлов, внезапно раздражаясь, – вы, маленькая девочка, удравшая из архибуржуазной семьи в романтический поток?.. Ведь вас потянула, именно, романтика... приключения. Очень хорошо, что вы работаете беззаветно, но судить вам рано.

– Каждый имеет право судить!..

– Не спорю... Судите потихоньку. Хотите знать, зачем оставили именно меня? А потому, что я знаю здесь и в округности на пятьдесят верст каждый камень, знаю, за кем и как мне следить, когда расплаются белые страсти. А когда наши вернутся, – у меня в минуту весь город будет в руке. Вот!

Он разжал кисть и с силой сжал ее:

– Р-раз и готово! И никаких заговоров, шпионажа, контр-революции!

– А если вы попадетесь?

– Риск!.. Это война!.. А потом, – если *вы* вчера меня не узнали; это – достаточная гарантия, что не узнает никто. «Рыжебородый палач», «Нерон», «истязатель»... чекист Орлов и Леон Кутюрье.

– А все же!..

– Хватит, Бэла!.. Идите – я буду одеваться!

За завтраком Леон Кутюрье потешал хозяев французскими анекдотами и даже доставил огромное удовольствие тринадцатилетней Леле, показав ей, как глотают ножи ярмарочные фокусники.

Но у себя в комнате, взяв шляпу, Орлов сказал Бэле сухо и повелительно:

– Бэла! Я ухожу. Вернусь к шести. Вы сейчас же отправитесь к Семенухину и передадите ему записи!

Ночью над городом пронеслась короткая гроза, и здания и деревья, вымытые и свежие, сверкали в стеклянном воздухе еще непросохшими каплями.

Улицы заполнились обывателем, трехцветными флагами, ленточками, букетами роз, модными шляпками и алыми цветками подкрашенных губ.

Все спешили на соборную площадь, на парад с молебствием, по случаю счастливого избавления города от большевиков.

Леон Кутюрье протискался в первые ряды, благоговейно снял шляпу, с достойным смирением прослушал молебен и короткую устрашающую речь длинноногого, похожего на суженный книзу клин, генерала.

Генерал в сильных местах речи подпрыгивал, и жилистое тело его, казалось, хотело выпрыгнуть из мешковатого френча, дергаясь картонным паяцем.

Серебряные трубы бодрым ревом грохнули марсельезу. Француз Леон Кутюрье геройски выпрямил грудь и пропустил мимо себя войска, прошедшие церемониальным маршем в сверкании штыков, пуговиц, погон и орденов.

Публика бросилась за войсками.

Леон Кутюрье надел шляпу и, не торопясь, пошел в обратную сторону, на главную улицу. С трудом протискиваясь по заполненному тротуару, он увидел несущегося вихрем босоногого мальчишку-газетчика.

Мальчишка расталкивал всех, прыгал и визжал пронзительно:

— Дневной выпуск газеты «Наша Родина»! Поимка главного большевика!.. Оч-чень интересная!..

Леон Кутюрье остановил газетчика. Тот молниеносно сунул ему в руки свернутый номер, бросил за пазуху деньги и помчался дальше.

Леон Кутюрье развернул лист, чуть дрогнувшими пальцами. Глаза сбежали по неряшливым, пахнущим керосином строчкам, расширились, остановились, застыли на жирном заголовке:

Поимка палача, чекиста Орлова

«Вчера ночью на вокзальных путях офицерским патрулем задержан неизвестный, пытавшийся забраться в теплушку уехавшего эшелона. Присутствующие на вокзале опознали в задержанном председателя губчека, известного садиста, истязателя и палача Орлова. Несмотря на опознание его многими лицами, Орлов отрицается и уверяет, что он крестьянин, приехавший из Юзовки, и хотел вернуться домой. Документов при нем не найдено, но в свитке оказалась зашитой крупная сумма денег. Орлов уверяет, что деньги получены им для юзовского кооператива. Наглая ложь трусливого палача так возмутила

публику, что его хотели здесь же растерзать. Патрулю с трудом удалось доставить Орлова в контрразведку, где этот негодяй и получит заслуженное возмездие».

Пальцы в кулак... Газета комком... Ноги влипли в асфальт...

Сбоку какая-то женщина.

– Что с вами?.. Вы нездоровы?

Одна секунда...

Леон Кутюрье приподнял котелок:

– Блягодару!.. Ньет!.. Ничево!.. У меня очень больна сердце... Іе соеиг... Одна маленька припадка... Пуста случай. Спасибо! Извочик! Николаевска улис!

Вскочил в пролетку и сунул в карман скомканную газету.

ДИАЛОГ

– Орлов?.. С-сам! А у меня тт-только что была Б-бэла... Зна... да что с тобой такое? На тт-тебе лица нет!

Орлов вытащил из кармана пальто газету:

– На, читай!

Семенухин взглянул на лист. Коротко стриженная голова, с торчащими красными ушами, быстро нагнулась, и он стал похож на гончую, на последнем прыжке хватящую зайца.

Зрачки поскакали по строчкам.

Потом голова поднялась, губастый рот растянулся в довольный смех, и он выдавил, заикаясь:

– В-ввот зд-д-доррово!.. Эт-то ж замм-мечательно!

– Что ты находишь тут замечательного? – спросил Орлов, прищурясь и присев на край стола.

– Д-да ведь эт-то ж исключительный случай! Т-тепперь ты можешь быть совершенно спокоен. Они п-прикончат этого олуха и т-тты умм-мер! Н-ниक्к-кому не п-придет в гол-лову т-тебя искать. Эт-тто такк-кая счастливая непп-предвиденность!

Орлов подпер ладонью подбородок и внимательно смотрел на Семенухина.

– Тебе никогда не приходили в голову никакие сомнения, Семенухин? Ты всегда делал, не раздумывая, свое дело?

– А п-почему т-тты спрашиваешь?

– Что ты сказал бы, если бы я сообщил тебе, что вот сейчас, после прочтения этой заметки, я пойду сдаваться в белую контрразведку.

Семенухин быстро захлопнул улыбавшийся рот, откинулся на треснувшую от напора железного тела спинку стула... и расхохотался.

– Н-ну тебя к чч-чортовой мат-тери! Я чуть не п-принял всерьез! С-слушай, – об этом тотчас же нужно известить всех... П-пусть по районам поднимают вой сожаления о т-ттоварище Орлове. Эт-то б-будет замм-мечательно!

Орлов нагнулся к нему через стол.

– Ты дурак! Я тебе говорю совершенно серьезно. Что ты скажешь, если я пойду и сдамся.

В голосе Орлова были жесткие удары меди. Улыбка сбежала с лица Семенухина, и он внимательно вглядывался в левую щеку Орлова, на которой нервно дрожал под глазом треугольный мускул.

– Ч-что бы я ск-казал?... – начал он медленно и глухо, замолчал, отодвинул стул и, встав во весь рост, неторопливо и спокойно вынул из бокового кармана револьвер:

– Ск-казал б-бы одно из д-двух. Или т-ты с ума с-сошел, или т-ты п-пподлец и п-ппредатель! В т-том или д-другом случае я об-бязан не допустить т-такого исхода.

– Спрячь свою погремушку. Меня не испугаешь револьвером.

– Я п-пугать не соб-бираюсь. А убить – уб-бью!

– Послушай, Семенухин! Откинь все привходящие обстоятельства. Дело обстоит для меня чрезвычайно остро. На мне лежит крайне тяжелая работа, требующая полного равновесия всех сил. Ваше дело простое! Вы сидите кротами по квартирам и по ночам вылазите в районы для агитации. Я круглый день танцую на острие бритвы. Мельчайшая оплошность – и конец!

– Т-ттак что же тт-тебе нужно?

– Подожди!.. Еще одно! Вместо меня, дурацкой ошибкой, роковым сходством, приведен к смерти человек. Не враг, – не офицер, поп, фабрикант, помещик, – а мужичонка. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли партия избавить меня от опасности, ценою его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?

Семенухин иронически скривил рот.

– Интеллигент-ттская п-ппостановочка вопроса! Нравст-твенное право и в-веления м-мморали? Д-ддостоевщина! Д-для тебя есть т-только дело п-ппартии, и пп-проваливать его т-ты не им-меешь права!

По лицу Орлова, от лба к подбородку, протекла густая красная волна. Он вскочил со стола.

– Зачем ты говоришь о деле партии? Я его не провалю и не собираюсь проваливать. Если бы даже я сдался, – из меня никакими пытками ничего не выжмешь. Думаю, ты меня достаточно знаешь и можешь оставить нравоучения при себе. Я в них не нуждаюсь!

Семенухин раздумчиво покачал большой головой.

– Ты очень нервничаешь! Это нех-хорошо! Т-только поэтому т-ты и наговорил таких глупп-постей, которые сами пп-по себе достт-таточны для исклю-чения люб-бого т-товарища из партии. П-поступок, который т-ты хотел сделать – пп-предательство. Я говорю эт-то именем ревкома! Оп-помнись!

Орлов побледнел и нервно стянул лицо к скулам. Опустил глаза, и голос конвульсивно задохнулся в горле.

– Да, я нервничаю! Я не машина, наконец, чорт возьми! В силу всех известных тебе обстоятельств я прошу ревком освободить меня от работы и переправить за фронт. Я могу просто не выдержать бесконечного напряжения, сорваться и еще больше навредить делу. Примите это все во внимание. Камень тоже может расколоться.

– Г-глупп-ости! Отправляйся домой и отдохни!

Голос Семенухина стал нежным и ласковым. Было похоже, что отец говорит с маленьким и любимым сыном:

– Дмитрий! Я понимаю, что тебе очень тяжело, и что вспышка твоя совершенно естественна. Ты наш лучший раб-бботник. Отдохни дня два. А п-после т-ты сам б-будешь смеяться!.. Ппойми, как-какая счастливая случайность! Орлов умер, и б-белые спокойны, а Орлов т-ттут, рядом, голуб-ббчики!

– Хорошо! До свиданья! У меня действительно голова кругом идет!

– П-понимаю! Так не б-ббудешь глупить?
– Нет!
– Ч-честное слово?
– Да!
– Д-до свид-данья? Т-такая глупп-пость! За т-три дня ты соб-брал т-такие сведения, и вдруг...

Он схватил обеими руками руку Орлова и яростно смял ее:

– Отдохни о-бязательно! – и нежно закончил, – ч-чудесный т-ты п-парень!

ПОРЦИЯ МОРОЖЕНОГО

Леон Кутюрье бросил продавщице деньги, воткнул в петличку две астры и, поигрывая тросточкой, побрел вниз по Николаевской улице, по-кошачьи улыбаясь томным от осеннего воздуха женским глазам.

Было жарко, и Леону Кутюрье захотелось освежиться.

Он распахнул стеклянную дверь кондитерской, положил шляпу на столик, налил воды из графина и заказал кельнерше порцию мороженого.

Огляделся. За соседним столиком пили гренадин два офицера. У одного правая рука висела на черной повязке, и сквозь бинт на кисти просочилось рыжее пятнышко крови.

Кельнерша подала мороженое, и Леон Кутюрье с наслаждением заглотал ледяные комочки с острым привкусом земляники.

– ...Ну-да...об Орлове и говорю.

Пальцы Леона Кутюрье медленно положили ложечку на стол, и все тело его незаметно подалось в сторону голоса.

– ...Здорово это вышло! Идем мы, понимаешь, обходом по путям. Тут эшелоны стоят, теплушки всякие. Должны были пехоту принимать на север. Глядим прет какой-то леший из-под колес. Шмыг бочком, – и лезет в теплушку. Стой! Остановился. Подходим. Здоровенный мужичина в свитке и бородища рыжая. А глаза как угли. Ты кто? «Ваши благородия, явить божецку милость. Я ж з Юзовки. Домой треба, а тут усю недилю потяги стояли. Дозвольте доихать». – «Тебе в Юзовку? А зачем же ты в этот поезд лезешь, когда он на Круты идет?» – «Та я ж видкиля знаю, коли уси потяги сказились?» – «Сказились? Документы!» – «Нема, ваше благородие, бо вкралы!» Щеглов и говорит: забрать. Он в крик: «За що? Що я зробив?» Ведем на вокзал. Только ввели, вдруг сбоку кто-то кричит: «Орлов!» Какой Орлов! «Председатель губчека!» У нас рты раскрылись. Вот так птицу поймали. И еще тут три человека подбежали, узнали. Один в чеке сидел, так тот его сразу по морде. Конечно, кровь по бороде, а он на своем стоит. «Я, – говорит, – Емельчук, киперативный». Хотели его на вокзале пришить, но комендант приказал в разведку.

– Зачем?

– Как зачем? Он же ясно на подполье остался. И у него вся ниточка организации.

– Ну, такой ни чорта не скажет. Мы из одного чекиста жили на шомпола наворачивали, и то, сукин сын, молчал.

– Заговорит!.. Три дня поманежат – все выложит, а потом и налево. Ну, пойдешь, что ли, к Таньке?

– А что?

– Обещала она сегодня свести в одно место. Железка! Всякие супчики бывают – можно игрануть!

– Пожалуй!.. – лениво ответил офицер с подвязанной рукой и хотел встать.

Леон Кутюрье поднялся из-за своего столика и, подойдя к офицерам, с изысканной вежливостью склонил голову.

– Ви простит. Не имею честь, l'honneur, знать. Я есть коммерсант Леон Кутюрье. Я слышать ви поимщик чекист Орлов?

Офицер польщенно улыбнулся.

– Я желаль знать... Я много слыхаль Орлов... Я приехал из Одесс и узналь мой старая мать, та раувге мере, расстрелян чека. Я имель ненависть на чека и хотель винить la sante доблестни русску лейтенант. Ви рассказать мне, какой Орлов. Я бы его сам l'assasinas, как эта по-русску... убивать!

В глазах Леона Кутюрье мелькали злобные вспышки. Офицера заинтересовал забавный иностранец. Он нагнулся к товарищу.

– Мишка!.. Этого французского дурня можно здорово подковать на выпивон. Я его обработаю!

Он повернулся к Леону.

– Мсье!.. Мы очень счастливы! Представитель прекрасной Франции! Мы проливаем кровь за общее дело. С чрезвычайным удовольствием позволим себе ответный тост за ваше здоровье. Разрешите представиться. Поручик граф Шувалов!.. Подпоручик светлейший князь Воронцов!

Второй офицер осторожно толкнул товарища сзади. Тот шикнул:

– Молчи, шляпа! У француза все знакомые в России графы!

Леон Кутюрье пожал руки офицерам.

– Ошень рад! Je suis enchanté, восторжен, иметь знакомство прекрасни русски фамиль.

– Но знаете, мсье! Нам нужно перекочевать, по нижегородскому обычаю, в другое место. В этой дыре, кроме гренадина, ничего нет. А в России не принято пить за здоровье друзей фруктовой водой.

– Mais oui! Я знает русска обичь. Мы будем пить водка.

– О, это здорово! Настоящая русская душа! – и «светлейший князь Воронцов» нежно хлопнул француза по плечу.

– Мы будем пить водка! Потом вы мне говорит об Орлов! Я хочу знать, где он сидит? Я ехаль к главному командир, предлагаль стрелять Орлов своя рука, мстить! Le vengeance!

– Видите ли, мсье, – сказал небрежно светлейший князь, – я, к сожалению, не могу сказать вам, где сидит сейчас этот супчик. Это слишком мелкий вопрос для меня, русского аристократа, но, к счастью, я вижу в дверях человека, который вам поможет. Разрешите я вас оставлю на минуту?

Он элегантно звякнул шпорами и пошел к двери, в пролете которой стоял, оглядывая кафе, высокий, тонкий в талии офицер.

«Светлейший князь» взял офицера за локоть.

– Слушай, Соболевский, будь другом! Мы с Мишкой подловили тут одного французского обормота. Он какой-то спекулянт из Одессы, приехал искать свою мамашу, а ее в чеке списали. Случайно слышал, как я вчера арестовал Орлова и воспыал ко мне нежными чувствами. Хороший выпивон обеспечен. Идем с нами! Ты можешь порассказать

о его симпатии, и он уйдет не раньше, как с пустым карманом. Только имей в виду, что я князь Воронцов, а Мишка граф Шувалов!

Офицер поморщился.

– Только и знаете дурака валять. У меня грудa дела.

– Соболевский! Голубчик! Не подводи! Не будь свиньей! У тебя же самые свежие новости из вашей лавочки. А француз страшно интересуется Орловым. Даже предлагал, что сам его расстреляет за свою *rauvre mere*!

Соболевский со скучающим лицом вертел шнур аксельбанта.

– Ну, что же?

– Ладно! Дьявол с вами! Согласен!

– Я знал, что ты настоящий друг. Идем!

Соболевского представили Леону Кутюрье.

– Куда же?

– В «Олимп». Пока единственный и открыт!

Подозвали извозчиков и расселись.

МОЙ ДРУГ

От смятых бархатных портьер, обвисших пыльными складками на окне, было полутемно в прохладном кабинете.

Сумеречные светy, сквозь волну табачного дыма, холодно стыли на батарее пустых бутылок, у края стола.

В глубине кабинета на тахте, уже мертвецки пьяные, возились и щипали девчонок-хористок «граф Шувалов» и «князь Воронцов».

Хористки визгливо пищали, хохотали и откатывали солдатские непристойности.

У одной шелковая блузка разорвалась, рубашка слезла с плеча, и в прореху выпячивалась острая грудь с твердым соском.

«Граф Шувалов» верещал, изображая грудного младенца:

– Уа, уа-ааааа! – дрыгал ногами и тянулся сосать грудь. Девчонка отбивалась и шлепала его по губам.

За столом остались только Соболевский и Леон Кутюрье.

Француз, откинувшись на спинку стула, обнимал за талию примостившуюся у него на коленях тихонькую женщину, похожую на белую гладкую кошку.

Она мечтательно смотрела в окно.

Поручик Соболевский сидел совершенно прямо на стуле, как будто на лошади во время церемониального марша, и курил.

Лица его против света не было видно, и только изредка поблескивали глаза.

Глаза у поручика были странные. Большие, глубоко посаженные, томные и в то же время зверьи. По ночам, во время метели, в степи, сквозь вихрь снега, зелеными огоньками горят волчьи глаза.

И так же, по временам, зеленым огнем горели глаза поручика Соболевского.

Разговаривали они все время по-французски.

В начале обеда Кутюрье обращался к поручику на своем ломаном волапюке, от которого дергались в восторге оба офицера, пока Соболевский не сказал, нахмурясь:

– Monsieur, laissez votre esperanto! Je parle francais tout couramment.

Француз обрадовался. Оказалось, поручик Соболевский жил и учился в Париже, в Сорбонне.

Он сидел против Леона, прямой, поблескивающий глазами, и тихо говорил о Париже, вспоминал дымные сады Буживаля, в которых умер Тургенев, шумные коридоры факультета de belles lettres, где провел три чудесные года.

Леон Кутюрье кивал головой, со своей стороны поминал парижские веселые уголки и упорно подливал поручику вино. Но поручик пьянел медленно. Он только еще больше выпрямлялся с каждой рюмкой и бледнел.

– Да, это было прекрасное время нашей Франции, – со вздохом сказал Леон, – а теперь огонь Парижа померк. Проклятые боши достаточно разрешили парижан, и сейчас Париж город тоскующих женщин.

– Вы давно из Парижа? – спросил поручик.

– Не очень! В прошлом году, как раз в бошскую революцию. И мне стало очень грустно. Веселье Парижа – траур, и сердце Франции под крепом.

– Да, грустно, – процедил задумчиво поручик и внезапно спросил. – Мои беспутные приятели сказали, что вы приехали за вашей матушкой?

Леон Кутюрье вздохнул.

– О, да! Как ужасно, господин лейтенант, и я даже не знаю, где ее могила. Какие звери! Чего хотят эти люди? В варварской азиатской стране водворить социализм? Безумие, безумие! Мы имеем пример нашей Великой Революции. Ее делали величайшие умы в стране, которая всегда была светочем для человечества. И что же? Они отказались от социализма, как от бессмысленной утопии. А у вас?.. О,

мой бог! Социализм у калмыцких орд? И эти звери не щадят женщин! О, моя мать! Я слышу, она зовет меня к мщению!

– Да, да. Ее расстреляли в чека?

Кутюрье кивнул головой.

– Вы теперь понимаете, какая отрада для меня, что этот негодяй арестован!

– Дай папиросу, французик, – мяукнула неожиданно кошечка, свернувшаяся на коленях Леона. Ей было скучно слушать незнакомые слова.

– Я с большой нежностью вспоминаю Париж, – сквозь зубы выговорил Соболевский, – это было лучшее мое время. Молодость, энтузиазм и чистота! Я любил литературу, эти сумасшедшие ночные споры в кабачках, где решались мировые проблемы слова, в дыму папирос, в тумане абсента, под визги скрипок. И эти стихи, читаемые неизвестными юношами, которые назавтра гремели своими именами по всему миру...

Поручик зажмурился.

– Вы помните это:

*Hier encore l'assaut des titans
Ruait les colonnes guerrieres,
Dont les larges flancs palpitants
Craquaient sous l'essieu des tonnerres...*

– О, я этого не понимаю... Я слаб в литературе. Моя область коммерция!

Совсем стемнело. С дивана, из темноты, доносились заглушенные поцелуи и взвизгивания. Поручик допил вино, еще побледнел.

– Пора, пожалуй, отправляться. Много работы.

– Вы, верно, очень устали?.. Вся ваша армия. Но это последняя усталость героев. За вашими подвигами следит весь цивилизованный мир. Теперь ваша победа обеспечена!

Поручик облокотился на стол и посмотрел в лицо собеседнику пьяно и грозно.

– Да, скоро кончим! Надоела мелкая возня! После победы мы займемся перестройкой России в широком масштабе!

– Как вы мыслите себе ваше будущее государство?

– Как?.. – поручик еще тверже оперся на стол. Леон Кутюрье увидел, как странные глаза Соболевского расширились бешенством, яростью, запылали, заметались волчьими огнями.

– О, мсье! У меня своя теория. Все дотла! Вы понимаете! Превратить эту сволочную страну в пустыню. У нас сто сорок миллионов населения. Права на жизнь имеют только два, три! Цвет расы – литература, искусство, наука! Я материалист! Сто тридцать семь миллионов на удобрение! Понимаете? Никаких суперфосфатов, азотистых солей, селитры! Удобрить поля миллионами! Мужичье, ха-мы, взбунтовавшаяся сволочь. Все в машину! Большую кофейную мельницу. В кашу! Кашу собирать, прессовать, сушить и на поля! Всюду, где земля плоха! На этом навозе создавать новую культуру избранных.

– Но... кто же будет работать для оставшихся?

– Ерунда! Машины! Машины! Невероятный расцвет машиностроения. Машина делает все. Скажете, машины нужно обслуживать? О, здесь поможете вы. Вы получили

после войны огромные территории в Африке, в Австралии. Вы все равно не можете прокормить всех своих дикарей, не можете всем дать работу. Мы купим их у вас. Мы создадим из них кадры надсмотрщиков за машинами. Немного! Тысяч триста! Хватит! Мы дадим им роскошную жизнь, вино, лупанарии со всеми видами разврата. Они будут купаться в золоте и никогда не захотят бунтовать. Кроме того, медицина! Гигантские успехи физиологии! Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Это место удалят оперативным путем, как мозжечок у кроликов. И больше никаких революций! Баста! К чорту! Что вы на это скажете?

Леон Кутюрье неспешно ответил:

– Это крайность, господин лейтенант! Излишняя жестокость! Мир, Западная Европа не простит вам уничтожения такого количества жизней.

Поручик перегнулся к французу. В глазах его уже было голое безумие. Голос стал острым и ощущался как вбиваемый гвоздь.

– Струсил? Бульварная душа, соломенные твои ноги! Все вы сопляки! Ублюдочная нация, паровые цыплята! На фонарь вас, к чортовой матери! – он вытер рукой запевнившиеся губы, – чорт с тобой! Пойду! Выспаться надо! Завтра еще товарищей в работу брать!..

– Каких товарищей? – спросил Кутюрье.

– Краснопузых... хамов! Легкий разговорчик... Иголки под ноготки, оловца в ноздри... Я комендант контрразведки! Понимаешь ты, французская блоха!

Поручик горячо дышал перегаром в лицо Леону Кутюрье. Женщина на коленях у французуса встрепенулась.

– Ты что так ногой дрожишь, миленький? Холодно, что ли?

– Ньет!.. Ти мне томляль нога... Сходит, пожалуст! – ответил сердито француз.

Соболевский посмотрел на женщину, дернулся всем телом и, размахнувшись, сбил со стола бутылки. Пол зазвенел осколками.

– Напился, сукин сын! – сказала женщина.

Поручик смотрел на осколки, соображая. И снова нагнулся к французу.

– Ты меня прости, Леончик... Леошка! Ты хорр-роший малый, а я сволочь, палач! Поедем, брат, ко мне на полчасика. Я тебе покажу последнее падение... бездну... Ты Достоевского не знаешь?.. Нет? Ну и не надо!.. А вот посмотришь и расскажешь во Франции... Скажи им, сукиным детям, что выносят русские офицеры, верные долгу чести и братскому союзу...

– Хорошо... господин лейтенант! Но успокойтесь!.. У вас нервы не в порядке... Я все расскажу... У нас во Франции ценят ваше геройство...

– Да... ценят?.. Гнилой шоколад посылают, старые мундиры, снятые с мертвецов? Подлецы они все! Один ты хороший парень, Леоша! Едем!

– Может быть, не стоит, господин лейтенант? Вы устали, нездоровы. Вам нужно серьезно отдохнуть.

– Ну, что же, опять струсил?.. Не бойся! Пытать не буду! Я пошутил. Едем, Леончик!.. Тяжело мне!.. Русский офицер, стихи писал, а теперь в палачи записался. Я тебя ликером напою. Зам-мечательный бенедиктин!

– Хорошо!.. Только нужно расплатиться.

– Не беспокойся!

Соболевский позвонил.

– Счет завтра в контрразведку! Скобелевская, 17. И катись, к матери! – Соболевский подошел к дивану.

– Ну... сиятельные! Довольно вам тут блудить. Марш!

– Ты уезжай, а мы останемся.

– А платить кто будет?

– Деньги есть!

Леон Кутюрье простился с офицерами. В вестибюле Соболевский подошел к телефону.

– В момент машину!.. К «Олимпу!» Я жду!

Они вышли на подъезд. Поручик сел на ступеньку. Леон Кутюрье облокотился на перила.

Соболевский долго смотрел на уличные огни. Повернул голову и сказал глухо:

– Леон! Когда-то я был маленьким мальчиком и ходил с мамой в церковь...

Леон Кутюрье не ответил. Из-за угла, пугающе черный и длинный, выбросился к подъезду автомобиль. Поручик встал и посадил француза.

Машина взвыла и бесшумно поплыла по пустым улицам. Резко стала у двухэтажного дома в переулке. С крыльца окликнул часовой.

– Свой!.. Глаза вылезли, твою!.. – крикнул Соболевский и жестом пригласил Леона. Они прошли прихожую и поднялись во второй этаж. Налево по коридору Соболевский постучался. На оклик распахнул дверь.

Из-за стола в глубине слабо освещенной комнаты встал квадратный, широкоплечий, в полковничьих погонах.

– Соболевский... вы? Что за е..? – и оборвал, увидев чужого.

Соболевский отступил на шаг и бросил:

– Господин полковник! Позвольте представить вам моего друга... Товарищ Орлов.

«ЖАЛЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!»

– Всегда вы с вашими дурацкими приемами... Тоже японец!.. Жиу-Житсу! Вы его наповал уложили.

– Разве я предполагал, что он, как кенгуру, прыгнет? Сам налетел на кулак. А это уж такой собачий удар под ложечку!

– Лейте воду! Кажется зашевелился.

Орлов медленно и трудно раскрыл глаза. Под ложечкой, при каждом вздохе, жгла и пронизывала вязальными спицами боль. Он застонал.

– Очнулся! Ничего, оживет!

– Положим на диван! А вы вызовите усиленный конвой.

Орлова подняли. От боли опять потерял сознание и пришел в себя уже на диване. Над головой, в стеклянном колпачке, горела лампочка и резала глаза.

Отвернулся, увидел комнату, стол. Попытался вспомнить.

Открылась дверь. Вошел весело Соболевский.

– Господин полковник! Позвольте получить с вас десять тысяч. Пари вы проиграли. Первого крупного зайца я заполевал.

– Подите к дьяволу!

– Согласитесь, что проиграли.

– Ну и проиграл! Дуракам везет!

– Это устарелая поговорка, господин полковник! Вообще вы для контрразведки не годитесь. Я бы вас держать

не стал. У вас устарелые приемы! Ложный классицизм! Вы совершенно не знаете психологии!

– Отстаньте!

– Нет, извините! Мне досадно! Сижу я, талантливый человек, на захудалой должности, а вы – бездарность и вылезли в начальство.

– Поручик!

– Знаю, что не штабс-капитан. А вас бы в прапорщики надо. Тоже хвастал. Приволок смердюка бесштанного... «Орлова арестовал». Ворона безглазая.

– Вы с ума сошли... Сами же радовались...

– Радовался вашей глупости... Ну, думаю, теперь старого Розенбаха в потылицу, а мне повышеньце.

Голос Соболевского стучал нахальством. Полковник промолчал.

– Ну, не будем ссориться, – сказал он заискивающе, – расскажите толком, как вы умудрились...

– Поймать?.. Поучиться хотите? По чести скажу – случайно. Никаких подозрений сперва... Французик и французик. Играл он здорово! И я с ним запанибрата, даже теорию свою о неграх ему разболтал. Но тут налетел моментик! Женщина выдала, как он секундочку с собой не справился. И меня, как осенило. А что если?.. Вдруг мы прошиблись и действительно не того сцарапали? До того взволновался, что пришлось бутылки бить, чтоб отвлечь внимание. И то поверить не мог. Решил затаскать его сюда по-приятельски, а здесь проверочку сделать. А он второй раз не выдержал. Не дерни его нелегкая в бега броситься, – так бы шуткой и кончилось!

Орлов скрипнул зубами:

– Сволочь!

– А, мосье Леон! Изволили проснуться? Как почивали? Орлов не ответил.

– Понимаю! Вы ведь больше по-французски! Чистокровный парижанин? И мамаша ваша тоже парижанка? А Верлэна помните? Хороший поэт? Я ему подражал, когда начал стихи писать. Стихи обязательно прочту... Оценишь?

Орлов закрыл глаза. Какая-то оранжевая, в зеленых крапинках, лента, упорно сматывалась с огромной быстротой в голове с валика на валик.

Вздрогнул и привскочил на диване.

– Благоволите сидеть спокойно, мусью Орлов! – крикнул полковник, подымая парабеллум, – мы вынуждены стеснить свободу ваших движений.

Орлов не слышал. Тупо, без мысли, смотрел перед собой. Вспомнилось: «Семенухин!.. Разговор! Я же дал честное слово! Он может подумать, что я!..» Стиснул косточками пальцев виски и закачал головой.

– Что, господин Орлов? Неужели вам не нравится у нас? Не понимаю! Тепло, чисто, уютно, обращение почти вежливое, хотя я должен принести вам извинение за нетактичность поручика, но вы проявили такую способность к головокружительным пируэтам, что пришлось вас удерживать первым пришедшим в голову способом.

Орлов отвел руки от лица.

– Цыц, стерва! Я с тобой разговаривать не намерен, – крикнул он полковнику.

Полковник пожал плечами.

– За комплимент благодарю! Но разговаривать вам все

же придется. Даже против желания. В нашем монастыре свои обычаи!

– Иголки под ногти будешь загонять, гадина?

– Не я, не я! Я совсем не умею. У меня руки дрожат. Зато поручик по этой части виртуоз. Всю иголку сразу и даже не сломает! Сами товарищи удивляются! Вы как предпочитаете, господин Орлов? Холодную иглу или раскаленную? Многие любят раскаленную. Сначала, говорят, больно, зато быстро немеет.

Орлов молчал. Поручик Соболевский прошелся по комнате.

– Так-то, мсье Леон? В машину? Да-с в машину, – он быстро подошел к Орлову и всадил в его зрачки горящие волчьи глаза, – прокрутим в кашу, спрессуем и на удобрение! И культурный Запад ничего не скажет. Вырастут колосья и подадут мне на стол булочку. Булочка свеженькая, тепленькая, пушистая, вкусная! А почему? Потому что не на немецком каком-то суперфосфате выросла, а на живой кровушке!

Поручик вихлялся и шипел змеиным, рвущим уши, шипом.

Орлов вытянулся и бешено плюнул.

Соболевский отскочил и, выругавшись, занес руку, но полковник перехватил удар.

– Ну вас! Оставьте! У вас, поручик, такой дробительный кулак, что вы господина Орлова можете убить, а это совсем не в наших интересах. Самое забавное впереди.

– Сука! – сказал поручик, вырвавшись, – пойду, умоюсь.

– Да, вот что! Распорядитесь освободить этого олуха Емельчука, киперативного. Напрасно помяли парня.

– О, у вас даже освобождают? Какой прогресс! – сказал Орлов.

– Не извольте беспокоиться. Вас не выпустим.

Орлов пошарил по карманам. Папирос не оказалось.

– Дайте папиросу!

– Милости прошу!

Полковник поднес портсигар. Орлов взял и вывернул все папиросы себе в ладонь.

– Ай, какой вы недобрый! Мне ничего не оставили?

– Наворуете еще!.. А мне курить надо!

– А вы мне ей-ей нравитесь! Люблю хладнокровных людей!

– Ну и заткнись! Нечего языком трепать!

– Ах, какая не парижская фраза! Вы себя компрометируете! А сознайтесь, что я свою разведочку поставил неплохо? Не хуже вашей чека.

Орлов взглянул в ласково прищуренные зрачки полковника.

Облокотился на спинку дивана и процедил сквозь зубы.

– К сожалению, должен согласиться с поручиком Соболевским, что вы старый идиот, которого держат, очевидно, из жалости.

Полковник налил до кончика носа малиновым соком.

– Ты еще дерзости будешь говорить, мерзавец! Достаточно! Я тебе покажу! Сейчас сообщу командующему и в работу.

Он взял телефонную трубку. Вернулся в комнату Соболевский.

– Алло! Штаб командующего? Начразведки. Слушаю-с!

– Конвой готов? – бросил он Соболевскому, в ожидании ответа.

– Готов, господин полковник!

– Да. Слушаю. Ваше превосходительство? Доношу, что Орлов арестован. Да. Сегодня. Нет... действительно ошибка... невероятное сходство... Так точно... арестован поручиком Соболевским... Слушаю... да.. да. Почему, ваше превосходительство... ведь мы?.. слушаю, слушаю! Будет исполнено ваше превосходительство. Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

Он злобно швырнул трубку.

– У, чорт!

– Что такое? – спросил Соболевский.

– У нас его отбирают.

– Куда?

– К капитану Тумановичу. В особую комиссию.

– Но почему, ведь это же свинство?

– Известное дело! Туманович в великие люди лезет. Сволочь... налет!

Полковник высморкался длительно и громко.

– Жаль, жаль, господин Орлов! Вам очень везет. Придется вас отправить к капитану Тумановичу. Очень жаль! Капитан слишком европеец и слишком держится за всякие там процессуальные нормы. Ничего он с вами не сделает и так и отправит вас в расход, не узнав ни гу-гу. А мы бы из вас все вытянули, потихоньку, полегоньку, любовно. Все бы высосали по капельке. Ничего не поделаешь. Скажи враже, як пан каже! До утра вы все же погостите у нас, а то ночью отправлять вас опасно. Человек вы отчаянный. Досадно только, что не придется с вами за старого идиота посчитаться... Поручик, проведите господина Орлова.

АРИЯ ЛИЗЫ

Мадам Марго вышла к обеду немного взволнованная.

— Анна Андреевна, знаете, — не могу понять, почему Леона до сих пор нет?

— Ничего, Марго! Не волнуйтесь! Задержался по делам или зашел к знакомым.

— Не думаю. И потом он всегда предупреждает меня, если не думает скоро вернуться.

Доктор Соковнин разгладил бороду над тарелкой супа.

— Эх, голубушка! Куриный переполох начинаете? Вздор-с! Нервы-с! Леон ваш чересчур примерный муженек и избаловал вас. Нашему брату иногда немножко воли нужно давать. Вот когда женился я на Анне, — от любви ходу мне никогда не было. На полчаса запоздаешь — дома слезы, горе. А в нашем докторском деле извольте аккуратность соблюсти? Ну-с, вот однажды я и удрал штуку. Ушел утром из дому. Пойду, говорю, газету купить. Вышел и пропал. Через трое суток только и объявился. Тут истерика, дым коромыслом, полицию всю на ноги подняли, всю реку драгами прошли, все мертвецкие обегали. А я у приятеля помещика в пятнадцати верстах рыбку ловлю. С той поры как рукой сняло. Больше суток могу пропадать без волнения. Так и вам надо.

Анна Андреевна засмеялась.

— Хорош был, когда вернулся! Нос красный, водкой пахнет. Посмотрела я и подумала: это из-за такого сокровища я себе здоровье порчу? Да пропади хоть совсем, — не пошевелинись.

Но старания хозяев развеселить Марго не удавались. Артистка нервничала и томила.

– Ну уж если, голубушка, вы так беспокоитесь, я пройду в милицию. У меня там старый приятель есть. При всех режимах от меня спирт получает и за сие мелкие услуги оказывает.

Марго встрепелась от оцепенения.

– Ах, нет, доктор! Только, пожалуйста, не полиция! Ненавижу русскую полицию. Вымогатели! Пойдут таскаться! Не нужно! Если утром не вернется, тогда примем меры. А сейчас нужно повеселиться. Хотите спою?

– Обрадуйте, милуша! Люблю очень, когда вы соло-вушкой заливаетесь.

Маргарита села к роялю.

– Что же спеть? Приказывайте, доктор!

– Ну, уж если вы такая добренькая сегодня, спойте арию Лизы у канавки. Ужасно люблю. Еще студентом ладошки себе отхлопывал на галерке.

Марго раскрыла ноты.

Рокоча, пролились стеклянные волны рояли.

Доктор уткнулся в кресло. Анна Андреевна тихонько мыла стаканы.

*Ночью ли днем,
Только о нем
Думой себя истерзала я...*

Прозрачный голос замутился, затрепетал:

*Туча пришла,
Гром принесла,
Счастье, надежды разбила...*

Внезапно перестали падать стеклянные волны.

Марго захлопнула крышку и хрустнула пальцами. Доктор вскочил.

– Марго, родненькая!.. Что с вами? Успокойтесь! Анна, неси валерьянку!

Но Марго справилась. Поднялась бледная, сжав губы.

– Нет! Нет! Ничего не надо, спасибо! Мне очень тяжело! Такое ужасное время. Мне всякие ужасы чудятся. Извините, я пойду прилягу.

Доктор довел ее до комнаты. Вернулся в столовую.

– Молодо-зелено, – сказал он на вопросительный взгляд жены, – трогательно видеть такую любовь. Эх-хе-хе!

Он взял газету. Открыл любимый отдел – местная хроника и происшествия. Сощурился.

– Знаешь, Орлов арестован, Анна.

– Какой Орлов?

– Да наш чекист знаменитый!

– Что ты говоришь?

– Представь себе! Поймали вчера на вокзале. Понесу-ка газетку Маргоше. Пусть отвлечется немножко.

Мягко ступая войлочными туфлями, доктор подошел к двери и постучал.

– Вот, голуба, возьмите газетку. Развлекитесь немножко злободневностью.

Высунувшаяся в дверь рука артистки взяла газету.

Доктор ушел. Бэла подошла к столику и небрежно бросила газету. Грязноватый лист перевернулся, и среди мелких строчек выросло:

Арест Орлова

Бэла не сделала ни одного движения. Только руки ухватились за столик. Буквы заползали червями. Она села, закрыв глаза.

Вдруг вскочила и схватила лист.

– Как вчера? Вчера, 14-го... Вчера? Но вчера Орлов был дома и сегодня утром еще был дома... Что за чепуха?.. Но ведь его нет! Нужно не медлить. Сейчас же к Семенухину!

Пальцы рвали пуговицы мохнатого пальто. Трудно было надеть модную широкую шляпу, она все время лезла набок.

Бэла выбежала в переднюю. Встретила доктора.

– Вы куда, Марго?

– Ах, я не могу сидеть дома, – почти простонала Бэла, – я уверена, что Леон у одного знакомого. Поеду туда! Если даже не застану, мне на людях будет легче.

– Ну, ну. Дай бог! Только не расстраивайтесь вы так. Ничего с ними не случится. Не убьют и не арестуют, как Орлова.

Бэла нашла силы, чтобы ответить, смеясь.

– Бог мой, какое сравнение! Леон же не большевик!

На улице вскочила в пролетку. Извозчик ехал невыносимо медленно и все время пытался разговориться.

– Я так, барыня, думаю, насчет властей, что всякая власть, она чистая сволоча, значит. Потому, как скажем, невозможно, чтобы всех людей заделать министрами, и потому всегда недовольствие будет и, следовательно, властей резать будут...

– Да поезжайте вы без разговоров! – крикнула Бэла.

КАПИТАН ТУМАНОВИЧ

Люди на улицах с удивлением наблюдали утром, как десять солдат, с винтовками наперевес, вели по мостовой, грубо сгоняя встречных с дороги, хорошо одетого человека, шедшего спокойно и с достоинством.

Арестованный был необычен для белых. Люди уже твердо привыкли, что при большевиках водят в чеку хорошо одетых, а при добровольцах замусленных и запачканных рабочих или курчавых мальчиков и стриженных девочек.

Поэтому праздные обыватели пытались спрашивать у солдат о таинственном преступнике, но солдаты молча тыкали штыками или грубо матерились.

Конвой свернул в переулок. Орлов, выспавшийся и пришедший в себя, зорко осмотрел дома. Его ввели в парадное, заставили подняться по лестнице и в маленькой комнатке с ободранными обоями сдали под расписку черноглазому хорошенькому прапорщику.

Посадили на скамью, рядом стали двое часовых. Прапорщик, очевидно новичок, с волнением и сожалением посмотрел на него.

– Как же вас угораздило так вляпаться? Ай-ай! – сказал он почти грустно.

Орлов посмотрел на него, и его тронуло мальчишеское сочувствие.

– Ничего! Бывает! Я долго здесь не останусь!

Прапорщик удивился.

– Что, – вы хотите удрать? Ну, у нас не удерешь! У нас дело поставлено прочно! – сказал он с такой же мальчи-

шеской гордостью, – не нужно было попадаться! Сейчас доложу о вас капитану Тумановичу!

Орлов осмотрелся. В комнате стоял письменный стол, два разбитых шкафа, несколько стульев и скамья, на которой он сидел. Окно упиралось в глухой кирпичный брандмауэр. Он хотел подняться и посмотреть, но часовой нажал ему на плечо.

– Цыц! Сиди смирно, сволочь!

Орлов закусил губы и сел. Через несколько минут прапорщик вернулся.

– Отведите в кабинет капитана Тумановича!

Солдаты повели по длинному пыльному коридору, и Орлов внимательно считал количество дверей и повороты. Наконец, часовой раскрыл перед ним дверь, на которой висела табличка с кривыми, наспех написанными рыжими чернилами, буквами: «Следователь по особо важным делам капитан Туманович».

Капитан Туманович неспешно и размеренно ходил по комнате из угла в угол и остановился на полдороге, увидя входивших.

Он подошел к столу, сел, положил перед собой лист бумаги и тогда сказал часовым.

– Выйдите и встаньте за дверью, – и, обращаясь к Орлову: – Вы бывший председатель губчека Орлов?

Орлов молча придвинул стул и сел. У капитана дрогнула бровь.

– Кажется, я не просил вас садиться?

– Плевать мне на вашу просьбу! – резко сказал Орлов, – я устал!

Он положил локти на стол и начал в упор разглядывать

капитана. У Тумановича было вытянутое исхудалое лицо, высокий желтоватый прозрачный лоб и игольчатые, ледяные синие глаза. Левая бровь часто и неприятно дергалась нервным тиком.

— Я мог бы заставить вас уважать мои требования, — сказал он холодно, — но, впрочем, это не имеет значения. Будьте любезны отвечать: вы — Орлов?

— Во избежание лишних разговоров считаю нужным довести до вашего сведения, что ни на какие вопросы я отвечать не буду! Напрасно трудитесь!

Туманович вписал быстро несколько строк в протокол допроса и равнодушно вскинул на Орлова синие ледяшки глаз.

— Это мною предусмотрено! Собственно говоря, я не рассчитываю допрашивать вас в том смысле, как это принято понимать. Довольно глупо было бы ожидать, что вы заговорите. Но это необходимая формальность. Мы действуем на строгом основании процессуальных норм.

Он помолчал, как бы ожидая возражения. Орлов вспомнил слова полковника и едва заметно улыбнулся.

Капитан слегка покраснел.

— Единственно, что судебная власть, представляемая в данном случае мною, ожидает от вас, это некоторой помощи. Нами арестованы, кроме вас, еще несколько сотрудников губчека. Часть их захвачена в эшелоне, ушедшем в утро занятия города. Все они предстанут перед судом. Чтобы разобраться в обвинительном материале, мы находим полезным ознакомить вас с ним, и вы, надеюсь, не откажете сообщить, что в нем факты и что вымысел.

— Не беспокойтесь, капитан. Я не имею ни малейшего желания знакомиться с этим материалом.

– Но подумайте, господин Орлов! Могут быть ошибки, могут быть обвинения, возведенные на почве личных счетов. Время сумбурное. Проверить фактически нет возможности. Установив, где правда и где ложь, вы можете облегчить судьбу тех из ваших сотрудников, над которыми тяготеют ложные обвинения.

Орлов пожал плечами.

– Мне очень печально, капитан, что я причиняю вам такое огорчение. Но неужели вы думаете поймать меня на эту удочку? Все обвинения, которые я буду отрицать, будут, конечно, посчитаны за действительные... Я думал, вы мыслите более логично?

Капитан опять покраснел и завертел ручку в худых пальцах.

– Вы не хотите понять меня, господин Орлов! Вы все еще считаете себя во власти контрразведки. Но вы неправы! Мы могли бы заставить вас говорить. Для этого есть средства, правда, выходящие из рамок законности, но ведь вся наша эпоха несколько выходит из рамок законности. Но я юрист, я мыслю юридически, я связан понятиями этики права и категорически осуждаю методы полковника Розенбаха.

– Особенно после того, как полковник Розенбах доставил меня в ваши руки? Какой подлостью нужно обладать, чтобы сказать спокойно такую фразу?

Туманович стиснул ручку в пальцах так, что она затрещала.

– Хорошо! Значит, вы ничего не скажете! Тогда я перейду к вопросу, лично меня интересующему. До сих пор мне приходилось иметь дело только с двумя категориями

ваших единомышленников: первая – мелкий уголовный элемент, видящий в поддержке вашего режима удобное средство легкой наживы; вторая – бывшие люди физического труда, в большинстве случаев хорошие малые, но опьяневшие до потери мышления от хмеля ваших посулов, одураченные. Те и другие малоинтересны. В вашем лице мне впервые приходится столкнуться с крупным теоретиком и практиком вашего режима, и я затрудняюсь уяснить себе – к какой же категории принадлежите вы, руководители и вожди?

– Меня тоже интересует, к какой категории вашего режима отнести вас, капитан: к крупно-уголовной или одураченной? – грубо и со злостью спросил Орлов.

– Зачем вы стараетесь оскорбить меня, господин Орлов? Вы ведь видите ясно, надеюсь, разницу между тем обращением, которое вы испытали в контрразведке и здесь. Я больше не допрашиваю вас как следователь. Я интересуюсь вами, как явлением, психологическая база которого для меня загадочна. Неужели на эту тему мы не можем говорить спокойно, для выяснения вопроса?

– Я считал вас умнее, капитан! Я не игрушка для вас; еще меньше я гожусь для роли толкователя ваших недоумений, особенно в моем положении. Отсюда вы пойдете домой обедать, а меня в виде благодарности за лекцию отошлете к стенке! Нам не о чем говорить! Я прошу вас кончить!

– Одну минутку, – сказал Туманович: – мне хочется знать, поверьте, что это мне крайне важно, действительно ли вы верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов или... это бесшабашный авантюризм?

– Вы это скоро узнаете, господин капитан, на собственном опыте. Здесь же, в этом городе, через два-три месяца, когда камни мостовых будут слать в вас пули.

– Значит, организация у вас здесь продолжает работать? – спросил, прищурившись, капитан.

Орлов засмеялся.

– Хотите поймать на слове? Да, капитан, работает и будет работать. Хотите знать, где она? Везде! В домах, на улицах, в воздухе, в этих стенах, в сукне на вашем столе. Не смотрите на сукно с испугом! Она невидима! Эти камни, известка, сукно пропитаны потом и кровью тех, кто их делал, и они смертельно ненавидят, да, эти мертвые вещи живо и смертельно ненавидят тех, кому они должны служить. И они уничтожат вас, они вернутся к настоящим хозяевам-творцам! Это будет ваш последний день!

Туманович с интересом взглянул на Орлова.

– Вы хорошо говорите, господин Орлов! Вы наверное умеете захватывать массы. Ваша речь образна и прекрасна. Нет... нет, я не смеюсь! И вы очень твердый человек. Я чувствую в вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб! Из уважения к величине вашей личности я приложу все усилия, чтобы ваша смерть была легкой и не сопровождалась теми переживаниями, которые, к сожалению, вынуждены переносить у нас люди, отказывающиеся от дачи показаний. Я мог бы немедленно, в виду ваших слов, отослать вас в сад пыток полковника Розенбаха. Но вы – Орлов, а вот передо мной выдержка из агентурных сведений: «Орлов, Дмитрий.

Партиец с шестого года. Фанатичен. Огромное хладнокровие, до дерзости смел. Чрезвычайно опасный агитатор. Исключительная честность». Видите, какая полнота!

Капитан позвал часовых.

— До свиданья, господин Орлов!

— До свиданья, капитан! Надеюсь, нам недолго встречаться!

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Химическим карандашом. Листки в клеточку из блокнота:

«Сколько здесь крыс!.. Голохвостые, облезлые, чрезвычайно важные.

Иногда собираются в кружок, штук по десяти, гордо встают на задние лапы и пищат...

Тогда..... (несколько слов не разобрано) и кажется, что это деловое собрание чинных сановников, департамент крысиного государственного совета.

Пишу при спичках... Освещения никакого...

По всей вероятности, эти листки пойдут в практическое употребление и не выйдут из стен...

На всякий случай...

Константин!.. Ты помнишь сегодняшний разговор?... (не разобрано).

.... убедился, что силы, даже мои, имеют какой-то предел. Для какого чорта нервы?.. Поручик Соболевский, который арестовал меня, говорит: врачи будут вырезать ту часть мозга, где гнездится дух протеста, революция.

Нужно вырезать нервы, которые..... (не разобрано),

усталость и ослабление воли. Я говорил, что после внешнего толчка, нанесенного лже-арестом, я потерял управление волей.

Лицом можно владеть всегда, тело может изменить...

Я знаю, ты думаешь... не сдержал слова, сдался добровольно...

Вздор... Нет и нет. Глупую вспышку мгновенно забыл. Попался случайно... Идиотски...

..... (не разобрано) мороженого, услышал, офицеришка рассказывал, как арестовали моего двойника... Нужно было узнать до конца... возможность устроить побег. Хотел узнать, где сидит этот лопоухий...

..... (неразобрано) не знали. Он вам поможет...

Знаешь, кого я узнал... Помнишь Севастополь, отступление... Помнишь офицера, который на твоих и моих глазах застрелил на улице Олега... Да... Тогда его звали Корневым... у них в контрразведке тоже псевдонимы.

.... не удержался... Сидел против него и думал.

Нашел и не выпущу... тянуло, как комара на огонь. В обычном состоянии ушел бы... Тут не мог – отравы, в сознании, что он в моих руках. И когда пьяный предложил ехать с ним в разведку... поехал... Теперь вспоминаю... заметив мое волнение, он сбил со стола бутылки. Тогда прошло мимо... сознание, воля ослабели.....

.... думал, действительно пьян, высосу из него все... даже думал о его последней минуте.

..... (не разобрано) что паршивая жизнь дрянного контрразведчика не нужна, не изменит ничего.... Это и есть следствие нервов..... схватили как цыпленка.

.... дешево не отдамся... еще не потеряно. Бежал и из

худших положений. Почти уверен, – скоро увидимся и пишу так... на всякий случай.

Запомни все же фамилию: Соболевский... В последние минуты организуй, чтобы не ушел.... Ты помнишь голову Олега на тротуаре, кровь, серые и розовые брызги? Вот!

Прекрасный артист.... Переиграл меня.... Правда.... нервы, но это не оправдание.

..... (не разобрано) судьба Б... Хорошая девочка, но экспансивна, не станет подлинной партийкой... Если попалась, приложи все силы..... (не разобрано) выручить.....

..... (не разобрано) завтра..... (не разобрано)... озаботься, чтобы при нас тюрьму почистили... здесь страшное свинство.... (разобрано с трудом).

Спички кончились.... тьма египетская, все равно ничего не разберешь...»

ОТРЕЧЕНИЕ

На углу Бэла отпустила извозчика. Бежала по глухой окраинной улице.

Поднявшийся ветер рвал шляпу, забирался леденящими уколами под пальто.

Кто-то проходивший нагнулся, заглянул под шляпку.

Сказал вслух:

– Хорошенькая цыпка, – и повернул вслед.

Бэла остановилась. Преследующий подошел, увидел глаза, переполненные тоской и презрением.

– Я требую, чтобы вы оставили меня в покое!..

Смешался:

– Простите, сударыня! Я не знал!..

Приподнял шляпу и ушел. Бэла дрожа вскочила в калитку, пробежала садиком.

На условленный стук открыл Семенухин со свечой. В другой руке (было ясно) – держал за спиной револьвер. Глаза круглились, и в них металось тревожное пламя свечи.

– Бэла?.. К-каким ветром?.. Что-ниб-будь случилось?

– Орлов!..

– Т-сс! Идите в к-комнату. Скорее!.. Ну, в ч-чем дело?

– Орлов... арестован!

Семенухин схватил руки. Бэла вскрикнула.

– Ай!.. Мне же больно!

Опомнися, выпустил руки.

Спросил глухо и зло.

– Где, к-как?..

– Я ничего не знаю... Тут какое-то недоразумение... Вот газета! Сказано вчера, но сегодня утром он был дома... Я не понимаю... Но он сказал – буду дома в семь вечера. До десяти не было. Я не могла!.. Поехала к вам!

Семенухин швырнул протянутую газету. Помолчал.

– Я эт-то ч-читал! Но с-сегодня, п-после эт-того он б-был здесь у меня. Неужели?..

Увидел, что Бэла, задыхаясь, прислонилась к стене... Едва успел подхватить и посадить на стул.

Спокойно налил воды в стакан, набрал в рот и прыснул в лицо. Щеки медленно порозовели.

– Ну, оч-чнитесь! Нельзя т-так! Ост-тавайтесь ночевать здесь! На квартиру в-вам ни в коем с-случае нельзя в-возвращаться. Я с-сейчас уйду. Нужно срочно в-выяснить. Если т-ттолько!.. – Семенухин сжал кулаки и остановился. Набросил пальто и ушел.

Утром Бэлу разбудил его голос, странный, твердый, как палка.

– Вст-тавайте! Я узнал! Арест-тован в-вчера веч-чером. Я т-так и думал. Имейте в виду, – он остановился и взглянул прямо в глубь глаз Бэлы, – что Орлов б-больше не с-существует ни для в-вас, ни для меня, ни для партии. Он совершил п-предательство...

Бэла смотрела непонимающими глазами.

– Да, п-ппредательство!.. Он б-был вчера у м-меня и заявил, что он сдастся, чтоб-бы сп-ппасти эт-того арест-тованного муж-жика. Я запретил ему это от имени п-партии и ревкома. Он дал ч-честное слово и нарушил его... Он п-ппредатель, и мы вычеркиваем его!..

Бэла поднялась.

– Орлов сдался?.. Сам?.. Не поверю! Этого не может быть!

– Я лгать не с-стану. Мне это т-тяжелей, чем вам.

Бэла вспыхнула.

– Вы, Семенухин, дерево, машина!.. Я не могу!.. Поймите. Я... люблю его! Я для него пошла на это... на возможность провала... на верную смерть.

– Тт-тем хуже, – спокойно ответил Семенухин, – оч-чень жаль, чт-то вы избрали себе т-такой объект. Сейчас я с-созову экстренное соб-брание ревкома, для суда над Орловым... П-партии не нужны слаб-бодушные Маниловы! Вот!

Бэла спросила, задохнувшись:

– Это правда?.. Вы не шутите, Семенухин?

– Мне к-кажется время не для шут-ток!

Бэла отошла к окну. По вздрагиваниям спины Семенухин видел, что она плачет. Но молчал каменным молчанием.

Наконец, Бэла повернулась. Слезы заливали глаза.

– Что? – спросил Семенухин.

И сам вздрогнул, услышав напряженный, тугой и неломкий голос.

– Если это правда... я отказываюсь!.. Я презираю свою любовь!

ГОСПОМИЛУЙ

Капитан Туманович пришел в комиссию вечером и, взявши ручку, раскрыл дело «Особой Комиссии по расследованию зверств большевиков, при Верховном Главнокомандующем вооруженными силами Юга России».

Уверенным, круглым и размашистым почерком вписал несколько строк, потом отложил перо, рассеянно поглядел в синюю муть окна и, подвинув удобнее стул, стал писать заключение.

Тонкий нос капитана вытянулся над бумагой, и стал он похож на хитрого муравьеда, разрывающего муравьиную кучу.

Когда скользили из-под прилежного пера последние строки, в дверь осторожно постучались. Капитан не слышал. Стук повторился.

Туманович нехотя оторвался, и синие ледяшки были одно мгновение тусклыми и непонимающими.

– Войдите, – сказал он, наконец.

Вошедший прапорщик приложил руку к козырьку и сказал с таинственностью романтического злодея:

– Господин капитан, арестованный Орлов доставлен по вашему приказанию.

– Приведите сюда... И, пожалуйста, приведите сами. Вчера солдаты завоняли весь кабинет махоркой, а я совершенно не переношу этого аромата. Будьте добры и не обижайтесь.

Орлов сидел в приемной на скамье. Солдаты двинулись вести его, но прапорщик взял у одного винтовку.

– Я сам отведу! Пожалуйста, господин Орлов!

Они вышли в коридор.

– Видите, какой почетный караул, – конфузясь, сказал прапорщик, – капитан приказал, – и добавил смешливо:

– Ну как, вы еще не надумали удрать?

– Для вашего удовольствия постараюсь не задержать.

– Ах, мне очень хотелось бы посмотреть!.. Вы знаете, по секрету, ей богу я даже хотел бы, чтоб у вас это вышло. Я очень люблю такие штуки!

Орлов засмеялся.

– Хорошо! Я вас не обижу! Будете довольны!

В кабинете Туманович подал Орлову лист бумаги и перо.

– Я вызвал вас только на минуту. Распишитесь, что вы читали заключение.

– Какое?

– Следственное заключение.

– И только? А если я не желаю?

Туманович пожал плечами.

– Как хотите! Это нужно для формальности!

Орлов молча черкнул фамилию под заключением.

– Все?

– Все! Прапорщик! Уведите арестованного!

Фраза, брошенная прапорщиком на ходу в коридоре, всколыхнула Орлова.

И, выходя из кабинета капитана, он успокаивал себя, сжимая волю в тугую пружину.

В длинном коридоре было три поворота между комнатой прапорщика и кабинетом Тумановича. Тускло горела в середине, засиженная мухами, лампочка.

Орлов неспешно шел впереди прапорщика. Поравнялся с лампочкой.

Мгновенный поворот... Винтовка вылетела из рук офицера, перевернулась, и штык уперся в горло, притиснув прапорщика, слабо пискнувшего, к стене.

– Молчать!.. Ни звука!.. Веди к выходу, – или подохнешь!

– На улице часовые, – шепнул офицер.

– Веди во двор! Хотел видеть, как удеру, – получай!

Прапорщик отделился от стены. Губы у него дрожали, но улыбались. На цыпочках он двинулся по коридору, чувствуя спиной тонкое острие под лопаткой.

Один поворот, другой. Почти полная темнота, смутно белеет дверь.

Орлов глубоко вздохнул.

– Здесь, – сказал прапорщик, берясь за ручку.

Дверь распахнулась мгновенно, блеснул яркий свет. Орлов увидел мельком маленькую уборную, стульчак и раковину.

И, прежде чем он успел опомниться, дверь захлопнулась за офицером и резко щелкнула задвижка.

Он оказался один в темноте коридора, обманутый, не знающий куда идти.

Из уборной ни звука.

Орлов тихо выругался и бросился назад, сжимая винтовку и прижимаясь к стене. Где-то хлопнула дверь, и он замер на месте.

В ту же минуту за его спиной оглушительно грохнуло, и, обернувшись, он увидел в двери уборной маленькую светящуюся дырочку.

Грохнуло второй раз.

И сразу захлопали двери в коридоре и заβοцали бегущие шаги.

Тогда, вскинув винтовку, Орлов яростно крикнул:

– А, сволочь!.. Подыхай же в сортире!

И, спокойно целясь, выпустил все четыре патрона в дверь уборной, вздрагивая от невероятно гулких ударов винтовки в глухом коридоре.

Кто-то налетел сзади, схватил за руки. Орлов рванулся, но сейчас же треснули тяжелым по голове, и он упал на грязный пол, ударившись челюстью.

Тяжелый сапог наступил ему на затылок, другой уперся в живот.

Кто-то кричал: – Вережку... тащи веревку!

Его держали три человека, и, врезаясь в руки и ноги, опутывала жесткая веревка.

Подняли и посадили, прислонив к стене.

– Где Терещенко? – спросил высокий офицер.

– Чорт его знает! Ничего тут не разберешь в темноте! Наверно он его прихлопнул! У кого спички?

– На зажигалку!

– Нету!.. Нигде!..

– Да он в ватере!.. Смотри, дверь прострелена!..

– Ах ты, чорт!.. Убил мальчишку!

Высокий перепрыгнул через Орлова и рванул дверь уборной.

Она затрещала и подалась.

– Дергай сильнее!

Высокий рванул еще, задвижка не выдержала, и дверь с грохотом вылетела, хлопнувшись о стену.

На смывном баке под потолком, поджав ноги, вытянув руку с браунингом, вцепившись другой в водопроводную трубу, сидел черноглазый прапорщик, с мертвенно бледным лицом, дрожащей челюстью и остекленевшими, бессмысленными зрачками.

Губы его непрерывно и быстро шевелились, и замолкшие в коридоре явственно услышали безостановочное бормотание:

– Господи помилуй... госпомилуй... госпомилуй... госпомилуй!

– Отупел парень! – сказал один из офицеров: – Терещенко! Слезай, чорт тебя подери!

Но прапорщик продолжал шептать, и вдруг офицеры оглянулись с испугом на лающие звуки.

Приткнувшись к стене коридора, неподвижно сидел Орлов и неудержимо хохотал отрывистым лаем.

– Здорово!.. Теперь и этот свернулся!..

– В чем дело?.. Что вы тут возитесь? Снимите прапорщика с его фортеции! Молодец! Догадался на бак взлезть! А господина Орлова ко мне.

Капитан Туманович пошел к себе. Два офицера подняли Орлова и, пронеся по коридору, втащили в кабинет.

– Посадите на стул!.. Вот так! Можете итти! Выпейте воды, господин Орлов!

Капитан налил воды и поднес к губам Орлова.

Он с жадностью выпил, все еще вздрагивая от смеха.

– Однако, вы человек исключительной смелости и решительности! Не будь, по счастью, этот милый юноша столь сметливым – задали бы вы работку полковнику Розенбаху. Второй раз уж наверно не пришлось бы мне с вами увидеться. Хорошо было задумано, господин Орлов!

– Идите к чорту, – отрезал Орлов.

– Нет!.. Я совершенно...

На столе загнул полевой телефон. Капитан снял трубку.

«К СОЖАЛЕНИЮ, НЕВОЗМОЖНО»

– Слушаю!

Трубка затрещала в ухо, и Туманович узнал ласковый барский баритон адъютанта комкора, корнета Хрущева.

– Туманович, собачья душа! Это ты?

– Я... Ты что в такую пору?

– Погоди, все по порядку. С Маем припадок. Как в Гишпании на арене – озверел и землю рогами роет. Никому подойти невозможно, даже коньяк бояться денщики внести. «Убьет», говорят.

– Да почему?

– Два несчастья, брат, сразу. Во-первых, сегодня его пассия эта, ну, знаешь, Лелька, сперла брильянты и деньги и дала дряпу, и предполагают, что со Снятковским... Он и осатанел. А второе, получили радио, что дивизия Чернякова обделалась под Михайловским хутором, и сам Черняков... ау.

– Убит?

– Нет!.. Есть сведения, что в плену. Большевики предлагают обмен. Начальник штаба предложил Маю устроить обмен Чернякова на твоего гуся. Май и согласился. Так что прими официально телефонограмму.

Капитан оглянулся на Орлова. Арестованный сидел, полузакрыв глаза, усталый и потрясенный.

Туманович пожал плечами и бросил в трубку четко, напирая на слова:

– Передай его превосходительству, что вследствие новых обстоятельств это предположение невыполнимо, так как только что, – капитан снова оглянулся на Орлова, – арестованный Орлов покушался на побег и убийство прапорщика Терещенко.

Орлов приподнялся.

– Фьить, – просвистала трубка, – здорово! Ну, а как же быть с Черняковым?

– Найдем другого для обмена. А если Чернякова «товарищи» и спишут в расход, то право же большой беды не будет! Несколько тысяч комплектов обмундирования останутся нераскраденными...

– Пожалуй, ты прав... Сейчас доложу Маю, – сказал корнет, – ты жди!

Капитан положил трубку.

– Однако, вы беспощадны к своим соратникам, – сказал Орлов.

Синие ледяшки капитана обдали Орлова злым холодком.

– Я вообще не щажу преступников, где бы и кто бы они ни были. Это только у вас, кто больше ворует, тот выше залезает!

– У вас неправильная информация, капитан, – усмехнулся Орлов.

– Может быть. А вот вы сами себе подгадили.

– Чем?

– Не устрой вы этой штуки с побегом, могли бы вылезть в обмен. Теперь же я буду категорически настаивать на скорейшей ликвидации вас.

– Чрезвычайно вам признателен!

Телефон опять запел гнусавую песенку.

– Да... Слушаю!

– Так! Я так и думал! Сейчас будет сделано! Да... да! До свиданья! Нет, в театр не поеду. Не до того!

Капитан обернулся к Орлову.

– Генерал утвердил предание вас военно-полевому суду. Сейчас вас отправят в камеру. Моя роль окончена! Прощайте, господин Орлов!

ПРОСТАЯ ВЕЩЬ

Военно-полевой суд заседал полчаса.

Председательствовавший полковник пошептался с членами суда, прокашлялся и лениво прочел:

«По указу Верховного Главнокомандующего, военно-полевой суд Н-го корпуса, заслушав дело о мещанине Дмитрие Орлове, члене партии большевиков, бывшем председателе губернской чрезвычайной комиссии, 32 лет, по обвинению вышеозначенного Орлова..... постановил: подсудимого Орлова подвергнуть смертной казни через повешение. Приговор подлежит исполнению в 24 часа. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Орлов равнодушно прослушал приговор и бросил только коротко:

– Сволочи!

Его отвезли в камеру. До ночи он сидел спокойно и безучастно.

Но лихорадочно бились в черепной коробке мысли, и он обдумывал возможность побега, по дороге к месту казни.

– Один раз бежал так в Казани... Прямо из петли... Ну и теперь. Глупо гибнуть... как баран.

Он яростно выругался.

Заходил по камере и вдруг услышал в коридоре шаги и голоса. Опять томительно завизжала дверь, и в камеру хлынул золотой мед фонаря.

– Останьтесь здесь! Я скоро выйду! – услышал он знакомый, как показалось, голос, и в камеру вошел человек. Лицо его было в тени от фонаря, и только когда он сказал: – Господин Орлов! – Орлов узнал капитана Тумановича.

Темная волна ярости заклокотала в нем. Он шагнул к капитану.

– Какого чорта вам надо? Что вы тычете сюда свою иезуитскую рожу? Убирайтесь к...

Капитан спокойно поставил фонарь на пол.

– Всего несколько минут, господин Орлов. Я пришел сюда, найдя официальный предлог, – выяснение одной детали. Но суть вовсе не в этом. Могу сообщить вам, что генерал утвердил приговор. Он только заменил повешение расстрелом, так как ему влетело на днях от верховного за висельничество. Но это ничего не меняет!

– Так что же? Вы явились лично исполнить приговор?

– Бросьте дерзости, господин Орлов. Совсем не для этого я пришел к вам. Повторю, что говорил: с точки зрения моей законности вы заслужили смерть. Я очень сожалел бы, если бы пришлось обменять вас на старого казнокрада Чернякова, ибо дарить жизнь такому врагу – величайшая политическая ошибка. Теперь ваша судьба решена бесповоротно. Но вспомните, я обещал вам легкую смерть. Мне неприятно, что вы станете мишенью для делающих под себя от страха стрелков... Берите!..

Капитан протянул руку. Тускло сверкнул стеклянный пузырек.

Неожиданно взволнованный, Орлов схватил пузырек.

Оба молчали. Капитан наклонил голову.

– Прощайте, господин Орлов!

Но Орлов вплотную подошел к нему и сунул пузырек обратно.

– Не нужно! – сказал он режущим и не дрогнувшим голосом.

– Почему?..

– О, господин капитан! Я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ей. Я переиграл, как дурак попался в лапы вашим прохвостам и не смогу выполнить порученное мне партией дело, но и не имею права портить это дело дальше.

– Я не понимаю!

– Вы никогда этого не поймете! А между тем это такая простая вещь! Я погубил доверенное мне дело, – я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой? Не доставить последнего удовольствия вашим палачам? Не знаю, почему вы это делаете!..

– Не думайте, что из жалости... – перебил капитан.

– Допустим!.. Лично для меня это прекрасный выход. Но у нас, капитан, своя психология. В эту минуту меня интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А, если я тихонько протяну ноги здесь, – это даст повод сказать, что неумевший провести порученную работу Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка. Жил для партии и умру для нее! Видите, какая простая вещь!

– Понимаю, – спокойно сказал Туманович.

Орлов прошелся по камере и снова остановился перед капитаном.

– Господин капитан! Вы формалист, педант, вы насквозь пропитаны юридическими формулами. Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел! Но вы по-своему твердый человек. Есть одно обстоятельство, которое невероятно мучительно для меня... Был один разговор... Словом, я боюсь, что мои товарищи думают, что я добровольно сдался вам. И я боюсь, что они презирают меня и считают предателем... Это единственное, что может сломать меня... Я этого боюсь!.. Понимаете? Я боюсь!

Капитан молчал и ковырял носком плитку пола.

– Я отказался от дачи показаний... Но... у меня две написанные здесь страницы! Они объясняют все. Приобщите их к делу. Когда город будет снова в наших руках!.. Вы понимаете?

– Хорошо, – сказал Туманович, – давайте! Не разделяю вашей уверенности, но...

Он взял листки и, аккуратно свернув, положил в боковой карман.

Орлов шагнул вперед.

– Нет... нет! Я вам не...!

Капитан отклонился с улыбкой.

– Не беспокойтесь, господин Орлов. Мы на разных полюсах, но у меня свои и вполне четкие понятия о следовательской тайне и личной чести.

Орлов круто повернулся. Волнение давило, его нужно было спрятать.

– Я не благодарю вас!.. Уходите!.. Уходите, скорее капитан... пока я не ударил вас!.. Я не могу больше вас видеть!

– Знаете, – тихо ответил Туманович, – я хотел бы от своей судьбы одного, – чтобы в день, когда мне придется умирать за мое дело, мне была послана такая же твердость!

Он взял с полу фонарь.

– Прощайте, господин Орлов, – Туманович остановился, точно испугавшись, и в желтой зыби свечи Орлов увидел протянутую к нему худую ладонь капитана.

Он спрятал руки за спину.

– Нет... это невозможно!

Ладонь вздрогнула.

– Почему, – спросил капитан, – или вы боитесь, что это принесет вред вашему делу? Но ведь об этом ваши товарищи не узнают!

Орлов усмехнулся и крепко сжал тонкие пальцы офицера.

– Я ничего не боюсь! Прощайте, капитан! Желаю вам тоже хорошей смерти!

Капитан вышел в коридор. Темь бесшумным водопадом ринулась в камеру.

Ключ в замке щелкнул, как твердо взведенный курок.



ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД 14-69

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Бронепоезд «Полярный» под № 14-69 охранял железнодорожную линию от партизанов.

Остатки колчаковской армии отступали от Байкала: в Манчжурию, по Амуру на Владивосток.

Капитан Незеласов, начальник бронепоезда, сидел у себя в купе вагона и одну за другой курил манчжурские сигареты, стряхивая пепел в живот расколотого чугунного китайского божка.

Капитан Незеласов сказал:

– Мы стекаем... как гной из раны... на окраины, а? Затем в море, что ли?

Прапорщик Обаб оглядел – наискось – скривившееся лицо Незеласова, медленно ответил:

– Вам лечиться надо.

Прапорщик Обаб был из выслужившихся добровольцев колчаковской армии, обо всех кадровых офицерах говорил:

– Лечиться надо!

Капитана Незеласова он уважал и потому повторил:

– Без леченья плохо вам.

Незеласов был широкий, но плоский человек, похожий на лист бумаги: сбоку нитка, в груди – верста. Капитан торопливо выдернул новую сигарету и ответил:

– Заклепаны вы наглухо, Обаб!.. Ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивал пепел, визгливо заговорил:

– Как вам стронуться хоть немного!.. Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали все – нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-счет получите!.. И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!..

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

– О, рабы нерадивые и глупые!.. Глупые!..

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

– Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее – пороть!

– Нельзя так, Обаб, нельзя!..

– Болезнь.

– Внутри высохло... водка не катится, не идет!.. От табаку – слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц!.. Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар... копошится теплое, слизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что, не знаю, а не могу?

– Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана. Повторил:

– Непременно женщину. В такой работе – каждодневно. Я здоровый – каждые две недели. Лучше хины.

– Может быть, может быть... попробую, почему мне не попробовать?..

– Можно быстро, здесь беженков много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Сыро блестели ее стены, распахнутые окна, близ дверей маленький колокол.

На людях клейма бегства.

Шел, похожий на новое стальное перо, чистенький учитель, а на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесанные и одна щека измятая, розовая: должно быть, жестки подушки, а, может быть, и нет подушек – мешок под головой.

«Портятся люди», – подумал Обаб. Ему захотелось жениться...

Он сплюнул в платок, сказал:

– Ерунда.

Беженцы рассматривали стальную броню вагонов всегда немного смущенно, и Незеласову казалось, что разглядывают его голого. Незеласов голый был сух, костляв и похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он оглядел вагон и сказал Обабу:

– Прикажете воду набирать... непременно, сейчас. Вечером пойдем.

– В появлении? Опять?

– Кто?

– Партизаны?

Обаб длинными и ровными, как веревка, руками ударил себя по ляжкам.

– Люблю!

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

– Но насчет смертей! Не убивать. А чтоб двигалось. Спокой, когда мясо ржавеет...

Обаб стесненно вздохнул. Был он узкоглазый, с выдающимися скулами, похожими на обломки ржаного сухаря. Вздох у него – медленный, крестьянский.

Незеласов, закрывая тусклые веки, торопливо спросил:

– Прапорщик, кто наше непосредственное начальство?

– Генерал Смирнов.

– А где он?

– Партизаны повесили.

– Значит следующий?

– Следующий.

– Кто?

– Генерал-лейтенант Сахаров.

– А он где?

– Не могу знать.

– А где командующий армией?

– Не могу знать.

Капитан отошел к окну. Тихо звякнул стеклом.

– Кого ж нам, прапорщик, слушаться? Чего мы ждем?

Обаб посмотрел на чугунного божка, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул:

– Не знаю. Не моя обязанность думать.

И как гусь невыросшими еще крыльями, колыхая широчайшими галифе, Обаба ушел.

II

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах, придерживая левой рукой бебут, торопливо отдал честь вышедшему капитану.

Незеласову не хотелось идти по перрону. Обогнув обшитые стальными листами вагоны бронепоезда, он пошел среди теплушек эвакуируемых беженцев.

«Ненужная Россия», – подумал он со стыдом и покраснел.

– Ведь и ты в этой России!

Нарумяненная женщина с толстым задом, напоминавшем два мешка, всунутые под юбку, всколыхнула в мозгу предложение Обаба.

Капитан сказал громко:

– Дурак!

Женщина оглянулась. Были у ней печальные потускневшие глаза под маленьким лбом в глубоких морщинках.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях по бокам грязных дверей висело в плетеных бечевочных мешках мясо, битая птица, рыба.

Над некоторыми дверьми – пихтовые ветки и в таких вагонах слышался молодой женский голос.

Пахло из теплушек больным потом, пеленками и подле вагонов густо пахли аммиаком растоптанные испражнения.

Ощущение стыда и далекой, какой-то таящейся в ногах злости не проходило.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

– Издалека? – спросил Незеласов.

Старик ответил:

– А из Сызрани.

– Куда едешь?

Он опустил колун. Шаркая босой ногой с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

– Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые белые полосы кожи.

– Редко, видно... говорить-то приходится, – подумал Незеласов.

– У меня в Сызрани-то земля – любовно проговорил старик, – отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля – чекань монету!.. А вот поди же ты – бросил.

– Жалко?

– Известно жалко. А бросил. Придется обратно.

– Обратно итти далеко... очень...

– И то говорю – умрешь еще дорогой?

– Не нравится здесь?

– Народ не наш! У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец, так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, Бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут, обратно пойду. Брошу все и пойду. Чать, и большевики люди, а?

– Не знаю, – ответил капитан, идя дальше.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка; китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

– Чревовещатели-и!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом в каштановом манто подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, бегала мелкими шажками по станции и шопотом говорила:

– Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции – солдаты звали его «четырёхэтажным» – большеголовый, с седыми прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

– А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь!

– Чита взята.

– Ничего подобного! Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали!

И втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

– Няньку генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, чорт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилуёт.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные

сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями и за фанзами тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп солдата-фельдфебеля. Лоб фельдфебеля был разбит и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

– Партизаны его... – зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой.

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

– Партизаны... партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

– Ваш поезд нас не бросит?

– Не мешайте, – сказал ей Незеласов и вдруг возненавидел эту тонконосую женщину. – Нельзя разговаривать.

– Они нас вырежут, капитан... Вы же знаете...

Капитан Незеласов захлопнул дверь и закричал:

– Убирайтесь вы к чорту. – Пошел, пошел!.. – визгливо кричал он, обертывая матерной руганью приказания.

Где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд под № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов. Дальше он не понимал, для чего понадобился ему его крик.

Грязные солдаты вытягивались и морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежды стесняли движения у стальных орудий.

Прапорщик Обаб быстро, молчаливо шагал вслед.

Лязгнули буфера. Непонятно коротко просвистел кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро.

Пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син-Бин-У лежал на траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как Красный Дракон напал на девушку Чен-Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня жень-шеня и пища ее была у-вэй цзы – петушьи гребешки; ма-жу – грибы величиною со зрачок; чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого и весьма все это было вкусно.

Но Красный Дракон взял у девушки Чен-Хуа ворота жизни и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

– Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило, о-земь бьются, трепыхают. А наше дело не уснуть, а город-то он, у-ух... силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем. О пески шебуршали сухие травы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие, спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было, как граниты сопки, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко выкопанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, – пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки².

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади – по линии железной дороги – и глубже: в полях и лесах – атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

² Сопки — покрытые травой горы (Д. Восток), но часто в В. и З. Сибири сопками называются вообще горы, возвышенности.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

II

Китаец Син-Бин-У, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

– Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

– Японец для нас хуже барсу³. Барс-от допреж, чем манзу⁴ жрать, лопотину⁵ с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет – вместе с усями⁶ слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие – с мучной куль – синие плисовые шаровары плотно обтянулись на больших, как конское копыто, коленях, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

³ Тигр.

⁴ Китаец (обл.).

⁵ Одежда.

⁶ Род китайской обуви.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

– В Рассеи-то, Никита Егорыч, беспреренно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястребцыпляют, беспреренно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты тала-бала, по-японски мне выкусишь! А Син-Бин-У-то, разъязви его в нос, на русском языке запоем. А?..

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая; лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря; в жарких, наполненных тоской, запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

– Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал:

– Не нравится!

– Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

– Японца, Никита Егорыч, турнуть здорово надо. Набил им брюхо землей – и в море.

– Японец народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски – будто и курево, и дым идет, а так – баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. На верху в скалах сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

– Нонче в обоз ездил. Патеха-а!..

– Ну?

– Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю, жрите, мол, а то все равно бросите.

– Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син-Бин-У сказал громко:

– Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери ма-ла-мала. Нехао, казака нехао! Кырасна русска⁷...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось.

– Шанго⁸!..

Син-Бин-У в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

– Пылюха-о⁹...

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовища, в смятении и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов – итти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и

⁷ Казаки плохи. Японец — подлец, женщин берет. Нехорошо. Казаки плохи...

⁸ Хорошо.

⁹ Плохо...

тонко с плачем ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падах темнел дуб, бледнел ясень.

Налево – от него никак не могли уйти – спокойное, темнозеленое, пахнущее песками и водорослями – море.

Лес был, как море, и море, как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син-Бин-У казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

III

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря – и жизнь для него была вода, а пять пальцев – мелкие ячейки сети все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых – из года в год, пять осеней – когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые – среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про него «вершининское» счастье, и когда волость решила итти

на японцев и атамановцев, – председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы, неизвестно еще когда, – заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель, на дикую землю.

Многое было непонятно – и жена, как в молодости, не желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, американцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби¹⁰ яра бомы¹¹ прервали дорогу и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера¹² рвались на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи¹³ потока.

Перейдя подвесный мост, Вершинин спросил:

– Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привал решили не делать. Пройти Давью деревню, а там в сопки близко и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины¹⁴ Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал охлябью игренюю лошадь и сказал:

– Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

¹⁰ Подножие яра — крутой скалистый берег.

¹¹ Камни, преграждающие течение потока.

¹² Главная сила струи потока.

¹³ Сильнейшие струи матеры.

¹⁴ Ограда вокруг деревни, в которой пасется скот.

– С кем битва-то?

– В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел – отбили, а, чаем, придет завтра. Ну, вот мы барахлишко-то свое складывам, да в сопки с вами думам.

– Кто наши-то?

– Не знаю, парень. Не нашей волости должно. Хрисьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строгат. Из сопок тоже.

– Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись трупы людей, скота и телег.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, а желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

– Зарыть бы их, – сказал Окорок, – срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда – спокойно деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

– Воюете? – спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

– Приходится, дедушка.

– И то смотрю – тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь, – на чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

– Все равно, что ехали-ехали, дедушка, а телега-то – трах! Оказываться, сгнила давно, нову приходится делать.

– А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторял:

– Не пойму я... А?..

– Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел бормоча:

– Ну, ну... каки нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и огляделся.

Собачонка не переставала визжать.

Один из партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

IV

Мужик с перевязанной головой опять ускакал, но через несколько минут бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипло в плоскую лошадиную спину, лицо танцовало, тряслись кулаки и радостно орала глотка:

– Мери́канца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

– Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди их шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые губы и на правой щеке, у скулы, прыгал му-скул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший амери-канца, спросил:

– Кто у вас старшой?

– По какому делу? – отозвался Вершинин.

– Он старшой-то, он, – закричал Окорок. – Никита Егорыч Вершинин. А ты рассказывай, как пымали-то!

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, стал рассказывать со стариковской охотливостью.

– Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о.

– А деревень-то каких?

– Селом мы воюем. Пенино село слышал, может?

– Пожгли его, бают.

– Сволочь народ. Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли в сопки.

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

– Одну муку принимаю. Понятно.

Седой мужик продолжал:

– Ехали они двое, мериканцы-то. На трашпанке в жестянках молоко везли. Дурной народ, воевать приехали, а молоко жрут с щиколодом. Одного-то мы сняли, а этот

руки задрал. Ну, и повели. Хотели старости отдать, а тут ишь – целая компания.

Американец стоял, выпрямившись, по-солдатски, и как с судьи не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и подымалась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели.

– Чего-то?

– Пристрелить его, стерву.

– Крой его!

– Кончать!..

– И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злорада.

– Жгут, сволочи!

– Распоряжаются!!

– Будто у себя!..

– Ишь забрались...

– Просили их!..

Кто-то пронзительно завизжал:

– Бе-ей!!.

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

– Обо-ждь!..

И добавил:

– Товарищи!..

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на растегнувшуюся прореху штанов, и замолчали:

– Убить завсегда можно. Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их сколь на улице-то навалили. А по-моему, товарищи, – распропагандировать его – и пустить. Пущай большецкую правду понюхат. А я так полагаю...

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали, хохот:

– Хо-хо-ха!..

– Хе-е-е!..

– Хо-о!..

– Прореху-то застегни, чорт!

– Валяй, Пентя, запузыривай...

– Втемяшь ему!

– Чать тоже человек!..

– На камне и то выдолбить можно.

– Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Сещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась, толкнула американца плечом:

– Ты вникай, дурень, тебе же добра хотят!

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, растегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали, жали руки.

Американец, часто мигая, как от дыма, поднимал кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

– Ты им там разъясни подробно. Не хорошо, мол.

– Зачем нам мешать!

– Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

– Люди все хорошие, должны понять. Такие ж хрестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец – он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо.

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, пригладив усы, сказал:

– Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим! У вас, поди, этого не знают за морем-то; далеко; да и опять и душа-то у тебе чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

– I don't understand¹⁵!

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

– Не вникать! По русски-то не знат, бедность.

Мужики медленно и, словно виновато, отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

– Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться? – сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

– Он поймет... тут только надо... он поймет!...

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь,

¹⁵ Не понимаю! (англ.)

стоял и чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син-Бин-У лег на землю подле американца; закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

– Мука-мученическая, – сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

– Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

– Только на раскурку и годны, – сказал Знобов, – кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках и, наконец принесла истрепанный с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

– Може по закону? – спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

– Картинки-то божественны. Нам его не перекрещивать. Не попы.

– А ты попробуй, – предложил Васька.

– Как его. Не поймет, поди?

– Может поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

– Эй, товарищ, иди-ка сюда!

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

– Ленин! – сказал громко и твердо Знобов как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

– There's a chap¹⁶!

Знобов стукнул себя кулаком в грудь, и похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, почему-то ломаным языком прокричал:

– Советска республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали и он возбужденно закричал:

– That is pretty in deed¹⁷!

Мужики радостно захохотали.

– Понимат, стерва!

– Вот, сволочь, а?

– А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

– Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и тыча пальцем в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

– Этот с ножом-то – буржуй. Ишь, брюхо-то распустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, – понял? Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

– Про-ле-та-ри-ат... We¹⁸!

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок, схватив его за голову и заглядывая в глаза, восторженно орал:

– Парень, ты скажи та-ам. За морями-то!..

¹⁶ Это человек! (англ.)

¹⁷ Это хорошее дело! (англ.)

¹⁸ Мы! (англ.)

– Будет тебе, ветрень, – говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

– Лежит он – пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то – японец, американка, англичанка – вся эта сволочь, империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

– Империализм, аww¹⁹!

Знобов с ожесточением швырнул книжку оземь.

– Империализму с буржуями к чертям!

Син-Бин-У подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

– Русики ресыпубылика-а. Кытайси ресыпубылика-а. Мериканысы ресыпубылика-а пухао. Нипонсы, пухао, надо, надо ресыпубылика-а. Кыра-а-сна ресыпубылика-а нада-нада²⁰.

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки, и, медленно подымая большой палец руки кверху, проговорил:

– Шанго.

Вершинин приказал:

– Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пусти.

Старик конвоир спросил:

– Глаза-то завязать, как поведем. Не приведет сюда?

Мужики решили:

– Не надо. Не выдаст!

¹⁹ Прочь! (англ.)

²⁰ Россия – республика, Китай – республика, Америка – плохая республика, Японец – совсем плох, надо красную республику.

Партизаны с хохотом, свистом, вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутинка, голоском затянул:

*Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку.
Уродись моя тоска мелкой травкой-муравой,
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...*

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

*Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел –
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.*

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер, мужицких голосов рванула, подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

*Я рассеявши пошел.
Во зеленый сад вошел.*

– Э-э-эх...

– Сью-ю-ю!..

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Эта история длинная, как Син-Бин-У возненавидел японцев. У Син-Бин-У была жена из фамилии Е, крепкая манза²¹, в манзе крашеный теплый кан²² и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы²³.

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

Только щека оказалась проколота штыком.

Син-Бин-У читал Ши-цзинь²⁴, плел цыновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл цыновки и ушел с русскими по дороге Хуан-ци-цзе²⁵.

Син-Бин-У отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

Ноги плещутся в море и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син-Бин-У задирает ноги и ругается.

– Цхау-неа!..

Син-Бин-У не слушал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син-Бин-У убил трех японцев и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.

²¹ Хижина.

²² Деревянные нары, заменяющие кровать.

²³ Гаолян – род китайского проса, употребляемого в пищу. Чумиза – фасоль.

²⁴ Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.

²⁵ Дорога Красного Знамени, восстаний.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки; пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытый рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Сещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

– А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человеческим мясом. Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.

– О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:

– Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!..

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили:

– Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

– А-а-а!..

И вот, на мгновение, стихла. Вздохнула.

Ветер отнес кислый запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе и потрескавшиеся от жары губы шептали:

– На-ароду-то... Народу-то, милены товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин орал с пня:

– Главна: не давай-й!.. Придет суда скоро армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

– Не-е-да-а-авай!!.

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонко в шелковой малиновой рубаше, прижимая руки к животу, пронзительным голоском подтвердил:

– А верю, ведь, верна!..

– Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец – что, японец – легок... Кисея!..

– Верна, парень, верна! – визжал мужичонко.

Густая потная тысячная толпа топтала его визг:

– Верна-а...

– Не да-а-ай!..

– На-а!..

– О-о-о-у-у-у!!.

– О-о!!!

II

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

– Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

– Нисиво, – проговорил китаец, – мне ни нада... Мне так зынаю – зынаю псе... шанго.

– Ноги-то подбери!

– Нисиво. Солнышко тепылу еси. Нисиво – а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

– Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

– А ты... как думаешь. А?... Пошто эта, а?..

Син-Бин-У, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

– Ни зынаю, Кита. Гори-гори!.. Ни зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

– Зря, что ль, молчишь-то?... Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

– Нисиво!.. нисиво ни зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

– Ну вас к чорту!.. Никто не знат, не понимает... Разбудили, побежали, а дале что?..

И осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:

– Не то народ умом оскудел, не то я...

– Чего? – спросил тот.

– На смерть лезет народ.

– Куда?

– Броневи́к-то брать. Ми́ру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

– Жалко тебе?

Подошел Знобов; под мышкой у него была прижата шапка с бумагами.

– Подписать приказы!

Вершинин густо начертал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

– Ране то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догать взяла, поставил одну букву с палкой и ладно... знают.

Окорок повторил:

– Жалко тебе?

– Чего? – спросил Знобов.

– Люди мрут.

Знобов сунул бумажки в папку и сказал:

– Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

– Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

– Зачем идешь?

– Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал:

– Эх, вы, землехранители, ядрена-зелена!

– Чего ржешь? – с тугой злостью проговорил Вершинин: – кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

– Ну, пророк!

– Рыбалку брошу теперь.

– Пошто?

– Зря я мучился, чтоб опять в море итти. Пахотой займусь. Город-от только омманыват, пузырь мыльной, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани – людей, трамвай, дома, – и сказал с неудовольствием:

– Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отыдем и трудящимся массам – расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

– Японскова микаду колды расстреливать будут, вот завизжит курва. Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

– Им виднее, – нехотя ответил Вершинин.

Над песками – берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница.

Высоко на скале человек, в желтом – как кусочек смолы на стволе сосны – часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син-Бин-У сказал:

– Серысе похудел-похудел немынога... а?

– Пройдет, – успокоил Окорок, закуривая папироску.

Син-Бин-У согласился:

– Нисиво.

III

Корявый мужичонко в малиновой рубаше поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

– Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда-балдой. Ты им вбей в голову, повернут и пойдут!.. Само главное в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

– Я ведь знаю – там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем – пашня... Хорошее слово.

– Надоели мне хорошие слова.

– Брешешь. Только говорил, и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь, мерят... Ты-то свою меру знаешь... Хе-хе-хе!..

Мужичонко по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согретшейся водой и пошел собирать молодых парней.

– На ученье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами, сбирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

– Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом и подвластным машинкам, похожим на людей.

– Равнение на-право-о...

Вершинин до позднего вечера гонял парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, по-смастривая на солнце.

– Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

– Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

– Где к японсу? Свово-б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, хрисьянину пить нельзя.

– Таки же люди, колдобойна?

– А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

– Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

– Учит. Обстоятельный мужик. Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:

– Камень, скаля... Бальшим камиссаром будет.

– Он-то? Обязательна.

IV

Через три дня в плетеной из тростника траншпанке примчался матрос из города.

Лицо у него горело, одна щека была покрыта ссадиной и на груди болтался красный бант.

– В городе, – кричал матрос с траншпанки, – восстанье, товарищи... Броневик приказано капитану Незеласову туда пригнать на усмиренье. Мы его вам вручим. Кройте... А я милицию организую...

И матрос уехал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

На широких плетеных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, похожей на мокрые веревки угрей; толстые пласты наваги, сазана и зубатки. На чешуе рыб отражалось небо, камни домов, а плавники хранили еще нежные цвета моря – сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

– Тре-епенга-а!.. Капитана руска. Кра-аба!.. Трепанга-а!.. Покупайло еси!.. А-а?..

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнувший илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

– Орет китай, а всего только рыбу предлагат.

– Предлагай, парень, ты.

– Наше дело рушить все. Да. Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем? Эх, кабы японца грамотного мне найти?

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

– На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки: рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава, плескалось и плыло.

– Веселый человек, – подумал Знобов. – Японца я могу. Найду. Японца здесь много...

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, на звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты – курмы китайцев, сказал шопотом:

– Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай. Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

– Они поймут. Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет!..

– Может и со страху плакать.

– Не сикельди. Главное разъяснить надо жизнь человеку. Без разъяснения что с его спросишь, олово!

– Трудно такого японца найти.

– Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки и глянул в толпу:

– Ишь, сколь народу. Может и есть здесь хороший японец, а как его найдешь?

Знобов вздохнул:

– Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос.

Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

– Таких теперь много...

– Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова – ухнешь в падь. Суши потом кости!

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом; молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки; пели шпорами серебро-галунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнувший рыбой, трепал полосы. В бухте, как цветы, тканые на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков...

– Бардак, а не Рассея!

Матрос подпрыгнул упруго и рассмеялся:

– Подожди, – мы им холку натрем, белым-то.

– Пошли? – спросил Знобов.

– Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком и маслом.

Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

– Хохочут, черти. А у меня в брюхе-то как новый дом строят. Да и ухнул он взял.

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул:

– Кому как!

Похоже было – огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома и даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе, затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо коньяк, точно укалывая себя стаканами. Плечи у них были устало искривлены и часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлениями лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстаний. Их было совсем немного, но все почему-то говорили: весь город развален снарядами.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди – тонкой и звенящей, как стальная проволока, – задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

– Не боишься шпиков-то? – спросил он Знобова. – Убьют.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо:

– А нет! У меня другое на сердце-то. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести бояться, знакомые-то и не выдают.

Он ухмыльнулся:

– Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

- И сами тоже хватили.
- Да-а... У вас арестов нету?
- Троих взяли.
- Да-а?... Иди к нам в сопки.
- Камень, лес. Не люблю... скучно.
- Это верно. Домов из такого камню хороших можно набухать. Прямо – Америка. А валяться без толку, ни жрать, ни под голову. Мужика ничего, а мне тоже, скучно. Придется нам в город итти.
- Надо.

II

Начальник подпольного революционного комитета, товарищ Пеклеванов, маленький, веснучатый человек, в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце, будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

– А вы часто приходите, товарищ Знобов, – сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшуюся от ветра и воды руку на стол и сказал:

- Народ робить хочет.
- Ну?
- А робить не дают. Объяростил народ, меня... гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.
- Мы вас известим.
- Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей...
- Пройдет.

– Знаем. Кабы не прошло, за што умирать. Мост взорвать хочет.

– Прекрасно.

– Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

– Пошлем.

Помолчали. Пеклеванов сказал:

– Дисциплины в вас нет.

– Промеж себя?

– Нет, внутри.

– Ну-у, такой дисциплины-то теперь ни у кого нету.

Председатель ревкома поцарапал свой зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на лице нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость и толчки ее жгут щеки румяными пятнами.

Матрос протянул ему руку, пожал, будто сок выжимая, и вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

– Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего – тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, как бы охватывая стол, и устало зашептал:

– А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь...

У Пеклеванова была впалая грудь, и он говорил слабым голосом:

– Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того», – подумал

он и ему захотелось увидеть начальником здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе – большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные кусочки колбасы. Поодаль на синем блюдечке – две картошки и подле блюдечка кожаная куртка с колбасы.

«Птичья еда», – подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов потирал плечом небритую щеку – снизу вверх.

– В назначенный час восстания на трамваях со всех концов города появляются восставшие рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопился:

– Ну-у?..

– Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов пустил на стол томящиеся силой руки и сказал:

– Все?

– Пока, да.

– А мало этого, товарищ!

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака и веснучатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

– Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как кура на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

– Японцев сорок.

– Это верна, как вшей могут сдавить. А только пойдет.

– Кто?

– Мир. Мужик хочет.

– Эс-эровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

– А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

– Водкой поподчую, хотите? – предложил он. – Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят!

– Мы втихомолку – ответил Знобов.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

– Ты, парень, не сердись – прохлаждайся, а сначала не понравился ты мне, что хошь.

– Прошло?

– Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

– Где?

Знобов распустил руки:

– По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, миллион народу срезал. Так мы ево... тово...

– В воду?

– Зачем в воду. Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

– На нем орудия.

– Опять ничего не значит. Постольку, поскольку выходит и на какого чорта...

Знобов вяло качнул головой:

– Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля – не слухат человечьего говору. Свое прет!

Он поднял ногу на порог, сказал:

– Прощай. Предыдущий ты человек, ей-Богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

– Да-а... предыдущий...

Он весело ухмыльнулся, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать проект инструкции восставшим военным частям.

III

На улице Знобов увидел у палисадника японского солдата в фуражке с красным околышем и в желтых гетрах. Солдат нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозы крылышки, усики.

– Обожди-ка! – сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго спросил:

– Нью?

Знобов скривил лицо и передразнил:

– Хрю! Чушка ты, едрена вошь! К тебе с добром, а ты с хрю-ю. В Бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц, оглядел поперек Знобова – от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

– Русика сювоlochъ! Нью?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел ему вслед на задорно блестящие бляшки пояса и сказал с сожалением:

– Дурак ты, я тебе скажу!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Казак изнеможенно ответил:

– Так точно... с документами...

Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.

Казак, подавая конверт, сказал:

– За голяшками нашли!

Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана.

– Ты... какой банды... Вершининской?

Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:

– «Может... приказ... может...»

Комендант, передвигая тускло блесевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:

– Какое количество... Что?.. Где?..

Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.

«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»

А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с замороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности – сначала одну кишку, потом другую...

Мужик говорил закоснелым смертным говором и только при словах:

– Город-то, бают, узяли наши.

Строго огляделся, но, опять обволоклый тоской, спря-
тал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

– Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

– Говорят, не расстреливают – палками...

– Что? – спросило румяное лицо.

– Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

– Может... все может... Но, ведь, я думаю...

– Как?

– Партизаны перерезали провода. Да, перерезали,
только...

– Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изну-
ренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

– Арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в поезде неподвижно.
Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая
глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они
стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал
до расстрела:

– А ты сапоги-то сейчасними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила
кровь.

Обаб принес в купэ щенка – маленький сверточек сла-

бого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заснул.

– Зачем вам? – спросил Незеласов.

Обаб как-то не по своему ухмыльнулся:

– Живость. В деревне у нас – скотина. Я уезда Барнаульского.

– Зря... да, напрасно, прапорщик.

– Чего?

– Кому здесь нужен ваш уезд?... Вы... вот... прапорщик Обаба, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

– Ну? – жестко проговорил Обаба.

И, точно отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

– Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению.

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

– Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, ключья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица и капитан брызгал словами:

– Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам – к востоку, к городу, к морю.

II

Син-Бин-У направили разведчиком.

В плетеную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифэ с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его лицу и торопливо спросил:

– Кокаин, что, есть?

Син-Бин-У плотно сжал колпачки тонких, как шелк, век и, точно сожалея, ответил:

– Нетю!

Офицер строго выпрямился.

– А что есть?

– Семечки еси.

– Жидам продались, – сказал офицер, отходя. – Вешать вас надо!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

– У нас, в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный – китайскому арбузу далеко.

– Шанго, – согласился китаец.

– Домой охота, а меня к морю везут.

– Сытупай.

– Куда?

– Дамой.

– Устал я. Повезут, поеду, а самому итти – сил нету.

– Семичика мынога.

– Чего?

Китаец встряхнул корзинку. Семячки сухо зашуршали, запахло теплой золой от них.

– Семичики мынога у русика башку. У-ух... Шибир-шиты...

– Что шебуршит?

– Семичика, зелена-а...

– А тебе что же, камень надо, чтоб голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на проходившего широкого, но плоского офицера в сером френче, спросил:

– Кто?

– Капитан Незеласов, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

– Шанго.

– Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

– Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы жадно и тоскливо посмотрели на него с перрона и зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длинно-бородый старик рыдал возле кипяточного крана и, когда он вытирал слезы, видно было – руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь, водой.

– Житьишко! – сказал он любовно.

III

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов – и, как теплую воду, ее ощущали губы и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу – тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади насакивают горы, лес. Наскочут и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщевых мешков яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

– С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзину и узловатыми пальцами вырывал хлеб и если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаба лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь – точно заклепывали...

У себя в купе жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

– Прорвемся... к чорту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаба пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд – и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников и так же забитый полями, ветром и морем – жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

– Прорвемся, – выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом черный, порывистый, махая всем своим телом, кричал Низеласову:

– Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

– Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы, все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

– У красной черты... Видите?..

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

– Все мы... да... в паровоза...

Нехорошо пахло углем и маслом. Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам крича:

– Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Являлся Обаб. Губы жирные, лицо потно блестело, и он спрашивал одно и то же:

– Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

– Отставь!

– Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало – вещи и люди. И серый щенок в купэ прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигарету:

– Уйдите... к чорту!.. Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

– Пра-а-апорщик!..

– Слушаю, – сказал прапорщик. – Вы-то что? Ищете?

– Прорвемся... я говорю – прорвемся!..

– Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

– Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

– Мы-ть. Да я их... мать!

Капитан пошел в свое купэ, бормоча на ходу:

– А. Земля здесь вот... за окнами... Как вы... вот... пока... она вас... проклинаят, а?..

– Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

– Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде – прах... Сегодня мы закопали... человека, а завтра... для нас лопата... да.

– Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

– Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если, работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... догадаться. А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек – Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб?

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в непонятные стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папиросу и тут, не куря еще, начал плевать – сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло и, когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

– Глиста!..

IV

На рассвете капитан вбежал в купэ Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

– Послушайте, – нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб перевернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

– Стреляют? Партизаны?

– Да, нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

– Но, нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..

Обаб сипло сказал:

– Спать надо, отстаньте!

– Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его... прапорщик!..

Капитан стыдливо хихикнул;

– А. Незаметно этак, бывает... а.

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

– Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся как на параде.

– Орудия, может, не чищены? Может приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

– Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

– Тоска, прапорщик... А вы... все-таки!..

– Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

– Вы поймите... Обаб.

– Не по службе-то.

– Я прошу...

Прапорщик закричал:

– Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

– О-о-а-е-гггы!..

Они, не слушая друг друга, иступленно кричали до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

– Я думал... камень. Про вас-то?.. А тут – леденец... в жару распустился!..

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

– Не сметь!.. Не сметь бросать!..

Щенок завизжал.

– Пу-у!.. – густо и злобно протянул Обаб – Пу-усти-и...

– Не пуцу, я тебе говорю!..

– Пу-усти-и!..

– Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирая серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похоже было на мокрое, ползущее пятно.

– Вот, бедный, – проговорил Незеласов и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

V

В купэ звенел звонок – машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

– Обаб?

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

– Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

– Чудесно... мы живем, да-а?... Я до сего момента... не знаю как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?... Извините, прямо... как собачья кличка...

– Имя мое – Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

– Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

– Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

– На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

– Остановите поезд!

– Не могу, – сказал машинист.

– Я приказываю!

– Нельзя, – повторил машинист. – Поздно вы пришли.

Перережем, тогда остановимся.

– Человек ведь!

– По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался.

– Совсем останавливаться не к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

– Прошу не указывать. Остановить после перереза.

– Слушаюсь, господин капитан, – ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

– А вы, прапорщик Обаб, идете немедленно и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

– Слушаю, – ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Уже было видно на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернули железными лопатками площадок.

– Кончено, – сказал машинист. – Сейчас остановлю и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес – гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаба вытянул вперед руки, как будто готовясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колеса вагона. На шее выступила кровь и его медные усы точно сразу побелели.

– Назад... Назад!.. – пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Похоже – не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы – маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

– Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

– Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

– Гришати́нски, Никита Егору́ч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты – реденький кустарник, за кустарником – желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

– Мутьевка, Никита Егору́ч! – кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих, измятых травах, стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушенный долгими переходами взгляд и изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

– Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

– Анисимовски! Сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый на золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

– Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

– Боле, – отозвался уверенно лисолицый с россыпи. – Кабы я грамотной, я бы тебе усю риестру разложил. Мильен!

Он яростно закричал проходившим:

– А ты каких волостей?..

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

– Открывать, что-ля? – закричал лисолиций. – Жду-ут...

И хотя знали все – в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69. Если не задержать, восстание подавят японцы. Все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

– Итти...

– Японец больше воевать не хочет, – добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син-Бин-У влез на ходок и долго, будто выпуская из рта цветную и непонятно шебурчащую бумажную ленту, говорил почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно – не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

– Голосовать, что ли? – спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

– Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

– А ты от Бога куда идешь, а?

– Окстись ты, дед!

– Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола угодник являлся – больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

– Сожгет японец избу-то!

– Японца я знаю, – торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик, – японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то – пень: не понимает. А нам от греха дальше, взять да согласиться, чорт с ним – втишь-то можно... своему Богу... Никола-то своему не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

А он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

– Уйди! – сказал грубо Вершинин. – Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была – богов выдумают...

– Ты не хулишь, ирод, не хулишь!..

Окорок сказал со злобою:

– Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатеры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

– Ну, так вы как, товарищи?.. галисовать, что ли?..

– Голосуй! – отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

– Валяй!..

– Чаво мыслить-то!..

– Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив итти на броневик, влево, далеко над лесом слышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым, громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по протокольному сказал мужикам:

– Это штаб постановил – через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, – пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи, окапываться.

Вершинин прошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос, на запад.

– Чего ты? – спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

– Будут же после нас люди хорошо жить?

– Ну?

– Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

– Это – их дело.

II

Бритый, коротконогий человек лег грудью на стол, – похоже, что ноги его не держат, – и хрипло говорил:

– Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совер-

шенно не считается с мнением Совета Союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочий сказал желчно:

– Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

– Совет Союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

– Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

– Пойдут опять усмирять мужиков?

– Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

– А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета Союзов протестовал:

– Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у вас не будет.

– Покажите ему!

– Это – демагогия!..

– Прошу слова!..

– Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

– Разрешите огласить следующее: «По постановлению

Совета Народных Комиссаров Сибири – восстание назначено на 12 часов дня 16-го сентября 1919 года. Начальный пункт восстания – казармы Артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

– За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.

– А что?

– Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

– Мужиков он знает хорошо, – сказал Пеклеванов.

– Мужиков *никто* не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует здорово. Все же... На митинг поедете?

– Куда?

– Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть.

Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:

– Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, в человека уверить хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке – а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный, веснущатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.

– Сентиментальность, – сказал Пеклеванов, – ничего не будет!

Коротконогий вздохнул:

– Как хотите. Значит заехать за вами?

– Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал:

«А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

– А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал... Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У ней были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

– Измотал ты меня. Каждый день жду – арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватила за ручку, просила:

– Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Партия? Ревком? Наплевать мне на их всех, идиотов!

– Маня! Ждет же Семенов.

– Мерзавец он, и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как тесина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

– Не понимаю я вас!..

– Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька?..
Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

– Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

– Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться – струсил, скажут.

– На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие, жидкие волосенки.

– Придется...

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

– Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочно плача, выбежала из комнаты.

– Поехали? – спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слушал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

– Папирос у вас нету? – спросил он.

III

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как медеянская собака, лошади, объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготавливались ждать долго и спорно. Пестрые пятна рубашек – десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами – почти на десять верст.

Лошадь – ленивая, вместо седла – мешок. Ноги Вершинина болтались и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

– Баб чтоб не было, – говорил он.

Начальники отрядов вытягивались по-солдатски и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

– Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

– Восстание там.

– А успехи-то как? Ваенны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

– Успехи, парень, хорошие. Главно, – нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно – незнакомо пустела насыпь. Последние дни, один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами – японскими, американскими и русскими.

Где-то перервалась нить и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

– Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером, глядя в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

– Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

– С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

– Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

– Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись лома – разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

– Все правда, да, правда! А к чему и сами не знам. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

– А все-таки, чудно! Может захочем на луне-то мужика настроить.

Мужики захохотали.

– Ботало.

– Окурок!

– Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

– Возьмем!

– Это тебе не белка, с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову.

– Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

– Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про

охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

– Этот, белобрысый-то? – спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо блее крупчатки и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою – даром не возьмем».

– Вот стерва, – восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил:

– Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

– Идет!

И точно, поезд был уже у будки, – все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

– Успем! – говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестящие среди деревьев.

– Разобрать бы и только.

С соседней телеги отвечали:

– Нельзя. А кто собирать будет?

– Мы, брат, прямо на поезде!

– В город вкатим!

– А тут собирай.

Окорок крикнул:

– Братцы, а ведь у них люди-то есть!

– Где?

– У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют – есть-то люди?

– Дурной, Васьша, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

– Все можно... Перебьем!..

– Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад – не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому – люди теперь по линии необычны, – поезд несется и стреляет в них.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи увидали верхового человека.

– Свой! – закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

– Снять его?

– Какой чорт свой, кабы свой – не цеплялся б!

Син-Бин-У, сидевший рядом с Васькой, удержал:

– Пасытой, Васи́ка-а!..

– Обождь! – закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

– Никита Егорыч здесь?

– Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

– Пришли мы туда, а там – казаки. Около мосту-то! Постреляли мы, да и обратно.

– Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

– Всех убили?

– Усех, Никита Егорыч. Пятеро – царство небесное!..

– А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

– Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли.

Мужики заорали:

– Чего там?..

– Правокатер!

– Дай ему в харю!

Мужиченко торопливо закрестился.

– Вот те крест – не подняли. У камня, саженьях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

– Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!..

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков.

Один из них сказал:

– Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

– Туда к мосту итти? – спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

– Идет! – сказал Окорок.

Знобов повторил, ударяя яростно лошадь кнутом:

– Идет...

Мужики повторили:

– Идет!..

– Товарищи! – звенел Окорок, – остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы – шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

– Перережет – и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

– Идет!.. идет!.. – с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

– Кабы мертвой!

– Для чего?

– А вишь по закону – как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

– Ну?

– Вот кабы труп. Положил бы его. Перережут и останутся, а тут машиниста, когда он выйдет – пристрелить. Можно взять...

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

– Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перережет!..

Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли тела, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

– Товарищи! – закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

– Куда? – крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

– А ну вас к..! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудела в лесу земля...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

– Самогонки нету?.. горит!..

Палевобородый мужик, на четвереньках, приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щеки песок, посмотрел на гул: голубые гудели деревья, голубые звенели шпалы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

– Не могу-у!.. душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх:

– Куда? – спросил Знобов.

Син-Бин-У, не оборачиваясь, сказал:

– Сыкмуучна-а!.. Васикья!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, лицо желтое. Шпала плакала. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали – не знал, не видел Син-Бин-У...

– Не могу-у!.. братани-и!.. – плакал Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син-Бин-У был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син-Бин-У опять лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра – вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец лег опять.

Корявый палевобородый мужичонко крикнул ему:

– Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куды тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син-Бин-У вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадрат-

ный, и злобно багрово блестели зрочки паровоза. Серой плесенью подернулось небо, как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син-Бин-У, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купэ, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

– Пошел!.. пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

– Сичас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг не от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь:

– Ну, вас к чорту... к чорту!!

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед – от

моста до будки стрелочника было шесть верст — как огромный маятник метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие как кровь... Как кровь...

Видно было, как из кустарников подпрыгивали кверху тяжело раненые партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, что были живы, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник и глубоко темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Темнели лампы и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка и левая рука тискала что-то в воздухе. Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал:

— Сами знают!

И тут опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем и так как подходить и подбрасывать дров в костер было опасно, то кидали издали и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы.

Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий.

Так по обеим сторонам дороги горели костры и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев.

Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает

один конец поезда, и он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

– Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

– Я говорю... не слышите, вам говорят!.. не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой.

– Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть»!..

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен»?

Но тут:

«Хорошо бы капитану влюбиться... бороду в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

– Не смей без приказа!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста – маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны – и за будку стрелочника, но уже все ближе, навстречу – как плоскости двух винтов ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебежали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди и говорили:

– Прости ты, Господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И как за стальными стенками перебегали с места на место мысли и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

– Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купэ. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

– Говорил... ни снарядов!.. ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо. Капитан наклонился к нему и послушал.

– И-и-и!.. – плакал щенок.

Капитан схватил его и сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая, широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробежала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костров камни и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом – откуда почему? И гудел не переставая паровоз:

– А-у о-е-е-е-и.

II

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненые, подпрыгивая на корнях, раскрывали воздуху и опадающему желтому листу свои полые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая, маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

– Страшно, Никита Егорыч?

– Чего? – хрипло спросил Вершинин.

– Народу-то темень!

– Тебе что, – ты не конокрад. Известно – мир!..

Васька после смерти китайца ходил съезжившись и глядел всем в лицо с вялой виноватой улыбочкой.

– Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри не ладно.

– А ты молчи и пройдет!

Знобов сказал:

– Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

– В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я у царю-то, почесть, семь лет служил – четыре года на действительной, да три войны германской.

– Хорошо мост-то не подняли... – сказал Знобов.

– Чего? – спросил Васька.

– Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

– Жалко мне, Знобов, китайца-то! А, думаю, в рай он удет – за крестьянску веру пострадал.

– А дурак ты, Васька.

– Чего?

– В бога веруешь.

– А ты нет?

– Никаких!..

– Стерва ты, Знобов. А, впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя – у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

– Вери-ители!..

Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:

– Пусти ты меня, Никита Егорыч, – постреляю хоть!

– Нельзя. Раз ты штаб, значит и сиди в штабной квартире.

– Телеги-то!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и столкнул секретаря:

– Сиди тут. А ночь, как придет – пушай костер палат. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут, либо чорт их знат, што им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:

– Не уйдешь, курва!

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

– Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина.

– А ты не гони, не догонишь! А убить-то тебя за дешеvu монету убьют.

– Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

– Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телеги бежали мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами неся навстречу.

Васька зажмурился.

– Высоко берет, – сказал Знобов, – вишь не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

– Ни лешева! – яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин был огромный, брови рвались по мокрому лицу.

– Не выдавай, товарищи!

– Крой! – орал Васька.

Телега дребезжала, об колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

– Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

– А дуй, паря, пропадать, так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд и Васька грозил кулаком:

– Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были, как трупы, и трупы, как бревна – хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

– Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали.

Знобов высчитывал:

– Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

– Надо в город-то на подмогу итти.

Как спелые плоды от ветра – падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше – земля жалела. Сначала их были десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни – и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку.

Потом остановился.

Тогда то далеко еще до крика Вершинина:

– Пашел!.. Та-ва-ри-щи!..

Мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца

и меди в тела, рвали груди, пробивая насквозь, застегивая навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

– О-а-а-а-о!!.

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды и из потного мокрого волоса лезли наружу губы:

– О-а-а-а-о-о-о!!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, и не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, стукнувшись у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках осторожно и, почему-то, обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

– А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое и только на глазах блески слезы.

Броневику гудел.

– Заткни ему глотку-то, – закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети:

– Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, торопясь куда-то, умер.

Партизаны опять отступили.

III

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся мелкой сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником – тупым концом вниз шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

– Мерзавцы! – кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

– Мерзавцы! – кричал он визгливо. – Мерзавцы!..

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было б похоже на приказание и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц среди кустарников, похожих на

свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как пробежали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки.

За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые, темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок были эти торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры.

И солдаты чувствовали этот страх и, чтоб заглушить непонятно хриплый рев из кустарников, заглушали его пулеметами.

Неустанно, несравнимо ни с чем, ни с кем – бил по кустарникам пулемет.

Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купэ. Зайти туда было почему-то страшно, через дверку виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купэ, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот непонятно где визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат, такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно – убьют. Капитан бежал среди них и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышевая трость.

Уже уходил бронепоезд в ночь и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что если он услышит шум ветра в лесу... Солдаты

угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело.

Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

– Щенка надо... напоить!.. – сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

– Н, ах...н, пх...н, ах!..

Другой с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

– Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

* * *

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалывшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая и не видно было, кто подбрасывал дров. Горели сопки.

– Камень не горит!..

– Горит!..

– Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

– Это наступление?

Ерунда.

Они полежат – эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

...Побежали!..

* * *

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

– Оо-у-ое!..

И тонко, тонко:

– Ой... Ой!..

Солдат со впавшими серыми щеками сказал:

– Причитают... там в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру в кулак.

– Почему видно все во тьме? – сказал Незеласов. – Там костры, а тут должно быть темно.

Костры во тьме, за ними рев баб. А может быть сопки ревут?..

– Ерунда!.. Сопки горят!..

– Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки.

* * *

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа и на ней, как цветок на шелку, – глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце.

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

– Туды вашу!.. туды вашу!..

* * *

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов у своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многие забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачкавшиеся в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза – тьма. Ослеп капитан.

– Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь, – тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

– Тьма. В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. По песку легче держаться и можно куда-то убежать...

* * *

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках, в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногой капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

... Его, капитана Незеласова, мясо...

Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

* * *

Поезда на насыпи нет. Значит – ночь. Пощупал под рукой – волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвал...

... Кустарник – в руке, а другой руки не чувствует. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

А на сапоге карабин, значит тоже из поезда ушел.

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пахнул кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе было похоже на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

– Прикажете выезжать?

– Пошел к чорту!

Беженка в коричневом мантио зашептала в ухо:

– Идут!.. идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки оказывается не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет, ишь их сколько, бородатые, сволочь в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, – умер.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

В жирных темных полях сытно шумели гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона – дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть дракон китайский из сопок, может быть леса... Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!..

* * *

У дверцы купэ лысолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричал:

– Вот халипа!.. Чиста юбка, а коленко-то голым голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок...

За насыпью – другой бог ползет из сопок, желтый, ли- тыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

– О-хо-хо!..

– Конец чертям!..

– Бу-де-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

– Мы тебе покажем!

Кому, кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо!

Красная рубаха, как красный бант на серой шинели.

Бант!

– О-о-о-о!..

– Тяни, Гаврила-а!..

– А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным флагом.

Бант!..

На рыжем драконе из сопок – на рыжем – бант!..

* * *

Здесь было колесо – через минуту за две версты. Молчат рельсы не гудят, напуганы...

Ага?..

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом²⁶.

– Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковой... Не знаю – какой народ.

– Про народ кто знат?

– Сам бог рукой махнул...

– О-о!..

²⁶ Бебут – артиллерийский тесак.

– Ну вас, грит, к едреной матери!..

– О-о!..

Литографированный Колчак в клозете на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят – не чувствуют...

– А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом...

Ага?

Огромный, важный – по ветру плывет поезд – лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий:

– О-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удастся; сам куда-то пытается прыгнуть и телом и словами:

– В Америке – со дня на день!

Орет Знобов:

– Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

– Изучили!..

– В Англии, товарищи!..

– Вставай проклятьем заклейтеменай...

– О-о-о!!.

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны, как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

– Ревком, товарищи, имея задачей!..

– Знаем!..

– Буде... Сам орать хочу!..

*Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка-а!..*

На кровати – Вершинин: дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит – от дыханья его тяжело в купэ. Хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий.

Рядом – баба. Откуда пришла – поддалась грудями вперед – вся трепыхает.

Орет Знобов:

– Нашла? Он парень добрай!..

За дверцами кто-то плачет пьяно:

– Ваську-то... сволочи, Ваську – убили... Я им за Ваську пятерям брюхо вспорю – за Ваську и за китайца... Сволочи...

– Ну их к... Собаки...

– Я их... за Ваську-то!..

II

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видно было при месяце ее белые зубы – холодные и охлаждающие тело и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая – земляная.

И в ногах – тоже...

– А-та-та-та!.. – Ах!.. – Ах!..

Это бронепоезд – к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть туда же, может быть еще дальше...

Им надо итти дальше, на то они и люди...

* * *

– Я говорю, я:

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю – и радуюсь... Верю...

Пахнет земля – из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются – он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит – он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля и он – небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо – всем верить, все знать и любить. Все так надо и так будет – всегда и в каждом сердце!

* * *

– О-о-о!

– Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

– Ну-у!..

Рев жирный у этих людей – они в стальных одеждах; радуются им, что ли, гнутся стальные листья; содрогается огромный паровоз и тьма масляным гулом расползается:

– У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале, небойсь, и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила и потому должно быть было весело, холодно-вато и страшно-вато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа Знобовых – лохматых, густо-волосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

– Мий – нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

– Нитралитет – эта ладно, а только много вас?..

– Двасать тысись... – сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шопотом:

– А нас – мильен, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

– Трусют. Нитралитет, грит, и желам на острова ехать – рис разводить... Нам чорт с тобой – поезжай.

И в ладонь свою зло плюнул:

– Еще руку трясет, стерва!..

– Одно – вешать их! – решили партизаны.

* * *

Плачущего с девичьим розовым личиком вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

– Не пой!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и подскочив, как на ученьи, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

* * *

Ночь.

На койке в купэ женщина. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

– Запиши...

Был пьян писарь и не понял:

– Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то, как-то...

– Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком, написал:

– Приказ. По постановлению...

– Не надо, – сказал Вершинин. – Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

* * *

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:
– Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые – жадные и ласковые. Говорят:

– Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик и не верили ему и он сам не верил. Но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

– ...А то раз по Туркестанским землям персидский шах путешествовал и встретится ему английская королева...

III

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

– Никаких восстаний не слышно. А мобыть и есть – наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеру, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

– Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

– Нича нету?

– Ставь пулемету...

– Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфете первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге провезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

* * *

В штабе генерала Сомова ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула

толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу – опять бумаги, машинки, испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежавший у лестницы труп генерала.

* * *

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба – было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу – чорт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко, и в нем угловатая покрытая черным волосом челюсть с мокрым, часто моргающим глазом. За дверью часто неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал:

– А ведь когда буду бомбу бросать, отскочит от окна или не отскочит?..

* * *

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая как дыхание тайфуна томила город жара. И, как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь, на зеленовато-синей воде молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливно пела канарейка и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал приказ на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернилку и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины – выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки – огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстание...

И еще – через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

* * *

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих

дабовых рубахах – приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. И только непонятно, как неведомые руды, блестели у них округленные привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен – до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные густые, как весенние травы, пахнущие рыбами, волосы...

И еще – шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихоте-Алин с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены под платьем сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровянились потрескавшиеся губы и выпячивался, подымая платье, крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами, ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу, черча в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по мышинному оглядывавший манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинеле, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх

проходивших (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

...И было ему непонятно стыдно не то за себя, не то за американца, не то за Россию, не то за Европу.



МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

ВОЗМЕЗДИЕ

1. ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Во время годовщины Октябрьской революции на одном из ленинградских заводов был устроен вечер воспоминаний.

Каждый из желающих рассказывал о своем участии в революции, о своих подвигах, о своих встречах со знаменитыми революционерами и о своей прошлой боевой жизни.

Делились своими воспоминаниями не в торжественной обстановке и не в зале с эстрадой и кафедрой, а просто участники вечера за чашкой чая вели свои беседы. Это придало разговору живой и непринужденный характер. И в тот же вечер моя записная книжка была вдоль и поперек исписана интересными заметками и сюжетами.

Между прочим, очень много всех смешил заводский парикмахер, некто Леонидов. Он очень забавно и комично рассказывал, как он до революции служил в модной парикмахерской на Морской и как там он стриг и брил разных генералов и князей. И какие там у него встречались требовательные и нахальные клиенты, не разрешавшие во время бритья дотрагиваться пальцами до своей благородной кожи.

Все очень смеялись, когда Леонидов вспоминал иные забавные факты из своей практики. Но об этом я расскажу как-нибудь в дальнейшем.

После Леонидова с коротенькой речью выступил немолодой слесарь Коротков, раненный в Февральскую революцию. Он рассказал об уличном столкновении с полицией, во время которого он и был ранен.

И вот наконец выступила работница завкома, товарищ Анна Лаврентьевна Касьянова, награжденная в свое время орденом Красного Знамени.

2. РЕЧЬ А. Л. КАСЬЯНОВОЙ

Речь Касьяновой была исключительно интересна и занимательна. Это было воспоминание о прожитой жизни, о революции, о гражданской войне, о знаменитом Перекопе

и о бегстве барской России за границу.

Это был рассказ человека, побывавшего в самом пекле революционных событий.

Уже по первым ее фразам я понял, что это не заурядная женщина с простенькой и обыкновенной биографией. И действительно, ее жизнь поразила нас каким-то внутренним, особенным значением.

Ее речь всех нас захватила, и мы не заметили, как промелькнуло полтора часа.

Во время перерыва я подошел к т. Касьяновой и попросил ее разрешения написать повесть об ее жизни.

Анна Лаврентьевна сказала:

– Если это получится как забава, то не надо. Мне было бы неприятно, если б вы посмеялись над моей жизнью. Но если это полезно для дела революции, то я согласна, чтоб вы это написали.

Потом она добавила:

– Только то, что я рассказала, – это древняя история. Сейчас мы заинтересованы другой материей – строительством и расцветом нашей страны. И эта старая история моей жизни, может, сейчас не так полезна в литературе, как другие, более современные темы.

Я сказал:

– Это именно та «древняя история», которая исключительно нам интересна, потому что без таких историй, может быть, и не было бы того, что есть сейчас.

В общем, я условился с Касьяновой, что по окончании моей работы мы повидаемся с ней и она внесет поправки, если в моей повести будут неправильности или неточности против правды.

Однако значительных неправильностей в моей работе не оказалось, и товарищ Анна Лаврентьевна Касьянова дала свое согласие опубликовать историю своей жизни.

Необходимо сказать, что в этой моей работе я постарался сохранить все особенности рассказчицы, все ее интонации, слова и манеру.

Однако прежде чем приступить к рассказу, я скажу несколько слов о наружности Касьяновой.

Она среднего роста. Склонная к полноте. Ей сейчас примерно около сорока лет. У нее голубые глаза, русые волосы и несколько широкое лицо. Вероятно, в молодые годы она была очень красива той прекрасной, здоровой русской красотой, в которой чувствуются сила, уверенность и удивительное спокойствие.

Вот что рассказала Касьянова.

3. ДЕТСТВО

Я родилась в рабочей семье. Мой отец, Лаврентий Иванович Касьянов, крестьянством не занимался. Он был рабочий. Он служил на сахарном заводе. И мы жили в сорока километрах от Киева.

Но в японскую войну его во время забастовки на заводе арестовали и куда-то забрали. И он к нам не вернулся.

И тут после этого, если так можно сказать, все равно как бомба разорвалась в нашей семье. Отец не вернулся. Старший брат, мальчик лет семнадцати, уехал в Персию и там где-то остался. У сестренки открылась болезнь почек. И она потом умерла. И моя мать, видя все это, тоже начала

хворать, гаснуть, и в скором времени она тоже скончалась.

В свои семь лет я осталась круглой сиротой. И только у меня в Киеве проживала одна тетя. И тогда эту тетю вызвали из Киева и спросили, что делать. Тетя удивилась, что я осталась одна, и отдала меня в соседнюю деревню в няньки к одному своему знакомому кулаку.

А у этого кулака была большая семья. Его родственники. Он сам. Два сына – Мишка и Антошка. И еще грудная девочка Феня, которую мне надо было нянчить.

А мне было всего семь лет. И можете себе представить, какая я была в то время няня. И какой мне был интерес ухаживать за этой девочкой.

Фамилию этого кулака я запомнила на всю жизнь. Это был исключительно богатый мужик и мироед, Максим Иванович Деев.

Он держал несколько батраков, которые обрабатывали его поля и смотрели за его хозяйством.

4. НА ЗАВОДЕ

Этот кулак Деев, видя, какая я нянька, решил меня отдать на завод.

И он меня отдал на сахарный завод, где в свое время работал мой отец, мой папа.

Я стала работать на этом заводе. И я там работала по двенадцать часов в сутки.

И когда я возвращалась домой, то дома я тоже не знала отдыха. Я дома продолжала работать. Я носила дрова. Убирала хлев. Пригоняла коров. Кормила птиц. Нянчила Феню. И утром часов в пять снова уходила на завод.

Мне хотелось играть в куклы или побегать с ребятами-

ками, но вместо того вот что я имела.

А у нас там, на сахарном заводе, детей использовали на подсобных работах. У нас там дети подбирали свеклу. Каждому из ребят полагался такой железный крючок. И вот с этими крючками мы ходили взад и вперед и подбирали свеклу, поскольку она то и дело падала, когда ее подвозили на эстакаду.

А когда мне исполнилось девять лет, то меня перевели с этой легкой работы к станкам, где сахар рубят.

Там были такие особые ящички, куда бросают сахар. И вот мы, дети, подбирали кусочки и швыряли их в эти ящички.

Но когда мне ударило двенадцать лет, то меня уже поставили на станок. И я там рубила сахар. И там я этим занималась до пятнадцати лет.

И мне за это кулак Деев ежемесячно платил один рубль. Но сам он за меня получал сначала три рубля, а потом восемь.

Он в течение шести лет получал за меня по восемь рублей. Но я продолжала получать от него один рубль. И на эти деньги я должна была справлять себе обувь и одежду.

И за каждый этот мой несчастный рубль, полученный от него, он заставлял благодарить себя как за совершенную милость. И я его сердечно благодарила, потому что не понимала, как еще бывает иначе. Я не знала, что это был возмутительный акт с точки зрения революции. Я не отдавала себе в этом отчета. Я, девчонка в пятнадцать лет, жила как в дремучем лесу.

И только когда произошла революция, я кое-что стала понимать.

Но во время революции я уже не работала у Деева, а служила кухаркой в Киеве. Но тем не менее я тогда вспомнила эту эксплуатацию. Я вдруг вспомнила, как он мне платил один рубль, а остальные деньги брал себе. И как он, кроме того, заставлял меня дома работать до того, что я спала не больше пяти часов в сутки.

И когда я впоследствии нарисовала себе эту картину, я просто не могла с собой совладать. Меня трясло от злобы, когда я подумала, как это было.

И, руководимая этой злобой, я даже нарочно решила поехать в деревню поговорить с Деевым.

Это было вскоре после Февральской революции.

5. ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ

А мне в то время было около девятнадцати лет. И я тогда, повторяю, жила в Киеве. Я была прислугой, кухаркой.

И это было исключительное движение души, что я вдруг вспомнила эту эксплуатацию и решила съездить в деревню.

Я сама себя уговорила, что мне надо было побывать в деревне. У меня там решительно никаких дел не было.

Тем не менее в мае я приехала в деревню. И зашла во двор к Дееву. Он сидел на крылечке и грелся на весеннем солнышке.

Я его три года не имела счастья видеть, но я ему не поклонилась. И он мне не поклонился.

Он мне грубо сказал:

— Ты чего шляешься по чужим дворам? Это еще что за

новости!

Тогда я ему сказала, еле сдерживая свое негодование:

– Ты что же мне, старая плешь, платил один рубль, в то время как сам получал за меня восемь рублей! Ты знаешь, как это называется с точки зрения революции?

Но Деев на это засмеялся и велел своим сыновьям Мишке и Антошке выгнать меня со двора.

И я тогда удивилась, что революция не облегчила мои душевные страдания. Я только потом узнала, что это была буржуазная революция, ничего не имеющая с нами общего. И надо было еще ждать полгода, чтобы произошла другая, народная революция, которая все поставила на место.

Так или иначе, кулак Деев стал смеяться над моими словами. И он до того смеялся, что еле мог выкрикнуть Мишку и Антошку.

А когда те прибежали, то я удивилась, как они выросли за эти три года, что я провела в Киеве.

Они были все равно как здоровые жеребцы.

Деев им сказал:

– А нуте-ка, прогоните мне эту белобрысую халду, приехавшую с глупостями к нам из Киева.

Старший кулацкий сын Мишка не стал меня гнать. Он сказал: «Не надо этого делать». Но другой сын, Антошка, ринулся на меня, словно дикий бык.

Он начал меня бить ногами. Стал выталкивать меня со двора.

Мы с ним одновременно выбежали на улицу. И там друг против друга остановились.

И он, засмеявшись, мне сказал:

– Я тебя, Анютка, прогнал со двора, потому что мне

папенька так велел. А если ты у нас хочешь получить работу, то наймись ко мне блох ловить.

И от этих его насмешливых слов у меня буквально свет померк в глазах. Души моей не стало от этой его дурацкой и нахальной фразы.

Я вдруг схватила коромысло, стоявшее у колодца, и ударила им кулацкого сына Антошку. Я два раза и больше его ударила. И потом я, кажется, даже стала молотить его этим коромыслом.

И он вдруг испугался, что увидел такую мою злобу, какую он не предполагал видеть в женщине.

И от страха он закричал:

– Ах, подойдите все сюда! Вот что она со мной делает!

Но потом вдруг побежал к дому, бросая горстями кровь с носу.

И я тогда пришла в себя и пошла обратно. И даже не обернулась назад, чтоб посмотреть, не бежит ли кто за мной. Мне в тот момент, как помнится, сделалось все равно.

И только я потом узнала, что сам старик Деев хотел выстрелить в меня из дробового ружья, но он испугался это сделать, потому что ему сказали, что я член горсовета.

Но я тогда не знала, о чем он замышлял, и бесстрашно шла с тем, чтобы никогда сюда не возвращаться.

Но я вернулась сюда через двенадцать лет. Через двенадцать лет я была в этом районе. И снова нарочно заехала в эту деревню.

Это был уже 1930 год.

И вот я заехала в эту деревню. И пошла на двор к Дееву.

Но оказалось, что старик Деев уже давно отправился

путешествовать на тот свет. А его сыновья, Мишка и Антон, были раскулачены и высланы из этого района. И никого из их родственников я тут больше не нашла.

А в их помещении была изба-читальня.

Я зашла в эту избу.

И когда я зашла в эту избу-читальню, я вдруг рассмеялась, что так все случилось.

Я не обладала жестоким сердцем, и я всегда была внимательна к чужому страданию. Но тут я рассмеялась, когда вошла в избу.

Заведующая избой-читальней спросила меня: «Чего вы смеетесь?» Я ей ответила с той сердечной простотой и наивностью, которые у меня тогда были. Я ей сказала:

— Я смеюсь, что произошла такая народная революция, которая оправдала мои надежды.

И тогда заведующая, не поняв, в чем тут дело, сказала:

— Может быть, вы хотите взять какую-нибудь книжку почитать, чтобы повесить свою культуру?

Не помню сейчас, но, кажется, я действительно взяла тогда какую-то книжку. Но в те дни я не стала ее читать, потому что у меня и без книг тогда слишком было переполнено сердце.

6. В КИЕВЕ

А что касается дореволюционного времени, то у этого кулака Деева я находилась почти что до шестнадцати лет.

А когда мне исполнилось шестнадцать лет, к нам в деревню прибыл из Киева один мой знакомый, ранее служивший на сахарном заводе.

Он мне симпатизировал.

Он мне сказал:

– Бросай, Аннушка, своего кулака Деева и давай поедem в Киев. И я там куда-нибудь определю тебя на работу. Сам я служу в Киеве в москательной лавке. И если ты захочешь, мы там будем с тобой встречаться по воскресеньям.

И вот я тогда бросила своего кулака и действительно поехала в Киев.

И я там в скором времени устроилась прислугой к одной барыне.

Собственно говоря, это была, так сказать, не чистой воды барыня. Ее муж служил в интендантстве по снабжению армии. И был все время в разъездах.

А супруга его содержала небольшую шляпную мастерскую, в которую она даже никогда не заглядывала по причине своего нездоровья. А просто там у нее кто-то работал, а прибыль получала она. Тогда это было в порядке вещей, что один работает, а другой за него барыши получает. Это не казалось чем-то особенным. Это было тогда повседневным делом – подобная эксплуатация.

А у этой барыни была дочка Оленька. И Оленька оставила по себе очень хорошее воспоминание. Она меня учила грамоте. Она сама была гимназистка выпускного класса. И была чересчур бойкая и развитая не по летам. За ней постоянно мужчины бегали. И даже какой-то юнкер из-за нее хотел застрелиться.

Но у нее хватало времени со мной заниматься. Она мне преподавала географию, чтение, арифметику и ботанику.

В общем, я ей очень благодарна за науку, потому что к моменту революции я была уже немного подкована в

смысле грамотности, и я уже не была такой, что ли, чересчур темной особой.

Эта Оленька потом вышла замуж и уехала из Киева. И я не знаю, где она теперь.

Я у них служила около двух лет. И я тогда нигде почти не бывала. А моего знакомого, с которым я приехала в Киев, взяли на войну. Он был мобилизован.

Я его провожала на вокзал. И я не знаю, что с ним в дальнейшем стало. Наверное, он был убит на войне. Или он пропал без вести. Только я о нем никогда ничего не могла узнать.

А он очень страдал, что уезжает от меня. И мы с ним торжественно, как жених и невеста, поцеловались на вокзале.

Но я привыкла терять близких мне людей. И не имела от этой потери какого-нибудь отчаяния.

Я тогда стала больше работать, чтоб не скучать.

И я поступила даже на курсы поваров, чтобы повысить свою квалификацию.

Мне моя барыня разрешила это сделать. Ей самой смертельно хотелось, чтоб я у нее лучше готовила. И она мне позволяла по вечерам ходить на занятия.

Но от этого она, увы, не получила своего выигрыша, потому что я вскоре ушла от нее на более хорошее место, к одной генеральше.

7. ГЕНЕРАЛЬША ДУБАСОВА

У нас рядом с нашим домом был отдельный особняк. И там жила генеральша Нина Викторовна Дубасова, урож-

денная баронесса Недлер.

Она была сравнительно молодая, довольно интересная особа. Ей было около тридцати лет.

А сам генерал Дубасов был постоянно на фронте. Он был боевой генерал. Фронтовик. А она тут жила все равно как в сказке.

Они были очень богаты, эти Дубасовы. У них было несколько имений на Украине. И к ним постоянно мужики привозили всякую снедь и продукты. И, кроме того, мужики привозили им деньги. И в довершение всего кланялись в пояс и целовали ручку. Причем они круглый год работали. А та за них отдыхала. И пользовалась всем на свете. Просто невероятно сейчас подумать, как это тогда было.

В общем, генеральша жила в полной роскоши, не зная никаких затруднений.

У нее, между прочим, было три денщика. А когда с фронта приезжал генерал, то он еще двух денщиков с собой привозил. Так что это было смешно видеть, что у них был такой личный штат.

Кроме того, у них было два кучера, два дворника, горничная, истопник и кухарка. А поскольку сам генерал был почти все время на фронте, то все эти услуги относились только к баронессе Нине Викторовне, которая прямо с ума сходила от своего безделья.

Она меня видела несколько раз со своего балкона и велела мне сказать, чтоб я бросила служить у прежней барыни и чтоб я перешла к ней, поскольку я ей почему-то понравилась.

И она мне положила в два раза большее жалованье. Я получала шесть рублей, а она мне дала двенадцать рублей.

А в то время это были порядочные деньги.

И тогда я к ней перешла. И вскоре я убедилась, что она была страшно сумасшедшая. Она была недотрога и истеричка в высшей степени.

Ее люди очень не любили. И она часто выгоняла то одного, то другого. Причем у нее была тенденция не платить. Она рассердится, например, на дворника, вышвырнет ему за дверь паспорт и велит сразу уходить. И никакой управы на нее нельзя было найти.

У нее было три денщика. Так она каждый день их лупила. Сейчас, конечно, трудно даже представить, как это можно ударить служащего человека. Но тогда это был не вопрос. Тогда это было вполне законное явление. И она за каждый пустяк била то одного, то другого. Она била их по лицу. Причем у нее не было даже злобы, а просто это была у нее привычка. А на битье они, как военные, не имели права ничего сказать. Они даже не смели шелохнуться. Они стояли навтыжку, когда она их лупцевала. И только один денщик, некто Боровский, поднял руку, чтоб защититься.

Он поднял руку, чтобы закрыть свое лицо от побоев. Он ей сказал: «Я, Нина Викторовна, весь в огне горю. Еще, говорит, один удар, и я, говорит, могу допустить крайность».

И он совершенно легко отодвинул ее от себя. Он отбросил ее от себя, чтоб не иметь соблазна пойти на крайний шаг. А она нарочно на пол упала. И такой она плач подняла, такие крики и такую истерику, что чуть не со всего района собрались люди на это сумасшествие.

И тогда Боровского арестовали и посадили в тюрьму.

8. НОВАЯ КУХАРКА

Но интересно, что после этого случая она не стала тише себя вести и продолжала своих денщиков лупцевать.

Конечно, невоенных служащих она остерегалась бить, но весьма часто замахивалась.

Один раз она даже на меня замахнулась.

Но я ей сказала спокойно и просто:

– Имейте это в виду, Нина Викторовна: если вы меня тронете, то я сама за себя не отвечаю.

А я тогда была исключительно сильная и здоровая. Я была очень цветущая. У меня, например, был медальон. Так когда я его надевала, то он у меня не висел, как обыкновенно бывает висят медальоны. А он у меня горизонтально лежал. И я его даже могла видеть, не наклоня головы. Он даже больше чем горизонтально лежал. И я даже отчасти не понимаю, как это тогда было.

Во всяком случае, я отличалась тогда исключительным здоровьем. И если б я захотела, то эту самую Нину Викторовну я могла бы вышвырнуть из одной комнаты в другую. Тем более, что она была маленькая и хрупкая. Она была красивая, но тонкая и худенькая брюнетка. И когда к нам гости приходили, то они все больше смотрели на меня, чем на нее. А это ее очень бесило и расстраивало.

Конечно, я не скажу, что я отличалась в то время какой-нибудь удивительной красотой. Но я многим нравилась. И мое здоровье останавливало на себе внимание. Я была тогда до сумасшествия здоровая.

А если говорить о недостатках, то у меня были руки,

которые мне принесли несчастье. И когда я в дальнейшем попала в Крым к белым, то мои руки меня выдали с головой. Белые сразу поняли, кто я такая. У меня были обыкновенные рабочие руки. У меня были большие мужицкие руки, которые от постоянного кухонного жара пылали тогда краснотой. И с точки зрения дворянской жизни это был крупнейший недостаток. В те времена некоторые барыни, чтоб вызвать белизну и еще больше заморить свои ручки, ставили даже к ним пиявки и надевали на ночь лайковые перчатки. Потому что труд в том обществе считается большим позором. И нельзя было иметь то, что напоминало о принадлежности к трудовому классу.

Нет, конечно, вообще говоря, красиво иметь тонкую ручку. И я ничего бы не имела против этого. Но я тогда страдала не по этой причине. А просто у меня была такая бурная жизнь и среди таких людей, которые весьма подозрительно смотрели на мои руки. И это мне мешало.

Сейчас я физическим трудом не занимаюсь, и руки у меня стали нормальные, но тогда действительно было что-то особенное. И я тогда не раз досадовала, что для достижения моей цели я не имела белых дворянских ручек с голубыми жилками, для того чтобы ввести в заблуждение моих врагов.

9. ГЕНЕРАЛЬШИНЫ ГОСТИ

Итак, я поступила кухаркой к генеральше Нине Викторовне Дубасовой.

И она была этим очень довольна, потому что я была в то время интересная, а это ее очень устраивало. Она была из

таких надменных барынь, которые любят, чтоб у них все было самое красивое, самое наилучшее. И она добивалась, чтоб у нее прислуга тоже отличалась какой-нибудь интересной внешностью.

Ей нравилось, когда гости поражались, что им открывает дверь такая миловидная прислуга. Она этим удовлетворяла свою барскую спесь и дурацкую гордость.

Но поскольку я была кухаркой, то я к гостям не должна была выходить. У нас днем двери открывали денщики, а вечером горничная.

Но баронесса непременно захотела, чтоб и я открывала двери.

И я тогда в вечерние часы стала тоже подходить к дверям. Тем более, что свою личную горничную Катю генеральша не любила к гостям выпускать, так как она и ростом и чернотой волос отчасти напоминала свою барыню. А это ее компрометировало и, вероятно, снижало в глазах знакомых.

Так или иначе, я по вечерам впускала гостей.

Но это не так долго продолжалось, потому что она сослепу приревновала меня к одному офицеру, который был ее любовником.

К ней каждый день заходил один молоденький офицерик, некто Юрий Анатольевич Бунаков. Он был хорошенький такой, как кукла.

И я раньше никогда таких не видела. Он был похож на херувима. У него на щеке была нарисована черная мушка. И губы свои он подкрашивал красной краской. И всегда ходил с маленькой коробочкой. Там у него была пудра. И он то и дело припудривался, потому что он любил, чтоб у

него была матовая кожа.

Сначала он меня просто рассмешил своей кукольной наружностью. Я даже не знала, что бывают такие изнеженные мужчины. Я хохотала, как сумасшедшая, когда в первый раз его увидела. Тем более, что он вел себя как ребенок. Он капризничал, хныкал и с головной болью валялся на кушетке.

Но Нина Викторовна была в него сверх всякой меры влюблена. Она его обожала. И от него без ума находилась. Она могла глядеть на него круглые сутки. Она считала его удивительным и небывалым на земле красавцем.

Она с ним буквально нянчилась.

И когда генерал был на фронте, то Юрий Анатольевич каждый день к ней заходил.

Он играл песенки на рояле. И напевал их вполголоса. Причем весь репертуар у него был исключительно из грустных номеров. Он чаще всего пел: «О, это только сон» и «Под чарующей лаской твоею».

Также он имел привычку твердить такие стихи (я их запомнила, потому что я их в свое время записала):

*Все на свете, все на свете знают –
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет.
И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут.
Хоть для них и решена задача –
Все умрут.*

И он при этом подкидывал в руках свой браунинг № 1, с

которым никогда в жизни не расставался.

10. ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Но, конечно, это была сплошная ерунда – то, что она меня к нему приревновала. Я на него просто никак не глядела. Вернее, мне было забавно видеть его поведение. Но он действительно иногда глаз с меня не сводил.

Он мне однажды сказал в передней:

– Это, говорит, Анюта, чересчур жалко, что среди нашего высшего общества не бывает таких, как ты. Среди нашего общества все больше высохшие мумии. И я бы, говорит, наверно, вполне исцелился от меланхолии, если б я сошелся с такой особой, как ты.

Но я рассмеялась ему в лицо и не велела ему об этом больше говорить.

А моей баронессе не понравилось, что он со мной то и дело заговаривал. Она мне сказала:

– Я, говорит, Анюта, считаю ниже своего достоинства к вам ревновать, поскольку вы для меня человек, стоящий на нижней ступени общественной лестницы, но тем не менее двери я вам больше не позволю открывать.

Конечно, я не стала от этого горевать, потому что, откровенно говоря, в конце концов плевала на них обоих.

Кроме этого молоденького офицера, которого у нас на кухне называли попросту Юрочка, к нам очень часто заходил его ближайший друг, некто ротмистр Глеб Цветаев. Этот был уже в другом духе. Он тоже отличался изнеженной красотой. Только что против Юрочки он был более веселый и энергичный и отличался хорошим здоровьем. Он был не такой квелый, как тот. А в остальном он

был вроде него. Он тоже пудрился, мазался, на щеке носил мушку и имел черные тонкие усики, как у французской кинознаменитости Адольфа Менжу.

В довершение всего он курил тончайшие дамские папироски, увлекался мужчинами и душился так, что мухи боялись к нему подлетать.

Нина Викторовна считала, что по своей небывалой красоте он может стоять на втором месте после Юрия Анатольевича. Она говорила, что даже розы могли бы распускаться под его чарующей улыбкой. И он благодаря этому то и дело улыбался. Но я в этой улыбке ничего особенного не видела. Это была деланная и фальшивая улыбка, которая исчезала, когда он отворачивался.

Интересно отметить, что впоследствии я в Крыму столкнулась с этим офицером. Он тогда был начальником контрразведки в Ялте. И он там тоже улыбался, когда глядел на мое разбитое лицо. Но об этом после.

Вместе с ротмистром Цветаевым у нас часто бывал его друг, граф Шидловский. Вот этот был большой нахал. Он ко мне часто приставал со всякой ерундой.

Но он мне был просто противен своей гладкой, сытой физиономией и своими дворянскими поворотами.

Но он, конечно, не представлял себе, что кому-нибудь он может не понравиться, в то время как я дрожала от отвращения, когда он иной раз ко мне прикасался своей рукой.

Все эти офицеры у нас почти что каждый день бывали. Они тут пили вино, танцевали, играли в карты и так далее.

Иногда у них всю ночь шло пьянство и стоял бешеный разгул. Но я даже затрудняюсь сказать, что у них там еще

было. Прислуга не имела права входить без приглашения.

А что касается Нины Викторовны, то она буквально дня не могла прожить без этих вечеринок, после которых она ходила желтая, как шафран, и целый день освежалась гофманскими каплями.

Из гостей у нас также иногда бывали разного сорта знаменитости – артистка Вера Холодная, киноактер Рунич и другие. И даже как-то раз приехал к нам из Москвы артист Вертинский. Этот пел свои знаменитые песенки. И эти песенки хватали нашего Юрия Анатольевича прямо за самое сердце, до того, что он навзрыд плакал и просил их петь до бесконечности.

Эти песенки также исключительно сильно действовали на ротмистра Глеба Цветаева, который тоже проследил за ними и сказал, что у него такое ощущение, будто погибает весь мир и нельзя никого спасти.

Такое препровождение времени у нас было всю зиму, вплоть до Февральской революции.

11. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Я по-настоящему не понимала, что такое революция. Мне об этом мало приходилось слышать.

Я редко сталкивалась с людьми, которые могли бы меня на этот счет просветить. Что касается завода, то у нас там говорили об этом, но я была тогда слишком маленькая и не разбиралась. А у кулака Деева я тоже не могла ничего почерпнуть.

Я жила как в дремучем лесу.

И вот как-то утром я пошла на базар.

И вижу, что по улицам ходят студенты и обезоруживают полицию. У меня сразу екнуло сердце. Я подумала: наверно, что-нибудь особенное произошло.

Я тогда пошла дальше и вижу, что на всех углах стояли уже студенческие посты, а полиция снята.

Тогда я спросила одного, почему так делается. И он мне сказал: «Это революция».

Но я тогда не знала, как это бывает, и решила пойти посмотреть.

И вот я пошла дальше со своей корзинкой и вдруг вижу – идет громадная толпа. Некоторые идут с винтовками, а некоторые держат красные знамена, а некоторые идут так.

И многие из них кричат: «Мы идем на Сенной базар освобождать заключенных. Все идemте с нами».

А там у нас в Киеве на Сенном базаре была огромная тюрьма, в которой было много политических заключенных.

И вот я пошла вместе со всеми. И вдруг мы все (хотя я и не знала слов) в один голос запели революционную песню и с этой песней пришли на Сенной базар и увидели тюрьму.

И тогда народ с криками побежал к зданию и стал требовать выпуска всех заключенных.

А я и некоторые другие молодые женщины залезли на забор и там сидели, наблюдая, что будет. Причем я не расставалась со своей корзинкой для провизии, потому что мне надо было кое-что закупить, чтобы к двенадцати часам дня начать готовку обеда.

И вот я сижу на заборе. И слышу страшные крики. Это народ велит открыть все двери в тюрьме.

Вдруг действительно открываются все двери и ворота, и в окнах показываются заключенные. И нам видать, что

они недоумевают и не понимают, что это такое. И думают – нет ли тут провокации.

Мы видим, что двери и ворота открыты, часовых нету, но никто из заключенных на улице не появляется.

И тогда среди народа раздаются нетерпеливые возгласы: «Выходите же!.. Верьте нам, произошла революция!»

И вот появляется первая партия заключенных. Они вышли из ворот и сразу поняли, что произошло. Один из них упал в обморок. А другой сразу же влез на забор и начал произносить речь. Он был большевик. Он долго говорил, а я сидела со своей корзинкой и слушала.

Он говорил, что в революции нужна прежде всего организация. Он сказал толпе: «Объединяйтесь в профсоюзы, и тогда вы можете бороться со своим главным врагом – с буржуазией, чтоб она вас не эксплуатировала».

И весь народ ему хлопал, хотя многие и не понимали, что это такое.

Тем временем из ворот тюрьмы вышли все заключенные. Некоторые были бледные и качались. А некоторые с криком радости бежали в толпу. И там они обнимались с родными и целовались со знакомыми.

Потом вышла целая партия уголовников. Но никакого нахальства среди них не наблюдалось. Они держали себя смирно и возвышенно, но только все время у всех стреляли папироски.

12. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

И вдруг, сидя на заборе, я увидела, что из тюрьмы вышел наш денщик Боровский. Он полгода сидел в тюрьме за

то, что защитился от побоев генеральши Нины Викторовны.

И тут я увидела, что он прямо переродился за это время. Всегда молчаливый и сдержанный, он тут вдруг самостоятельно влез на подводу и произнес речь. И многие ему тоже хлопали.

И тогда я протискалась к нему и сказала: «Здравствуй, Паша Боровский!»

Он очень обрадовался, что увидел свою знакомую. И мы с ним решили находиться вместе.

В это время среди народа раздались крики: «Идемте все к думе, там происходят исключительно важные события».

И тут мы с Боровским побежали к думе. И встали около самой трибуны.

Там было много произнесено пламенных речей. И Боровский произнес вторую речь. Он рассказал про свой случай с генеральшей и убеждал народ не доверяться буржуазии и дворянству.

Потом я посмотрела на часы и увидела, что уже четыре часа. То есть это был час, когда генеральша садилась за стол обедать. Она в смысле еды была исключительно аккуратная особа. И не любила запоздания даже в пять минут.

Тут я вспомнила, что я даже ничего к обеду не купила.

Но Боровский мне сказал:

– Сейчас безрезультатно что-нибудь покупать. Иди так домой. А если ты боишься неприятностей, то я могу с тобой пойти. И мы тогда посмотрим, что тебе Нина Викторовна скажет в моем присутствии. Хотел бы я это видеть.

Я сначала растерялась, и мной страх овладел, когда Боровский со мной пошел. Но потом мне от этого даже

стало немного весело.

И мы с Боровским пришли домой. И наши денщики форменным образом обалдели, когда увидели нас вместе. Они сказали:

– Ну, знаете ли, это уж слишком.

Но мы им объяснили, в чем дело. И среди нас поднялся горячий разговор.

И вот мы все, домашние работники, сидим в кухне и разговариваем.

Вдруг открывается дверь, и на пороге показывается Нина Викторовна, такая грозная, как она редко когда бывает.

И она так говорит, задыхаясь от злобы:

– Я не погляжу, что происходят революционные события. Мои права хозяйки остаются в полной силе. И эти права никем не могут быть нарушены. И я, говорит, всех вас в два счета к черту выгоню, если будет повторяться что-нибудь подобное.

Вот так она говорит и вдруг видит – сидит на стуле Боровский.

Тут она побелела как полотно, схватилась за дверь и прошептала: «Боже милосердный!»

Она, наверно, в этот момент поняла, что случилось. Она поняла, что произошло нечто небывалое в ее жизни.

И тут вдруг Паша Боровский встает со своего стула, и мы видим, что он нервничает. Он сильно волнуется.

Он встает со своего стула, отодвигает его тихонько в сторону и так говорит Нине Викторовне:

– Амба!

И если бы он сказал что-нибудь другое, она бы не так

испугалась. Но то, что он сказал «амба» и при этом сделал рукой отрицательный жест, это ее устрало до последней степени.

Она вскрикнула «ах», задрожала, пошатнулась и, бледная как полотно, выскочила из кухни.

И тут все денщики рассмеялись и сказали: «Вот, господа, что такое революция».

13. ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Потом вдруг в кухню вошел ротмистр Глеб Цветаев. Он сказал Боровскому со своей улыбочкой.

— Если тебя, мой друг, революция освободила, то это еще не значит, что ты, как уголовный арестант и государственный злодей, можешь тут у баронессы находиться. Я прошу тебя, мой друг, немедленно удалиться, или будут самые печальные последствия.

Боровский сказал:

— Я уйду, так как я не хочу подвергать опасности моих товарищей. Потому что если мы, господин офицер, с вами сейчас столкнемся, то они за меня заступятся. И тогда мне неизвестна их судьба. Вот почему, и только поэтому, я ухожу. Но с вами мы еще, господин офицер, встретимся. И тогда я вам преподнесу такую дулю, что вы пожалеете за свои чересчур нахальные слова.

Мы думали, что после этих слов произойдет нечто страшное. Но ротмистр Цветаев повернулся на каблуках и ушел, так хлопнув дверью, что кофейница упала с полки.

И тогда Боровский, попрощавшись с нами, тоже ушел. И он взял с меня слово, что я сегодня вечером приду в

университет на митинг, который был назначен в девять часов.

Тогда я наспех из чего попало приготовила обед, и горничная Катя подала его господам. И те пожрали в охотку и никаких замечаний не сделали.

А я, приодевшись, пошла в университет на митинг, ничего не сказав об этом Нине Викторовне, что было в то время большим преступлением по службе.

И вот я пришла в университет. Там уже было полным-полно. Выступали главным образом студенты и курсистки. Тут подошел ко мне Боровский. Он сказал:

– Ну, Анюта, не подкачай. Ты сегодня непременно выступи. Ты будешь говорить от лица домашних работниц. Это произведет фурор. Ты скажи что-нибудь хорошенькое про эксплуатацию прислуги.

Тут я форменным образом задрожала, потому что речи я никогда не говорила и не знала, как это нужно.

Но Боровский не стал слушать моих возражений. Он подвел меня к трибуне и познакомил со всеми видными революционерами, какие там были.

И один из них, по фамилии Розенблюм, сказал мне, как будто я была заправская ораторша:

– Ты, говорит, товарищ Касьянова, скажи что-нибудь о профсоюзном движении.

Тут я, скажу откровенно, совершенно сомлела, потому что я только сегодня днем впервые услышала об этом движении и еще не представляла себе, что можно об этом сказать что-нибудь определенное.

Но тут они меня привели на трибуну и представили публике.

Я не помню, о чем я начала говорить. Я только помню, что я дрожала как собака на этой трибуне. Но потом я совладала с собой и начала такую речь, что в зале произошла удивительная тишина. Все меня слушали и говорили: «Это нечто особенное, что она так говорит».

А я им развернула картину эксплуатации моего детства и сказала о теперешней жизни, которую я терплю у Нины Викторовны.

Тут я сказала, что среди нас находится еще одна ее жертва, денщик Боровский, побитый ею и посаженный в тюрьму. И тут все захотели увидеть этого Боровского.

И тогда Боровский вышел на трибуну и сказал: «Да, это так, как она сказала».

И тогда все в один голос закричали: «Скажи нам ее адрес, мы ее к черту в порошок сотрем, эту твою баронессу».

Но я сказала то, что слышала утром. Я сказала со своей трибуны:

– При чем тут адрес. Революцию надо организованно вести, надо создать профсоюзное движение, и тогда планомерно вести борьбу с буржуазною знатью.

Тут раздались такие аплодисменты, что я думала, что зал треснет пополам. Я как в чаду сошла с трибуны.

Тут сразу ко мне все подскочили. Боровский говорит: «Это что-то особенное, настолько ты исключительно великолепно говорила».

Розенблум мне сказал:

– Ты, Анюта Касьянова, пойдешь организатором в профсоюзы. Завтра приходи к думе в оргбюро и получишь назначение.

Я как пьяная вернулась домой. И я по дороге сочиняла речи, чтобы произнести их как-нибудь в другой раз.

14. НОВАЯ ЖИЗНЬ

На другой день утром меня вызвала к себе барыня Нина Викторовна.

Она мне сказала:

– Если ты хочешь у меня служить, то прекрати это безобразие. Я тебе не позволю шлаться по всяким митингам, где бог знает что говорится.

Но я сказала, что в таком случае я откажусь от места.

Она стала меня просить, чтоб я этого не делала. Она сказала, что в три раза прибавит мне жалованье и подарит несколько платьев, только чтоб у нее в доме наступили мир и тишина.

Я ей ответила:

– Вы из образованных слоев – и говорите такие удивительные глупости. Ваши слова мне смешны и напрасны. Разве вы не видите, что делается с народом? Не от моего желания зависит прекратить то или другое.

Тут в этот момент происходит звонок, и к нам в столовую входит поручик Юрий Анатольевич Бунаков. И с ним вместе ротмистр Глеб Цветаев.

Бунаков, совершенно бледный и расстроенный, ложится на диван. А ротмистр говорит:

– Что делается на улице – это уму непостижимо. Хамя столько, что пройти нельзя. Как, говорит, ужасно, что в таких варварских руках будет судьба России. А к этому идет, потому что мы против них буквально маленькая

горсточка. Стоит выйти на улицу, и вы в этом убедитесь.

Тут он увидел меня и закашлялся. Нина Викторовна говорит:

– Я с этой представительницей народа целый час бьюсь. Но она уперлась на своем, как баран. Ей милей, видите ли, уличная шантрапа, чем порядочная жизнь в высшем обществе. И, главное, она еще осмеливается мне возражать и вступать со мной в пререкания, как будто мы вместе с ней находимся на одной ступени жизни.

Тут ротмистр Цветаев сказал фразу, которую я поняла только через десять лет. Он сказал:

– Вот когда нам приходит возмездие от народа. Наши деды ели виноград, а у нас оскомина.

Юра Бунаков вскочил со своего дивана, и я удивилась, что в нем может кипеть такая злоба. Он сказал:

– Но ведь мы же не отдадим свои права без борьбы?

Ротмистр воскликнул:

– Мы будем драться до последней капли крови. Никакое соглашение тут невозможно, потому что сталкиваются два мира между собой. И то, что сейчас происходит, – это пустяки по сравнению с тем, что будет.

Нина Викторовна мне сказала:

– Аннушка, уйдите отсюда, нам не до вас.

И вот я в этот день, приготовив обед, поспешила в оргбюро.

В оргбюро уже все слышали обо мне. Мне там сказали: «Ты, Касьянова, пойдешь у нас агитатором. Ты будешь ходить среди масс и агитировать за профсоюзы. Ты революцию поняла именно так, как следует».

И тогда я спросила, со всей наивностью:

– Можно ли мне от барыни уйти?

И тут все засмеялись и сказали:

– Можно и даже нужно.

И вот я прибежала домой, сложила вещи и сказала: «Я ухожу».

Что было – это описать нет возможности. Но я выдержала бурю. И тогда баронесса, не заходя на кухню, швырнула мне паспорт. Но денег, почти за месяц, она мне не отдала.

Я хотела с ней об этом спорить, но как раз так случилось, что с фронта приехал сам генерал Дубасов. Я думала, что это здоровый, бородатый генерал, вроде бульдога. Но он оказался удивительно худеньким и маленьким. И он там в комнате все время что-то кудахтал. Он был недоволен и выражал свои взгляды на Юрочку Бунакова. Он приревновал Нину Викторовну. Но та вела себя удивительно нахально. Денщики мне сказали, что она нипочем не захотела отказать от дома Юрочке. И генералу, который обожал Нину Викторовну, пришлось смириться. В довершение всего пришедшие офицеры начали распространяться про революцию, и у них там поднялись горячие политические споры.

В общем, я не стала туда к ним соваться насчет своих денег. А просто пошла в оргбюро и получила там назначение. Мне там дали немного денег и отвели комнату. И мы условились относительно моей работы.

Я горячо принялась за эту работу. Тут мне все было интересно и занимательно. Новый мир стал открываться передо мной. Я только тогда поняла, как я жила и как весь народ жил. И как мы все находились в кабале и сами, по

своей слепоте, не замечали этого.

И вот тут, как я уже говорила, движимая ненавистью, я и поехала в деревню для переговоров с кулаком Деевым. И эта поездка мне многое объяснила. Она мне объяснила, что, кроме этой революции, может быть еще другая, народная революция, направленная против буржуазии и дворянства.

И я, вернувшись, еще с большей энергией стала работать для революции.

Я как агитатор ходила по домам и там устраивала общие собрания домашних работниц, сиделок, нянек и санитарок.

Я им произносила пламенные речи и убеждала их вступить в профсоюз для планомерной борьбы со всякого сорта эксплуататорами, за грош выжимающими масло из трудящихся.

Почти всюду меня принимали хорошо, но в некоторых местах меня хотели даже побить за слишком левые слова.

А когда были выборы по рабочим кварталам, то меня, как представительницу от домашней прислуги, выбрали в горсовет.

А в горсовете в это время были и генералы, и большевики, и меньшевики – все вместе.

И когда я туда пришла, мне там сказали:

– Примыкайте к какому-нибудь крылу. Вы кто будете?

Тут некоторые ребята из профсоюза мне говорят:

– Поскольку мы тебя, Аннушка, знаем, тебе наиболее всего к лицу подходит партия большевиков, – примыкай к этому крылу.

И я так и сделала.

15. ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

И вот осенью у нас в Киеве начались выборы на съезд, который должен был состояться в Ленинграде.

Меня, как активную работницу, выбрали на этот съезд. И с киевской делегацией я выехала в Ленинград.

Я была этим очень горда. И больше, как об этом съезде, ничего не хотела знать.

Мне перед отъездом из Киева Боровский сделал предложение, но я ему отказала. Он хотел, чтобы я была его женой, он влюбился в меня.

Но мне было не до этого. В довершение всего он мне не особенно нравился. Так что я со спокойной совестью уехала в Ленинград.

А он, я не знаю, куда делся. Я больше его никогда не встречала.

А в Ленинграде нашу делегацию поместили в здании юнкерской школы.

В Ленинград же мы приехали в самые решительные дни.

Это было дня за два до начала съезда.

Это были горячие и пламенные дни, когда решалась дальнейшая судьба революции. Это были торжественные и боевые дни для народа. Я в те дни слышала Ленина и близко видела многих замечательных революционеров. И это было для меня большое счастье. Это был праздник, на котором я присутствовала.

Мне удивительно об этом говорить. Но, если так можно сказать, я в то время не отдавала себе отчета в том, что тогда делалось.

Я кипела в котле революции, но я не сознавала полно-

стью все значение тех событий. И это был мой минус. Это меня никогда не успокаивало. Я всегда завидовала тем людям, которые сознательно вступили в борьбу. И для меня это были великие люди. Что же касается меня, то я должна признаться – я жила в то время как в тумане.

И такую великую революцию, как Октябрьскую, я встретила горячо и даже пламенно, но я тогда еще не знавала, какое это великое событие в жизни трудящегося народа.

И мне даже совестно вам признаться, что я гуляла с подругой по городу в то время, как начиналась последняя борьба против буржуазии.

Мы шли тогда с ней, с подружкой моей, по Садовой улице. И вдруг услышали выстрелы.

А мы с ней были тогда еще обыкновенные деревенские девчата, дурехи, не бывшие на фронте под обстрелом. Мы сказали друг другу:

– Давай пойдем посмотрим на стрельбу.

Мы вышли на Невский проспект и увидели демонстрацию, которая направлялась от думы к Зимнему дворцу. Это были меньшевики. Они несли плакаты: «Вся власть Временному правительству».

А наш лозунг – «Вся власть Советам». И в этом мы отлично разбирались. И поэтому мы не пошли за меньшевиками, а стали пробираться на площадь к Зимнему дворцу, где, нам сказали, имеются наши отряды большевиков.

В это время мы увидели бегущих людей, которые закричали меньшевистской демонстрации:

– Господа, не идите дальше, потому что большевики вас могут встретить огнем, и тогда произойдет ненужное

кровопролитие.

И вся колонна остановилась в недоумении, что им делать. В это время на площади снова раздались выстрелы.

И тогда несколько человек от меньшевиков пошли вперед узнать, что им делать.

Мы с подругой не могли пробраться к нашим и тогда пошли на площадь с другой стороны, где ходили еще трамваи как ни в чем не бывало.

Мы дошли до самой площади, которая была, к нашему удивлению, почти пустая.

Все наши отряды были расположены на Миллионной улице и под аркой Главного штаба.

Мы непременно захотели соединиться со своими. Мы почувствовали, что наступает что-то решительное. Но тут началась такая сильная ружейная перестрелка, что толпа, за которой мы шли, бросилась бежать назад.

Тут, в довершение нашей беды, подруга моя упала и подвихнула себе ногу. И я, взяв ее под руку, пошла с ней домой.

И мы всю дорогу слышали выстрелы, которые все больше усиливались.

В тот же вечер мы были на съезде и узнали, что Зимний дворец был взят.

16. СНОВА КИЕВ

На другой день к нам в общежитие явился Розенблюм, приехавший с нашей делегацией. Он был сильно взволнован. Он сказал, что нам следует немедленно ехать в Киев, так как там ожидаются события и захват власти больше-

виками. И что наше дело быть сейчас там.

В тот же день мы уехали из Ленинграда,

Уже на вокзале в Киеве мы узнали, что в городе идет бой, большевики заняли несколько кварталов и продвигаются на Подол.

Розенблум нам сказал:

— Хотя меня дома ожидают жена и сын и мое сердце так к ним рвется, как я даже никогда не представлял себе этого, тем не менее нам надо, не заходя домой, вступить в ряды бойцов. Кто хочет сражаться за большевизм и против Временного правительства — идемте.

И мы, оставив на вокзале вещи, пошли на Подол.

Действительно, там уже начинался жаркий бой. Юнкера, офицеры и часть гражданского населения встретили бешеным огнем киевский пролетариат.

Это сражение, как известно, решило дело в пользу Украинской рады против Временного правительства. Киевский пролетариат занял весь город, но советская власть была утверждена в Киеве только в январе, и то ненадолго, потому что тогда Киев заняли немецкие войска.

Итак, мы вступили в бой прямо с вокзала. Я тогда не стреляла, потому что я никогда не держала винтовки в руках. Но я помогала наступавшим. Я подносила патроны и бинтовала раненых.

А когда кончился бой и весь город был в наших руках, Розенблум мне сказал:

— Теперь ты выдержала такое большое испытание, что тебе надо вступить в ряды партии.

И вот он написал записку и послал меня в партийный комитет.

Там за столом сидела женщина и заполняла партийные билеты.

А к ней была порядочная очередь из рабочих, матросов и приехавших с фронта солдат.

Я стала в очередь и вскоре получила красную книжечку.

И с тех пор я стала партийной.

А тогда было для Киева исключительно трудное время.

Немецкие войска, гетман Скоропадский, Петлюра и Деникин вступали в Киев и устанавливали там свою власть.

И нам, большевикам, нельзя было сидеть сложа руки.

Только, может быть, месяца два или три до прихода немцев я жила сравнительно спокойно, не участвуя в походах и боях. Тогда был даже такой период в моей жизни, что я сошлась с одним человеком, и мы с ним поженились.

17. В ПОХОДЕ

Дело в том, что я там была знакома с одним революционером-студентом. Его звали Аркадий Томилин. Он был сын чиновника, но он был всецело на стороне пролетариата, когда мы сражались в Киеве. Я к нему питала большое уважение. И он был тоже в меня влюблен. И у нас, вообще говоря, возникло большое чувство друг к другу.

Он не был в партии, но он весь горел, когда дело шло об интересах народа. Он ненавидел дворянство и купечество. И говорил, что каждый честный человек должен биться только за трудящихся. Он говорил, что сейчас наступил такой момент, когда народ может наконец сбросить со своих плеч всех эксплуататоров, с тем чтобы работать в

дальнейшем для себя, а не для кучки паразитов. А как это будет в дальнейшем называться – коммунизм или как-нибудь иначе – это его пока не интересует. Там, в дальнейшем, разберутся и сделают именно так, как это будет полезно для трудящегося народа. А пока мы должны биться за эту ближайшую цель, хотя бы это нам стоило жизни.

Он был очень пламенный и честный человек. Он был студент-политехник. Но он курса не закончил. И мы с ним вместе вступили в партизанский отряд, когда Киев был под властью немцев и Скоропадского. А когда немцы оставили Киев (после революции в Германии), мы вступили с ним в ряды Красной гвардии.

Мы с ним вместе находились в Пластунской дивизии на Черниговском фронте.

Я была там в качестве разведчицы, а он состоял в пулеметном отряде.

Но в бою под Черниговом, когда мы брали город, он был убит белогвардейской пулей.

Я привыкла терять людей, и у меня всю жизнь были большие потери, но тут я не знаю, как я была ошеломлена. Я была растеряна и потрясена, и я так плакала, как никогда этого со мной не было и никогда, наверно, не будет в дальнейшем.

Я в то время прямо потерялась от горя, так я его любила.

А мне товарищи сказали:

– Ты, Анюта Касьянова, поклянись над его трупом отомстить за эту смерть и исполнить то, что ты наметила. И тогда тебе будет много легче, чем сейчас.

Я так и сделала.

И верно, мне тогда стало легче. Я дала себе торжественное обещание не выпускать винтовки из рук, пока не исполнятся все наши надежды.

Я тогда как с ума сошла от своего обещания. Я все время была в первых рядах сражавшихся. Я шла напролом куда угодно. Я заходила в тыл к белым и производила там опустошения. Для меня ничего не составляло тогда зайти в тыл и бросить бомбу в какой-нибудь ихний штаб. Я тогда была удивительно смелая и решительная. Для меня тогда не существовало никаких преград.

За этот период я дважды получила награды от штаба армии. Первый раз мне подарили именной браунинг, а второй раз мне подарили золотые часы. Что касается боевого Красного Знамени, то я получила его в дальнейшем.

Но тут в эти два года были такие дела, что об этом следует написать отдельную книжку из эпизодов боевой жизни.

Тут были такие боевые дела, которые, без сомнения, будут описаны историей гражданской войны.

Тут были победы и поражения. Но были и очень тяжелые моменты, когда почти вся Украина была в руках белых и когда на Ленинград наступал Юденич.

Тогда, бывало, зайдешь в штаб, чтоб посмотреть на сводки, и сердце упадет от тоски. Но зато потом мы в один месяц докатили белую армию до Крыма.

И когда мы гнали эту дворянскую Россию аж к самому Перекопу, мне тогда на ум приходили слова ротмистра Цветаева. Он тогда сказал, что приходит час расплаты и час возмездия за все то, что было. И это было действительно

так.

Но в то время я еще не знала, где находится ротмистр Глеб Цветаев и где его друг Юрочка Бунаков и наша баронесса Нина Викторовна со своим генералом.

Я о них узнала только потом, когда встретилась с ними в Крыму, в Ялте. Это было перед самым их бегством за границу.

И это был незабываемый момент.

18. ПОЕЗДКА В ЖИТОМИР

В общем, когда наши взяли Житомир и стали энергично продвигаться дальше, отбрасывая белую армию к Крыму, случилось обстоятельство, которое неожиданно выбросило меня из строя на несколько месяцев. Я тогда заболела и чуть не умерла.

Это случилось таким образом. Мне начальник нашей дивизии приказал сопровождать эшелон с больными. Он меня назначил комендантом эшелона. Мне дали это назначение, чтоб я имела некоторый отдых от боевой жизни. Все мои товарищи видели, что я прямо горела на фронте и совершенно не считалась с опасностями. Кроме того, я еще не остыла от потери моего мужа.

И вот решено было переключить мое внимание.

Начальник дивизии мне сказал:

– У нас создается сейчас опасное положение на транспорте. Нужно во что бы то ни стало продвинуть поезда с больными и ранеными внутрь. Мы тебе, Анюта Касьянова, поручаем доставить пять эшелонов в Житомир и назначаем тебя над ними старшим комендантом. И ты помни, что это

дело чрезвычайно важное и почетное – везти раненых.

В трех эшелонах были действительно раненые, в двух же эшелонах оказались сыпнотифозные больные. И начальник дивизии сам, наверно, не знал, что мне подсу-добили эти эшелоны.

Через несколько дней я уже вполне оценила всю труд-ность моей задачи.

Это у меня было совершенно невероятное путешествие. Санитары все, к черту, переболели. Уборщицы – говорить нечего. У нас даже захворали сыпняком все тормозные кондуктора, так что раненые сами тормозили состав. По-ездка этим очень осложнилась. Главное, что ухода за ра-ненными почти не было. И мне самой на спине пришлось таскать раненых и разгружать теплушки от умерших лю-дей.

Вдобавок, чтоб продвинуться вперед, надо было всякий раз добиваться паровозов и путевок.

Тут я поняла, что в боевой обстановке мне было гораздо приятнее, чем здесь. Я тут нажила себе невроз сердца, и у меня даже началась бессонница.

А одного начальника станции я просто даже чуть не застрелила.

Я пришла к нему в кабинет, а он не дает паровоза.

А мы тут уже стоим день. И тут у меня в эшелонах особенно много умирает. И я чувствую, что мне надо дви-гаться.

Я ему показываю специальный мандат, но он небрежно откидывает его рукой.

Тогда я хочу его взять на темперамент и выхватываю наган.

Я говорю:

– Скажите – будет ли мне паровоз?

Но он, не растерявшись, хладнокровно говорит:

– Глядите, она мне еще смеет угрожать. А ну-ка, спрячь свой пистолет за пазуху, или мы тебя с дежурным по станции выкинем в окно. Каждая, говорит, бабенка начнет мне пистолет в морду совать – что и будет. Вот именно за это я тебя проучу и не дам тебе паровоза.

Тогда я прихожу в такое страшное раздражение, что почти в упор стреляю в начальника станции. И пуля всаживается в стену буквально на расстоянии двух сантиметров от его лица.

И он вскакивает из-за стола и молча, без никакого крика, убегает из помещения.

Я кричу:

– Я вас всех тут, к свиньям, перестреляю.

Тут все забегали, засуетились.

Дежурный по станции говорит:

– Успокойтесь. Паровоз я вам дам во что бы то ни стало.

Действительно, минут через двадцать мне дают паровоз.

И начальник станции тоже вышел к прицепке. Но он не смотрел в мою сторону. И мне от этого было вдвойне со-
вестно, что я так сильно погорячилась.

Я тогда перед самой отправкой велела ему отнести полбуханки хлеба. Он, поломавшись, принял этот хлеб с благодарностью и даже сделал мне приветствие ручкой.

В общем, я предпочла бы находиться на фронте, чем проталкивать поезда. Однако мне надо было исполнить задачу.

И я эту задачу с честью выполнила.

Правда, в пути у меня четверть людского состава перемерла, но могло быть и хуже.

Так или иначе, я доставила эшелоны в Житомир.

В Житомире я пошла в баню. Вымылась. Вышла на улицу. И на улице упала в обморок. И тут начался со мной страшный бред.

Меня отнесли в больницу. И оказалось, что у меня сыпной тиф в крайне опасной форме. Я вскакивала с кровати, разбивала, к черту, все стекла, и так далее.

Я почти полтора месяца болела. Но потом поправилась. То есть я настолько плохо поправилась, что еле могла два шага сделать.

А в семидесяти километрах от Житомира жил дядя моей знакомой киевлянки Лели, с которой я тут неожиданно столкнулась в больнице.

Она мне предложила вместе с ней поехать в деревню к этому дяде отдохнуть немножко. И я так и сделала.

Мне в штабе дали отсрочку, дали немного денег, и я вместе с Лелей поехала в деревню, к ее дяде, который довольно мило и сердечно нас встретил.

И я там у него за две с половиной недели удивительно быстро поправилась, подкрепилась, расцвела и снова решила вступить в дело, так как гражданская война еще не была закончена.

19. ОПАСНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Я тогда снова приехала в Житомир, но там мне в штабе сказали, что обо мне был запрос из Екатеринослава. И что я

должна немедленно туда ехать, согласно полученной телефонограмме.

Я приехала в Екатеринослав и явилась в партийную организацию.

Один из работников губкома, мой однофамилец Касьянов, Петр Федорович, очень внимательно меня встретил. Он сказал, что у них до меня есть большое дело. Тут он познакомил меня с двумя военными, прибывшими с фронта из-под Перекопа. И сказал, что сейчас совершается исторический момент в судьбе пролетарского движения. Он сказал, что сейчас советская Россия почти чиста от дворянских и буржуазных войск. Вся страна в руках народа, и расцвет страны – недалекое будущее. Но Крым пока еще в руках врага, в руках генерала Врангеля, в руках офицеров, дворян и помещиков. И пока это так, ни в коем случае нельзя складывать оружие.

– Этот фронт, – сказал один из военных, – надо ликвидировать к зиме во что бы то ни стало. Крым сейчас у нас – бельмо на глазу. Мы гнали барскую Россию аж по всему фронту. И не дело, что у нас тут случилось нечто вроде заминки. Пора опрокинуть в море белую армию, засевшую на полуострове.

Тогда Касьянов добавляет:

– И в связи с этим у нас есть очень ответственное до тебя дело. Нам известно твое славное прошлое, и нам хорошо известна твоя боевая готовность и преданность народной революции. Генерал Кутепов зверски разгромил рабочую организацию Симферополя и многих повесил на фонарях. И мы в настоящий момент потеряли связь с нашей подпольной организацией в Симферополе и Ялте. Туда

надо каким-нибудь образом пробраться. Надо товарищам передать деньги и сообщить кое-какие инструкции о дальнейшем... Можешь ли ты это сделать? Мы наметили тебя, и никого больше, потому что сейчас в Крым можно пробраться только через линию фронта. А ты можешь в крайнем случае назваться супругой офицера или что-нибудь вроде этого. Одним словом, тут мужчина не годится, а годится женщина...

И он поглядел на меня и одобрительно добавил:

— Такой наружности, как твоя. И такой храбрости, какая нам известна за тобой.

Для меня был не вопрос, соглашаться или нет. И я сразу ответила:

— Хорошо, я перейду к белым и все сделаю так, как нужно.

Он сказал:

— Но мы не знаем, как они отнесутся к тебе, если они тебя поймают. Вернее, тогда они...

Тут он еще раз вскинул на меня свои глаза, и я вдруг увидела, что он вздрогнул. Он как бы в первый раз на меня посмотрел. И я вижу, что он посмотрел так равнодушно и с таким глубоким волнением, что я смутилась.

И тут я вижу, как может видеть женщина, что я так ему понравилась, как это редко случается. Тут я увидела, что у него в одно мгновение сгорело от меня сердце. Он положил свою пылающую ладонь на мою руку и так от этого застыдился, что не знал, что сказать. И тут все присутствующие увидели, что происходит что-то не то. Все закашлялись. И он тоже закашлялся, встал со стула и прошелся по комнате.

Мы все ждали, что он скажет. И я подумала: «Только бы

он не сморозил какую-нибудь несообразность».

Но он сказал:

– А если твое здоровье, товарищ Анна Касьянова, не в порядке, то тебе ни в коем случае на это не надо идти. Мы тогда найдем еще кого-нибудь на этот предмет.

Я сказала:

– Здоровье мое теперь вполне порядочно. И то, что сказано, я исполню с большой охотой и радостью.

Один из военных сказал:

– Давайте так условимся: мы доставим вас завтра на передовые позиции, изучим с вами план, и потом уж можно будет перейти.

Касьянов пошел проводить меня до лестницы, и там он мне сказал:

– Когда ты вернешься из Крыма, то, если можно, я бы хотел тебя увидеть... Я, говорит, смущаюсь об этом говорить, но ты перед собой видишь человека, который, кажется, полюбил тебя с первого мгновения. Я сам удивляюсь, что это так произошло. Но ты именно такая женщина, какая отвечает моим представлениям. И для меня, говорит, была бы большая и непоправимая потеря в жизни, если б я тебя потерял из виду.

Если говорить откровенно, то я была взволнована его словами. Я не могу сказать, что он, этот сорокалетний мужчина, мне тогда понравился, но я тем не менее, сама не знаю почему, согласилась с ним увидеться после возвращения. Хотя это было не в моем принципе. Уж если человек мне предельно не понравился, так это было не в моем характере что-нибудь ему обещать.

В общем, мы с ним попрощались и дали друг другу обещание не забывать сегодняшнего дня.

20. НОЧНОЙ ПЕРЕХОД

В этот же вечер мне дали пояс с деньгами, которые я должна была передать подпольной симферопольской организации. Потом мне дали точные инструкции и велели наизусть запомнить два адреса – в Ялте и в Симферополе. По этим адресам я должна была явиться и передать инструкции и распоряжения о возможных стачках в Крыму.

Затем я потребовала, чтоб мне выдали самое лучшее шелковое белье, хорошее платье и все, что полагается к наилучшему гардеробу. Мне хотелось быть подкованной до мелочей. И, на случай ареста, я решила выдать себя за женщину, бежавшую из советской России. Я решила сказать, что я жена офицера или что-нибудь вроде этого.

Мне выдали из конфискованных вещей такие дивные вещи, какие я только видела у баронессы Нины Викторовны.

Кроме того, мне дали для дворянского шика одно кольцо с розовым камешком и одну браслетку.

Но когда я стала эти украшения надевать на свои руки, загрубелые от кухни, то я поняла, что версия об офицерской жене, пожалуй, мне не пригодится.

Но я пока не стала обдумывать, за кого я себя выдам. Я почему-то надеялась на полный успех. Я надеялась, что я, пользуясь своим опытом разведчицы, проникну без ареста на территорию белых.

Я вызубрила два адреса. Надела пояс таким образом, что в случае чего я могла его в один момент сбросить.

Я еще хотела непременно надеть лорнетку с цепочкой,

как это бывало у высшей аристократии, но лорнетку мне не нашли и вместо этого дали хорошенький перламутровый бинокль, тоже дивной художественной работы.

На другой день меня доставили на позиции к самому Перекопскому перешейку.

Сначала я решила было переходить в районе железнодорожного моста, но начальник дивизии товарищ Грязнов отсоветовал мне это делать. Он сказал, что вся линия полотна особенно тщательно проверяется и что надо поискать иных ходов, потому что тут нет ни одного шанса пройти незамеченной.

И тогда, изучив план всего фронта, мы решили, что следует перейти в другом месте, около укреплений, которые, кажется, если я не забываю и не путаю, называются Юшуньскими.

Это место было до удивительности открыто. То есть тут было почти сплошное ровное место вроде степи. Так что в смысле перехода тут, казалось, до поразительности трудно было что-нибудь сделать. Однако тут имелось болото. И местами оно было как бы даже скрыто от глаз. И я, как разведчица, сразу оценила это обстоятельство. Тут, видимо, и охраны было наименьше всего, и переход был отчасти возможен.

Во всяком случае, все другие места не выдерживали критики в сравнении с этим.

Интересно, что через четырнадцать лет, в 1935 году, в этом болоте были найдены остатки трупа красноармейца. Он был с большими почестями похоронен. Это одно говорило за то, что, несмотря на ровную позицию, тут были места, до некоторой степени укрытые от глаз.

Еще была возможность перейти по самому берегу Сивашского Гнилого моря. Но это меня менее устраивало, потому что там надо было около двух километров шлепать по соленой воде.

Так что я со спокойной душой решила остановиться именно на выбранном болотистом месте.

Я два дня изучала план неприятельских позиций. Вся моя задача заключалась в том, чтобы под покровом ночи постараться незаметно пройти через неприятельскую укрепленную линию. Для этого мне надо было перерезать проволочные заграждения и пройти в том болотистом месте, которое наименьше всего охранялось. И если бы я в том месте попала, тогда мне пришлось бы начать свое вранье о бегстве от советского режима. Но это было бы уже плохо. Только дурак поверил бы, что я для этой цели могла пройти через красных. Тем не менее иного выхода для перехода к белым не было.

В общем, если я пройду в тыл незамеченной, то дальше было бы просто – у меня в поясе были такие документы, что сам барон Врангель ахнул бы от удивления.

Я много мучилась с костюмом. Я их переменила несколько штук. Мне все хотелось, чтобы было естественно. Но особенно естественно не получалось. Тогда я остановилась на своем обыкновенном потрепанном платье. Но зато под платье я надела шелковое белье. И теперь я была более похожа на тоскующую женщину, бежавшую от советской власти.

Но вот наконец все было готово, и в ночь на двадцать восьмое сентября, в одиннадцать часов ночи я вышла из наших окопов.

Наш патруль провел меня шагов двести и оставил в поле с одним разведчиком, который в совершенстве знал всю эту местность.

Было ужасно темно. Луны не было. Неприятельские ракеты по временам ярко освещали поле. Сердце мое учащенно билось. Но страха я не чувствовала. Наоборот, был прилив энергии и желание поскорей и наилучшим образом все сделать.

Мой разведчик тронул меня за руку, и мы с ним медленно и осторожно пошли.

Наконец мы наткнулись на проволочные заграждения. Мы с разведчиком ножницами перерезали колючую проволоку и пошли дальше. Кое-где раздавались выстрелы. И снова сверху стали взвиваться ракеты.

Наконец, пройдя еще шагов сто, мой разведчик дал наставление, куда мне идти дальше, и, попрощавшись со мной, удалился.

Я осталась одна. Кругом меня было болото. Я шла страшно медленно и с таким трудом, что, казалось, теряла силы. Я шла по направлению звезды, указанной разведчиком.

В одном месте я лежала на кочках минут двадцать. Я так устала и утомилась, что мне вдруг захотелось тут заснуть. Я с трудом прогнала это сонное настроение и пошла дальше. Но тут вскоре я увидела, что ракеты взвиваются к небу позади меня. Значит, я миновала уже неприятельские позиции. Это был невероятный случай, но это был факт, и эта честь принадлежала нашему опытному разведчику.

Я шла теперь по ровному полю. Прошла немного более версты и вдруг наткнулась на какую-то деревянную будку.

Это было настолько неожиданно, что я чуть не вскрикнула.

Я шарахнулась в сторону. Но в этот момент кто-то закричал:

– Стой! Кто идет?

Я знала, что молчать нельзя. Я сказала:

– Вот что – я пробираюсь к белым.

Тут раздались быстрые шаги, ко мне подбежали двое.

К моему удивлению, это были офицеры. Я была готова к аресту, но я предполагала, что меня арестуют солдаты. Мне было бы с ними легче договориться. Но тут были офицеры в золотых погонах и с шашками. Это меня неприятно поразило.

В этот самый момент на небе появилась луна, и стало довольно светло.

Один из офицеров схватил меня за плечо и стал трясти. Он был, видать, испуган неожиданностью и взбешен. Он закричал:

– Ты кто такая? Ты как сюда попала?

Другой офицер сказал:

– Ясно, что это красная дрянь. Больше тут некому шлаться.

Я спокойно ответила:

– Пойдемте, господа, в штаб. Я там скажу.

Мне хотелось выиграть время. И сама не знаю, на что я тогда надеялась.

Я сказала офицерам:

– Я пробираюсь, господа, в Симферополь по своим личным делам. Я бежала от красных.

Они засмеялись и сказали:

– Что-то не похоже. Пойдем, однако, в штаб дивизии.

Но они стали уже более вежливы.

И мы с ними пошли в штаб.

Моей усталости как не бывало. Я лихорадочно обдумывала план действия. Ни о каком бегстве не могло быть и речи. Офицеры с наганами шли плечо к плечу.

Прежде всего мне надо было освободиться от пояса.

Пояс находился у меня под платьем, и он был так устроен, что его легко можно было сбросить.

Я незаметно провела рукой по животу. Пояс скользнул по моему шелковому белью и по ногам и мягко упал на траву.

Офицеры не заметили.

Мне стало вдруг так жалко денег и документов, что я чуть не расплакалась. Но делать было нечего. Надо было спасти шкуру для дальнейшего.

Тут я подумала, что надо бы, на случай, запомнить место, где упал пояс. Но как это, черт возьми, сделать?

Я стала считать шаги. Мне хотелось сосчитать шаги вплоть до какого-нибудь особенно характерного места, которое я могла бы запомнить.

Я сосчитала семьсот пятьдесят шагов, и вдруг мы вышли на полотно железной дороги. Я снова стала считать шаги. И до столба с номером семьдесят шесть я сосчитала сто шагов.

После чего я стала думать о своем предстоящем вранье.

Мне вдруг вспомнился интересный факт из моего не-

давнего боевого прошлого.

У нас на фронте под Черниговом был задержан белый офицер, некто полковник Калугин. Он был молодой, лет тридцати. И он нас удивил своим поведением.

Он держал себя очень смело и непринужденно, когда его привели в штаб.

Его спросили, для какой цели он перешел к нам.

Мы ожидали от него услышать всякое вранье, но он так сказал:

– Да, я по убеждению белый офицер. Я скрывать от вас не буду, что я с революцией ничего общего не имею. Но в данном случае я прошу поверить моему честному слову – я перешел к вам отнюдь не по делам военным или политическим. Я питаю большую любовь к одной женщине, которая осталась при отступлении в Орле. И у меня такое к ней неудержимое чувство, что я решил повидать ее. Если вы меня отпустите с ней назад – я по-человечески вам буду исключительно благодарен и не буду с вами сражаться. Если нет – я останусь тут с ней. Если вы, конечно, помилите меня и не расстреляете. Я знал, на что шел.

Эти речи нас всех привели в удивление, и мы не знали, что подумать.

На полевом суде этот полковник Калугин на все вопросы отвечал с достоинством, но настаивал на своей любовной версии.

Однако суд не нашел причин для помилования и приговорил полковника к высшей мере. Причем прокурор ему сказал:

– Мы хотели бы, полковник, уважить вашу последнюю просьбу. И, если вы найдете нужным, мы передадим вашей

любимой женщине то, что вы захотите, – карточки, вещи и последний привет. Это делает вам честь так любить. Но вы наш враг, и мы не имеем права поступить сейчас иначе.

На это полковник рассмеялся и сказал:

– Неужели вы могли думать, что в такой момент, когда решается судьба России, русский офицер мог пришиться к бабьей юбке?.. Никакой женщины нет... Это была моя выдумка, чтоб вас провести... Не удалось – не надо. Я готов умереть.

Это так нас всех удивило, что мы были ошеломлены. И мы тогда поняли, что поражение белых под Черниговом нельзя рассматривать слишком просто. Враги, несмотря на свою дряблость, имели сильных и весьма мужественных людей. И было бы политической ошибкой думать, что там были только сор и мусор.

И вот, когда меня офицеры вели в штаб дивизии, я подумала об этом случае. И мне показалось, что было бы хорошо рассказать в штабе о какой-нибудь подобной любовной истории. И если мы поверили, то, может быть, и тут поверят.

И, когда я пришла к решению рассказать в штабе что-нибудь из любовных приключений, мне сразу стало на душе легко, и я уже не сомневалась в успехе.

В это время один из офицеров грубо схватил меня за плечо и велел остановиться. Мы стояли теперь у какого-то домика. Вероятно, тут был штаб дивизии.

Было еще темно, но небо начинало немного проясняться. Вероятно, было около пяти часов утра.

22. ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Меня почему-то не стали тут допрашивать. Меня только тут обыскали в высшей степени грубо и нечутко. Но ничего не нашли.

А после обыска я полчаса сидела на ступеньках, а против меня стоял офицер с наганом и в упор меня разглядывал. А другой офицер куда-то ушел.

Наконец он явился и сказал:

– Генерал велел отвезти ее в Джанкой. Один из нас должен ехать. Если хотите, поручик, то поезжайте.

Мы прошли с этим поручиком несколько километров пешком и наконец сели в товарный состав, который и доставил нас в Джанкой.

Откровенно говоря, я была так утомлена ночной передрыгой, что сразу, как камень, заснула на полу теплушки. И когда проснулась, мы стояли уже в Джанкое.

В общем, минут через десять я была уже на допросе. Меня допрашивал некто полковник Пирамидов, перед которым навтыжку стоял приехавший со мной офицер.

По-видимому, этот полковник был начальником контрразведки или что-нибудь вроде этого.

Узнав от офицера подробности, он отпустил его и, оставшись со мной в комнате, любезно начал беседовать. Но его любезность меня не успокоила. Я увидела, что он даже не посмотрел на меня сколько-нибудь внимательно. И это меня отчасти устрасило. Это была игра без козырей. Наверно, после ночной передрыги я выглядела ужасно. Я чувствовала, какая я была грязная и растрепанная, как ведьма.

Полковник расспрашивал меня о том о сем, и я ему на

все отвечала как находила нужным.

Я ему собиралась сказать что-нибудь правдивое, соответствующее моменту. Я хотела сказать, что я ищу офицера, которого люблю больше жизни, и благодаря этому перешла сюда. Но в последний момент, несколько растерявшись, не совсем так сказала. Я сказала, что я жена офицера, который тут, в Крыму.

Он спросил: «А как его фамилия?» И я отвечала: «Он носит фамилию Бунаков, Юрий Анатольевич».

– А какой он воинской части? – спросил меня полковник. – Что-то мне знакомая фамилия.

Я сказала:

– Он поручик лейб-гвардии конной артиллерии.

Полковник Пирамидов, засмеявшись, сказал:

– Вы это хорошо изучили. Только извините меня – быть того не может, чтоб вы были его жена.

И он посмотрел на мои мужицкие руки. Я сказала:

– Вернее, я его любовница. Он меня бросил. Но я его так люблю, что я решила его обязательно найти. Я с ним два года жила. И теперь так по нем тоскую, что места себе не нахожу.

Тут я увидела, что полковник Пирамидов мне не особенно верит. Он начал со мной шутить, задавать забавные вопросы и выпрашивать мое прошлое.

Потом он грубо сказал:

– Я тебя посажу в подвал. И ты подумай хорошенько, что именно тебе следует рассказать. А если ты, скотина, ответишь мне по-прежнему враньем, то это факт, что я тебя пошлю путешествовать на небо. Мне наконец надоела твоя наглая ложь. Уж за одно, что ты назвалась женой гвар-

дейского офицера, тебе следует хорошенько всыпать.

Он позвал вестового. И тот отвел меня в соседний дом и там меня бросил в подвал.

А когда меня вели к подвалу, один какой-то белообрый офицер с огромным любопытством посмотрел на меня. И я видела, что он хотел даже подойти ко мне, но конвойный не разрешил ему это сделать. Мне было тогда не до того, и я не обратила на это особого внимания.

Подвал, куда меня сунули, был с крошечным оконцем, в которое едва могла пройти кошка.

Я была ошеломлена и растеряна. Я понимала, что дело со мной исключительно плохо и все, вероятно, кончится расстрелом. Я себя ругала за нетвердые и дурацкие ответы. И за то, что не могла сочинить поскладнее любовную историю.

Однако надо было выпутываться. Я решила ни в коем случае не признаваться, так как тогда моя гибель была бы неизбежна. Я решила настаивать на любовной версии.

Я сидела в подвале на куче мусора и камней и обдумывала, как мне вести себя и что говорить при следующем допросе.

Вдруг я услышала музыку. Кто-то играл на баяне.

Я подошла к окну и увидела, что по двору гуляет сам полковник Пирамидов.

Он сентиментально гулял, заложив свои барские руки за спину. Он был очень такой, что ли, задумчивый и грустный.

Позади него шел солдат, который на ходу играл ему на баяне.

Солдат играл исключительно хорошо. Он играл

народные песни.

Потом он заиграл такую песню, от которой я неожиданно заплакала. Я не знаю, что это за песня. Я ее раньше никогда не слышала. Она начиналась со слов:

*В голове моей мозг иссыхает,
Сердце кровью моей облилось...*

И так далее, что-то в этом духе.

Это было совершенно не в моем характере – плакать. Но у меня после допроса нервы были до того расшатаны, что я разрыдалась от этой песни. Очень уж она была какая-то особенная. И солдат пел таким тонким голосом, что у меня сердце переворачивалось.

Но, поплавав, я снова взяла себя в руки. Эта моя минутная слабость сыграла даже хорошую роль. Я дала себе слово не падать духом ни при каких обстоятельствах. Что из того, что я буду плакать и убиваться. Лучше я сохраню силы на предстоящую борьбу. Лучше я буду бороться до самой последней возможности. И подороже и с пользой продам свою жизнь, которая принадлежит не мне, а революции.

Эти мысли меня успокоили. Мне снова стало легко и просто.

Поздно вечером за мной зашел какой-то молодой офицер. Он был со мной до неприятности вежлив. Он сказал:

– Сударыня, вас приглашает полковник Пирамидов. Идемте за мной.

23. ВТОРОЙ ДОПРОС

Полковник Пирамидов начал со мной говорить сначала весьма любезно. Он мне предложил сесть и велел подать чашку чаю.

И я начала пить чай и слушала, что полковник мне говорит. Он говорил мне о слишком ответственном моменте, когда поставлена на карту судьба всей России, и сказал, что если им придется покинуть Крым, то страна будет растерзана на части другими государствами.

Я ему хотела возразить, но сдержалась. На этом он меня бы поймал.

Когда я кончила пить чай, полковник Пирамидов ударил кулаком по столу. Он вскричал:

– Ты обманщица и негодяйка! Теперь мне совершенно ясно, что ты подослана к нам. Я непременно тебя сегодня расстреляю.

Я сказала:

– Вы, полковник, опрометчиво решаете.

– Я тебе дал чай, – закричал полковник, – с тем, чтобы тебя испытать. Это вранье, что ты была два года любовницей гвардейского офицера. Ты пила чай как мужичка. Я велел тебе подать сахарный песок вместо рафинаду. И ты его брала ложкой, вместо того чтобы положить в чай. Ты никогда не сидела за одним столом с порядочным человеком. Я даже не могу допустить, чтоб штаб-ротмистр Бунаков два месяца с тобой жил. Давай прекрати это бесстыдное вранье и скажи так, как есть. Ты зачем перешла позицию?

Я была ошеломлена до последней степени, потому что выводы полковника были абсолютно неправильны. Я сахар

не положила в чай не потому, что я не знала этих великосветских правил. На это я достаточно насмотрелась в бытность свою у баронессы. А я не положила сахарный песок в чай потому, что я привыкла его экономить. Тогда был голод, и у нас вообще ни у кого не было привычки пить внакладку.

Я ела сахар с ложечки и пила чай как бы вприкуску. И то, что полковник построил свои выводы на чепухе, это меня почему-то в особенности оскорбило. Я была до того этим ошеломлена, что буквально не нашлась что-либо сказать.

И мое молчание меня отчасти погубило.

Полковник Пирамидов закричал:

— Я тебя спрашиваю, нахалка, зачем ты перешла позицию?

И хотя я была ошеломлена, но сказала твердо:

— Я перешла позицию, чтобы встретиться с человеком, которого я люблю больше жизни.

Полковник закричал на меня страшным голосом:

— Ты врешь, негодяйка! Твои мужицкие руки выдают тебя с головой. Ты этими грязными руками подбираешься схватить нас за горло. Ты такая некрещеная тварь, какой свет не видел... А то, что ты мне позволяешь так с собой говорить, еще раз убеждает меня в моем подозрении. Ты большевичка. На тебе даже, я уверен, креста нет.

И он с такой силой рванул мое платье, что разорвал его до живота. И сам он был такой страшный, что я подумала — он меня убьет.

Но я сама почему-то была взбешена, когда он меня назвал некрещеною тварью, хотя мне это было, в сущности,

решительно все равно и на это было в высшей степени смешно обижаться. Но мне надо было на чем-нибудь сорвать свою злобу. И поэтому я ему сказала:

– Меня крестили, а тебя, я вижу, в помойную яму опустили.

Он рванул меня за плечо и другой рукой со всей силы ударил по лицу. Кровь брызнула у меня из носа и изо рта. И я выплюнула два зуба.

– Боже мой! – закричал полковник.

Он упал в свое кресло и схватил свою голову руками. Он сказал:

– Боже мой! Если бы пять лет назад кто-нибудь посмел сказать, что я ударю женщину, я бы застрелил такого негодяя... Слушай, ты... – сказал он мне. – Ты своим наглым упорством довела меня до сумасшествия... Я не должен был тебя бить таким образом, как бьют мужчину. Вот за это я тебе никогда не прощу.

Я молчала.

Он снял со своей руки кольцо и с дикой злобой бросил куда-то в угол. Он сказал:

– Негодяйка! Я на этом кольце носил такой девиз, который воспрещал мне грубое физическое воздействие над женщиной. Я окончил Павловское военное училище, и этим все сказано. Ты меня толкнула поступить против девиза. И теперь я тебя во что бы то ни стало велю расстрелять.

В этот момент в дверь кто-то постучал.

– Нельзя! – диким голосом закричал полковник.

За дверью кто-то сказал:

– Слушай, Пирамидов. Одну минуту. Крайне важное

сообщение.

Дверь открылась. В комнату вошел офицер. И тут я увидела, что этот офицер – ротмистр Глеб Цветаев.

Он был в таком же виде, как и всегда. Он был красивый и чудно одетый, и черные усики оттеняли его лицо. Он поморщился, когда меня увидел. Но он не узнал меня. Мое лицо было разбито и в крови, платье разодрано, и вся я была грязная и выпачканная, как черт.

Он сказал улыбаясь:

– Фи, полковник. Ну как можно так. Что за методы...

Он вытащил из кармана батистовый носовой платок и бросил мне, чтоб я вытерла лицо. Я не стала этого делать. Я боялась, что он меня узнает. И тогда мое вранье о Бунакове окончательно обнаружится. Я сидела на лавке, закрыв лицо руками.

Полковник сказал:

– Это красная. И я в этом совершенно уверен... Наше положение столь напряженно и тревожно, что я немного понервничал.

Ротмистр Цветаев сказал:

– Ты знаешь, меня назначили начальником контрразведки в Ялту. Сейчас еду... А что касается нашего положения, то оно хуже, чем ты думаешь... Я сейчас от Кутепова. Тот взбешен и в ужасном виде... Как страшно все это, Пирамидов! Какой жуткий исторический момент. Мы, крошечная кучка цивилизованных людей, отступаем под натиском мужицких войск... Мы пока держимся на маленьком полуострове... Но сколько это может продолжаться...

Полковник сказал:

– Я тоже думаю, что наша судьба решена. Да, мы – последние римляне. Мы последний оплот цивилизации. Дальше – мрак и средневековье. Хорошенький момент, черт возьми.

– Кажется, пришло возмездие, – сказал ротмистр Цветаев.

И он снова повторил фразу, которую я слышала от него: «Деды ели виноград, а у нас оскомины».

У меня вертелось на языке возразить этим офицерам. Мне хотелось сказать о новой, прекрасной цивилизации, которую несет трудящийся мир. Мне хотелось сказать: да, господа, пришло возмездие, пришел час расплаты за все беды, за все несчастья, которые терпел народ от своих притеснителей, от своих бар и помещиков.

И хотя я сама тогда была не слишком-то подкована в этих вопросах, но мне захотелось им сказать, как они ошибаются в своих воззрениях.

Ноя, конечно, не посмела ухудшить свое положение. Моя жизнь принадлежала не мне. И поэтому я молчала. Хотя меня раздирали слова и я еле сдерживалась, чтоб молчать.

Полковник Пирамидов крикнул вестового. Потом пришел какой-то офицер, которому Пирамидов шепотом отдавал длинные приказания.

Этот офицер сказал мне: «Идемте».

И мы вышли из помещения.

24. НЕОЖИДАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

Через полчаса они со мной разыграли весьма некраси-

вую комедию. Они разыграли сцену расстрела. Они хотели выпытать от меня то, что я от них скрывала. Они подумали, что перед дулом винтовки я непременно упаду духом и тогда им во всем покаюсь.

Они отвели меня в какой-то сад и там поставили к дереву. И скомандовали: «Пли!»

А перед этим они сказали, что помилуют, если я им признаюсь. Причем они били меня плетью и шомполом, чтоб я им все сказала. Они меня били по плечам и по спине. И я молча сносила эти удары.

Я рассчитывала, что если я сейчас признаюсь, то тогда-то уж непременно мне будет крышка. И поэтому, когда они задавали вопросы, я снова настаивала на своем, хотя под конец я уже теряла силы и сознание. Я еле стояла от боли, негодования и страха смерти.

Они мне сказали, наведя на меня винтовки:

— А ну, произноси свое последнее слово. Уж теперь-то тебе все равно крышка.

Я им ответила:

— Свое последнее слово я вам уже сказала. Но если тем не менее вы меня теперь все же решили пристрелить, то вы есть подлые негодяи. И это есть самое напоследнее мое слово, произнесенное в этом мире.

Они страшно поразились моему упорству. Я видела, как они пожимали плечами и недоумевали, и я уж не знаю, что они подумали. Они выстрелили в меня поверх головы. И я упала. Я думала, что я убита, или ранена. Но оказалось, что не то и не это. И они меня снова отвели в подвал и там бросили.

Первые два дня я, откровенно скажу, лежала почти без движения. Я не прикасалась даже к еде и только пила воду.

Но потом мне стало лучше. Я, сколько возможно, привела себя в порядок. И тогда почувствовала такой прилив энергии, что мне захотелось убежать.

Я попробовала раскачать камень у подвального окошечка. Он не поддавался моим усилиям. Но я не теряла надежды.

Вдруг я увидела, что кто-то на оконце положил ветку винограда.

Это меня удивило. И я подумала – неужели среди тигров нашлась мягкая душа?

Так или иначе, я скушала этот виноград. И снова стала готовиться к побегу.

Но вот кто-то из офицеров подошел к подвалу и мне сказал:

– Выйдите наверх, мне надо с вами поговорить... А если вы так слабы, что не можете подняться, то я вам помогу.

Меня рассмешили эти слова. И я, забывши о своем надуманном положении, сказала:

– Мерси, я не нуждаюсь в посторонней помощи. Это ваши офицерские дамы не могут обходиться без поддержки, а я, говорю, еще чувствую себя довольно порядочно.

Однако я слишком понадеялась на свои силы. И когда я вышла из подвала и очутилась в саду, у меня так голова закружилась, что я чуть не упала. Но я не хотела перед своим врагом показать свою слабость. Это было не в моих привычках. И, чтобы скрыть свое головокружение, я нагнулась и сорвала два каких-то цветочка.

Офицер сказал:

— На вас приятно глядеть — какая вы здоровая, энергичная и сильная женщина. Другую совершенно бы подломила вся история, подобная вашей. А вы вышли из подвала и стали цветы собирать как ни в чем не бывало. Эта живость меня восхищает до последней степени.

Я говорю:

— Если вы, господин офицер, решили мне тут делать комплименты, то я удивляюсь, что вы избрали такой момент. Лично, говорю, мне не до этого.

Офицер, засмеявшись, сказал:

— Мне и эти ваши резкие слова весьма нравятся, и они находят отклик в моем сердце. Они опять-таки показывают вашу большую моральную силу.

Тогда я с удивлением посмотрела на моего собеседника.

Я увидела перед собой офицера лет тридцати. Это был тот самый офицер, который хотел ко мне подойти, когда меня вели в подвал. Он был белобрысый и некрасивый. У него были маленькие свинячие глаза и физиономия одутловатая и нездоровая, со шрамом на щеке.

Он сказал:

— Если говорить откровенно, то я наблюдал за вами все эти дни. Я не скрою от вас, вы мне понравились с первого же момента. Вы мне напомнили мою жену, которая бросила меня в Киеве... Она была вроде вас, такая же сильная и непреклонная. И я единственно уважаю в жизни — это силу и здоровье. Все остальное меня не волнует... Я сам крестьянский сын, сын полей и природы... Но что вы видите в настоящий момент перед собой? Я дня не могу прожить, чтобы не заправиться кокаином. И без этого я

весь развинченный и в таком виде, что вы бы удивились... Да, я где-то потерял свою силу, но я продолжаю восхищаться, когда это вижу у других.

Я сначала подумала, что этот человек что-то вроде провокатора и что он, наверно, подослан меня испытать. Но с каждым его новым словом я видела, что это вроде как одержимый. Не то чтобы это был ненормальный, нет, он был просто во власти своих психических представлений, занюханный кокаином и ослепленный своей идеей.

Он сказал:

– Я прошу вас, мадмуазель, не удивляться моим словам. Мне полковник Пирамидов обещал освободить вас в том случае, если вы...

И он, замаявшись, добавил:

– Если вы... в общем, он освободит вас, если кто-нибудь из господ офицеров будет с вами жить... вместе... Он имеет к вам подозрение... Он хотел, чтобы вы были под присмотром... И если вы согласитесь, чтоб мы были вместе, то все закончится к общему благополучию.

Я была так поражена этим предложением, что даже не сразу поняла, о чем идет речь.

Он снова повторил свои слова и добавил, что никакого принуждения он не хочет. Он мог бы, конечно, поступить иначе, но он хочет настоящих чувств, а не насилия.

Вероятно, в моем положении надо было на это согласиться, но я не могла. Мое сердце женщины разрывалось от чувства возмущения и досады. И я отклонила это странное предложение быть его любовницей.

Он сказал:

– Я не знаю, кто вы такая, и не хочу об этом знать. А что

касается меня, то я не боевой офицер. Я благодаря ранению заведу хозяйственной частью. Я прапорщик и вот уже четвертый год нахожусь в этом чине без малейшего желания стать генералом.

Я спросила его:

— Что же, вы сами, что ли, обратились к полковнику, или он вам предложил меня?

Прапорщик сказал:

— Я чувствую, что я упал в ваших глазах, но, если хотите знать правду, я просил его о вас. И он сказал: «Можете ее забирать, только чтоб она не наделала нам делов. Вы за нее ответите».

— И вы согласились?

— Да, я согласился...

Я сказала:

— А я все же несогласна. Я не продажная бабенка, которую вы, офицеры, привыкли покупать на улице. Передайте вашему полковнику, что он хам. И что пусть он поищет развлечений для своих подчиненных где-нибудь в другом месте.

Прапорщик был смущен до последней крайности. Он сказал:

— Хорошо. Я скажу полковнику, что я с вами договорился, а вы можете идти куда хотите.

Мне показалось это фальшью и показным благородством. Но я сказала:

— А если я этим воспользуюсь?

— Хорошо. Воспользуйтесь. Только я прошу вас запомнить, где вы меня можете найти, если вы в Симферополе не найдете вашего любовника. Позвольте предста-

виться – я прапорщик Василий Матвеевич Комаров, заведующий хозяйственной частью комендантского управления в Симферополе. Там вы меня можете очень легко найти... И, вероятно, вам придется это сделать. Вы без денег, без паспорта, без квартиры... Так что я вас отпускаю с полной уверенностью, что наши пути еще сойдутся... Я верю в судьбу и знаю, что вы мне посланы вместо моей первой жены, которая меня бросила ради какого-то негодяя... Она не понимала ни меня, ни моего сердца... Итак, вы свободны. Идите!

И прапорщик Комаров сделал рукой театральный жест. Я не знала, что мне думать. Я снова стала предполагать, что нет ли тут провокации. Но, как бы то ни было, я была благодарна случаю, хотя и не могла верить в благополучный конец.

Я сказала:

– Значит, я могу вас так понять, что я свободна?

Он сказал:

– Да, вы свободны. Только если вас спросят, вы скажите, что вы договорились со мной.

От радости и счастья, что я свободна, я вскочила на ноги и почувствовала такой прилив сил, как в дни самого большого счастья.

25. В СИМФЕРОПОЛЕ

Вскоре я привела себя в порядок, вымылась и поправила разорванный туалет. Но, когда я взглянула на себя в зеркало, я пришла в большое огорчение. Лицо было избито и в синяках. Только что мои голубые глаза по-прежнему

сияли. Все остальное не было в порядке. И нужно было недели две, чтоб все пришло в свою норму.

Но все же я решила идти в Симферополь.

Я попрощалась с прапорщиком Комаровым. И с удивлением на него поглядела – зачем он меня отпускает неизвестно куда. Я ему сказала об этом. Он, засмеявшись, ответил, что он очень рад, если я оценила его благородство. Что не все женщины так чутки и не все женщины умеют разбираться в сердце мужчины.

– Кроме того, – добавил он, – я непременно вас найду. Я совершенно уверен, что далее Симферополя вам не уйти без моей помощи... Ну, а если уйдете – значит, не судьба, и, значит, не вы предназначены заменить мою потерянную жену.

Тут я увидела, что мои шансы возросли, если он заговорил чуть ли не о женитьбе. Но все же я поспешила в Симферополь. Меня там ждали дела. И мне не к лицу было выходить замуж за своего врага, за этого белобрысого прапорщика из белой армии, ищущего, как в бреду, возвышенных чувств в стенах контрразведки.

Я добралась до Симферополя на другой день.

Симферополь был как осажденный город. На вокзале на фонаре висел повешенный. Всюду проходили войска и везли пушки. Я поняла, что положение мое будет печальным, если я кого-нибудь не найду из указанных мне лиц. Но вместе с тем я чувствовала, что вряд ли тут кого-нибудь можно найти.

И когда я подошла к нужному мне дому, я там увидела кавалерийских лошадей. И в саду стояла военная палатка.

Поэтому я, конечно, сразу не рискнула туда зайти. Это

был номер, если бы меня там захватили как явившуюся в подпольную организацию.

По всему видно было, что конспиративная квартира тут была разгромлена. Однако надо было проверить. Я стояла на улице, недалеко от этого дома, и вдруг увидела, что идет женщина – гонит корову. Я разговорилась с ней, и как-то так вышло, что женщина предложила мне пожить у ней – поработать.

Мое положение было ужасно. Без денег и без ничего – я могла просто пропасть. Вдобавок изуродованное лицо мне не позволяло идти на дальнейшее. Я согласилась. И пошла с ней.

Оказывается, она жила через дом от нужной мне квартиры.

И вот я стала у нее жить. Я прожила у нее больше десяти дней. И за это время мое лицо пришло в себя. Я снова стала такая же, как прежде. И я подумала, что прапорщик Комаров вряд ли так легко отпустил бы меня, если б снова встретил.

Кроме того, за эти десять дней я узнала все подробности. Я узнала, что генерал Кутепов своими действиями навел прямо ужас на весь Симферополь. Тут еще недавно десятки повешенных висели на уличных фонарях. А что касается нужной мне квартиры, то там была какая-то целая история со стрельбой. И что там многие были арестованы и расстреляны.

Короче говоря, создавалось такое положение, что мне в Симферополе делать было нечего. Мне надо было обратиться в Ялту. Но как это сделать – это был большой вопрос. Туда попасть было нелегко, а в моем положении

просто невозможно, так как я не имела никакого положения и никакого, хотя бы даже плохонького, удостоверения личности.

Вместе с тем я чувствовала, что мне надо действовать. Мне нужно было пробраться в Ялту и там завязать отношения. А между тем прошло уже три недели со дня моего перехода, и я ничего не сделала. Да еще вдобавок потеряла пояс с казенными деньгами. Все это меня приводило теперь в глубочайшую меланхолию. Я буквально не знала, с чего мне начать.

Был такой момент, что я даже хотела обратиться к прапорщику Комарову. Я хотела через него что-нибудь сделать. Но когда подумала о нем, то отложила эти мысли. Мне было бы очень нелегко сойтись с этим прапорщиком. Он меня раздражал своим показным, фальшивым благородством и пьяным бредом.

Я решила обойтись без его помощи.

26. РУКА И СЕРДЦЕ

В расхлябанном состоянии я шла однажды от вокзала к своему дому.

И вдруг неожиданно столкнулась с прапорщиком Комаровым.

Я вскрикнула от удивления. Хотела быстро уйти. Но он догнал меня и схватил за руку. Я увидела, что он был как в бреду и занюханный кокаином.

Он сказал:

– Я от одиночества опять стал сильно нюхать кокаин. А у меня порок сердца, и мне это абсолютно нельзя... И я

знаю, что только вы, сильная и здоровая женщина, можете меня вполне спасти от ужасной гибели... И если я вас потеряю, то я пропаду, потому что тут у нас сейчас не ту женщин, сколько-нибудь похожих на вас. У нас тут все сами нуждаются в поддержке... А вы такая, что когда я рядом с вами стою, и то мне делается легко и весело. Ничего подобного я не испытывал с тех пор, как мы расстались с женой... Не оставляйте меня, потому что я без вас пропаду.

У меня вертелось на языке ему сказать: «Ну и пропадай к дьяволу, мне-то что!»

Но я, конечно, этого не сказала. Я попросила у него отсрочки для решения.

Я сказала:

– Через два дня я найду к вам и скажу, что я думаю. Но сейчас я ничего не могу сказать. У меня еще в моем сердце осталась любовь к тому человеку, которого я разыскиваю. Но если за эти два дня я его не найду, тогда я на что-нибудь соглашусь.

Он ни за что не хотел меня отпустить. Но я на своем настояла. Я только согласилась с ним немного посидеть в кафе. Там мы ели фрукты, и он болтал мне всякую чушь насчет своей любви, которая у него зародилась ко мне.

Но он мне был так неприятен, что я еле сдерживалась не наговорить ему обидных слов.

Наконец я встала и пошла и не позволила ему сопровождать себя.

Я сказала на прощанье, что я сама найду к нему в коммандантское управление.

Но между тем прошло два дня и еще два, и я не пошла.

Я решила пробраться в Ялту без его помощи, под видом проститутки.

Я уже смастерила себе особое легкомысленное платьице и достала у одной девушки красный карандаш для губ. Устроила себе эффектную прическу. И в таком наряде действительно стала похожа на уличную фею недурненькой наружности.

Своей хозяйке я сказала, что на несколько дней мне нужно съездить в Ялту. И та мне позволила. Она мной дорожила, потому что я все умела делать и даже стирала ей белье.

И вот я, приодевшись, верчусь перед маленьким зеркальцем и решаю проблему, как я буду вести себя в Ялте. В это время к нам в помещение входит прапорщик Комаров.

Он, оказывается, в прошлый раз пошел за мной и выяснил, где я живу. И теперь, не дождавшись моего прихода, явился.

Он был в очень расстроенном и нервном состоянии. Но он был настолько занюханный, что не разобрался в моем туалете. Он даже, сослепу, нашел, что я в таком виде похожа отчасти на английскую леди.

Он вдруг упал передо мной на колени и стал умолять меня, чтоб я ответила на его чувство.

И тут в одно мгновение я оценила общее положение. Я подумала, что если он в таком размягченном состоянии, то я могу из него веревки вить, я могу очень много через него достигнуть.

Я только не знала – этично ли сойтись с ним для достижения нужной цели. Этот вопрос вообще меня мучил долгое время. И, главное, мне не у кого было спросить,

допустим ли такой момент: сойтись со своим врагом и через него добиться нужной цели.

Вообще-то говоря, он не был в полной мере сознательным врагом. Он был недалекий субъект. Видимо, его просто захлестнули обстоятельства, и он механически очутился в рядах белой армии.

Так или иначе, у меня в одно мгновение созрел в голове план действий. И, главное, я подумала – почему же этично пойти под видом проститутки и неэтично сойтись с ним, тем более, что я могу с ним фактически не сойтись, а просто постараюсь надуть его. И мне эта перспектива стала больше улыбаться, чем положение проститутки, которую ожидают всякие неожиданности и пьяные происшествия.

И когда прапорщик Василий Комаров снова повторил свои слова о том, что без меня он чувствует большую пустоту и что без меня он занюхается кокаином, окончательно пропадет, я сказала:

– А что же вы хотите?

Он схватил меня за плечи и от неудержимого чувства обнял меня.

Он сказал:

– Я предлагаю вам руку и сердце. И если хотите, то мы поженимся хоть завтра.

Мы с ним опять прошли в кафе и там стали есть фрукты.

Он таял от моих взглядов и поминутно целовал мои руки. И я удивлялась, как он в своем ослеплении не видит, какие загрубелые, мужицкие руки он целует.

В общем, я сразу поняла, что поступила правильно. Я могла с ним что угодно сделать. У меня даже мелькнула

мысль о том, что надо будет заняться розысками пояса. Но пока – Ялта.

Я ему сказала:

– Только я ставлю условие поехать в Ялту. А потом я хотела бы немножко освежиться и попутешествовать по Крыму.

И он сразу согласился. Он сказал, что в Ялту он может в два счета перевестись, у него столько связей и знакомств, что это просто не вопрос. После чего мы можем поездить по всему берегу Крыма, пока он в наших руках.

Он сказал, что мы непременно послезавтра переедем в Ялту.

У меня упало сердце, когда он назвал меня своей женой. Мне показалось ужасным, что я согласилась на его предложение. Мне теперь показалось, что я и двух дней с ним не смогу провести.

Но игра была сделана, и отступать, мне казалось, не следовало.

27. СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

По-моему, он был большой авантюрист, этот прапорщик Васька Комаров.

У него действительно кругом были большие связи и знакомства. Кроме того, он был сказочно богат. Наверное, он накрал денег со всех сторон. Для него деньги были не вопрос.

Он моментально справил мне три платья и шляпу. Подарил браслетку и часы. И объявил, что он сделает мне сказочную жизнь.

Он меня познакомил со своей обозной бражкой. Это были раненые офицеры-инвалиды. Очень большие пьяницы и, видать, себе на уме.

Двое из них были его близкие друзья.

Прапорщик Комаров торжественно меня им представил. Он сказал, что я та женщина, которая отныне заменит ему его бессердечную жену. Офицеры, соблюдая дворянские манеры, подходили к нам и, щелкая шпорами, от души нас поздравляли с новой жизнью.

Потом мы вчетвером отправились на квартиру, и там вскоре все, кроме меня, перепились. И пели песню, над которой они плакали. Там, в этой песне, были слова о том, что наступает последний момент, что близок враг со своей винтовкой и что их всех расстреляют. Там были удивительные слова:

*Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
Либо пуля в сердце метит,
Либо близок коммунар...*

И, напившись, эти офицеры пели эту песню не меньше десяти раз. И всякий раз навзрыд плакали. И говорили, что действительно близок конец крымской эпопеи. Что белые не удержат Крыма, хотя Перекопский перешеек сам по себе достаточно неприступен.

Я, конечно, не стала обсуждать с ними эти вопросы. Я уложила Комарова спать. И он как мертвый заснул от вина и кокаина, который он нюхал весь день, чтоб приободриться.

Он встал на другой день зеленый и больной. И ему снова надо было заправиться кокаином, чтобы прийти в норму.

Я с удивлением на него взирала. И я отчасти даже не понимала, как крестьянский сын, по природе своей здоровый и крепкий человек, мог за короткое время дойти до такого нервного, развинченного состояния. Но вскоре он мне признался, что он, «сын полей и природы», был вдобавок сыном сельского дьякона – ужасного алкоголика и не совсем нормального человека, повесившегося в церкви.

Со мной этот сын полей был исключительно вежлив и любезен. Но он чуть ли не силой заставил меня надеть шляпку, когда мы вышли на улицу. Он сказал, что иначе нельзя. Что этого требует этикет. Мне же в шляпке было нелегко ходить. Я не имела привычки к этому и теперь страшно стеснялась, что шла как барыня.

Но он сказал, что в этом моем наряде он готов со мной пойти хоть в Академию наук, что я выгляжу хорошо, грациозно и именно так, как это вообще требуется в высшем обществе.

А это верно, я в это время страшно загорела. Мои руки сровнялись, и в них не было обычной красноты. И лицо мое было как у арапки – настолько я чудесно загорела. Так что действительно в моем новом туалете меня можно было принять за какую-нибудь там, может быть, бежавшую фон-баронессу.

И многие оборачивались на меня, когда мы с Комаровым проходили по улицам Симферополя. На мне было, помню, какое-то светленькое клетчатое дворянское платьице исключительной красоты и плюшевая шляпа с

эгреткой и с разной бузиной. И хотя был октябрь, но в тех местах было удивительно тепло. Все ходили без пальто.

И мой Комаров был от меня просто без ума. Он согласен был весь день водить меня по улице, так ему нравилось, что все смотрят на меня — какая я была нарядная и хорошенькая.

Но эта великосветская жизнь не заслонила моих интересов. Я не забывала о своей цели и только об этом и думала.

И я велела Комарову поскорей устроиться в Ялте.

Через два дня мы с ним поехали туда на машине.

И у нас было столько вещей, нагруженных на две подводы, что я рассмеялась, что он так много накрал.

У него были шубы, картины, фарфоровая посуда, мебель и так далее.

Сами же мы поехали впереди на машине. И вскоре были в Ялте.

28. В ЯЛТЕ

На меня Ялта произвела исключительно сильное впечатление. Мне там понравилось голубое море, славные домики и набережная.

В те дни на море было большое волнение, и волны разбивались так, что заливали всю улицу.

Мы остановились с Комаровым в ялтинской гостинице «Франция». Сначала он хотел, при своих средствах, остановиться в лучшей гостинице «Россия», но там стояла высшая знать, и там все было занято.

В первый же день приезда я немного подпоила моего

благоверного, и он, свалившись, уснул. А я тотчас пошла по нужному адресу.

Я буквально горела, когда шла. Мне казалось, что если и тут я потерплю поражение, то мне грош цена, и, значит, я не оправдала возложенных на меня надежд.

Когда я шла по набережной, я поразилась, какая вокруг меня была толпа. Мне навстречу шли люди, о которых я позабыла и думать. Тут кипела жизнь иная, чем у нас.

Тут шли разного рода барыньки, которые раздражали меня своими кружевными зонтиками и невероятным кривлянием. Шли толстоватые потомственные помещики и генералы. Масса была офицеров, барышень и кокоток. Все гуляли по набережной, наслаждаясь чудным солнцем. И казалось, никто и не помышлял о войне и не думал, что тут у них на пороге Красная Армия.

Я миновала базар и прошла на старую часть города. И там я без труда нашла то, что мне было нужно.

Правда, мне там долго не доверяли и водили меня из ворот в ворота, но потом мы договорились. У некоторых товарищей слезы выступили на глазах, когда они узнали, что я к ним послана. Они меня горячо расспрашивали и всем интересовались. Я передала им на словах то, что было нужно, а что касается денег, то я рассказала, в чем тут запятая. Но я обещала этот пояс непременно найти.

Они не советовали мне рисковать головой ради этого, но я уже в душе решила, что так будет.

Они мне поведали о своем трудном положении и о Кутепове, который разгромил весь рабочий Симферополь. Но мы пришли к мысли, что осталось ждать недолго. Они мне сказали, что белая армия страшно нервничает и уже не

надеется на успех.

Это меня поразило и обрадовало, и в своем душевном подъеме я решила сделать попытку поискать мой пояс с деньгами. Хотя эта задача казалась бесплодной и обреченной на неудачу.

С этими мыслями я вернулась к себе в гостиницу.

Мой Комаров уже проснулся и тревожно меня ожидал. Но когда меня увидел, то позабыл обо всех своих тревожениях и так обрадовался, что снова начал одаривать меня всякими драгоценностями, которые он понемножку вытаскивал из своего саквояжа. И я, конечно, делала вид, что радуюсь этим подаркам.

Мы с ним пошли погулять по набережной. И я ему сказала, что, может быть, завтра с утра я съезжу в Симферополь к своей знакомой хозяйке. Он вызвался меня проводить, так как сам в эти дни был свободен, не получив еще назначения. Но я отказалась, и он с подозрением на меня посмотрел.

Но тут я ему пожала руку, и он, как дурак, растаял от этой моей незначительной ласки. Он начал при всех меня обнимать и даже хотел поцеловать, но я уклонилась.

Мы шли теперь по набережной. Был чудный день, уже близкий к вечеру. Мы с Комаровым шли под руку и тихо беседовали.

Вдруг я вздрогнула и побледнела. Комаров сказал: «Что с тобой? На тебе лица нет...»

Но я не могла ничего сказать. Нам навстречу шла Нина Викторовна, и с ней рядом, подпрыгивая ножками, шел Юрий Анатольевич Бунаков. Позади них плелся генерал Дубасов, и с ним какая-то перезрелая особа.

Я буквально не знала, куда деваться. Я заметалась и хотела свернуть в сторону, но Комаров меня удержал. В этот миг мы поравнялись, и они своей компанией проследовали мимо нас. Они не узнали меня. Мой прапорщик Комаров козырнул генералу, и мы пошли дальше.

Но я обернулась. В этот момент они тоже остановились у перил набережной и взглянули на море – там кувыркался дельфин.

А я посмотрела на Бунакова, – меня заинтересовало, какой он сейчас. Но он был такой же, как всегда. Только он стал немного смуглее, находясь под южным солнцем.

Я подумала об его песенке «Все на свете». И тут вдруг мои мысли странным образом ему передались. Он вдруг сказал:

*Все на свете, все на свете знают –
Счастья нет,
И который раз в руках сжимают
Пистолет...*

И я так засмеялась, когда он произнес эти стихи, что вышло прямо как-то неудобно с точки зрения ихних правил поведения. На меня все посмотрели, но я отвернулась. И они опять не узнали меня.

А мой дурак Вася Комаров почувствовал вдруг сильную ревность к тому, на кого я смотрела. Он подумал, что я в одно мгновение увлеклась этим хорошеньким офицером, похожим на куклу.

Он грубо дернул меня за руку, и мы снова пошли. Но мне не гулялось больше, и мы тогда зашли в кафе-шантан «Одеон», который находился у них в полуподвальном по-

мещении. И там мы слушали пение шансонеток. И смотрели, как они пляшут под лозунгом «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет».

29. НАХОДКА

На другой день, поздно вечером, по моей инициативе мы устроили у себя дома торжественный ужин на двоих. Мне хотелось, чтоб мой Комаров нахлестался так, чтоб завтра он подольше не встал.

Он был до крайности тщеславный, и мне ничего не стоило его раззадорить. Я попросила показать, как нужно заниматься кокаином, и он при мне вынюхал целый порошок. Потом ночью мы с ним выпили большое количество вина. Я пила мало, а он тянул, как лошадь. У него были какие-то сумасшедшие мысли. Он меня любил, но стоило ему немного выпить, как он терял себя, забывался и глядел на меня с изумлением.

В общем, мы с ним пили до утра. И под утро он свалился без чувств. А я взяла документы, оделась по-дорожному и, договорившись заранее с одним шофером, выехала в Джанкой.

По дороге ко мне несколько раз обращались патрули, но я показывала документ и говорила: «Еду к мужу». И меня беспрекословно пропускали, – потому что на документе мужа стояла подпись «Врангель».

Шофер довез меня до Симферополя. Там я пересела на паровоз и доехала до семьдесят шестой версты. Потом пошла пешком. И там отсчитала такое количество шагов, как мне было нужно, но пояса, как ни странно, не нашла. Я

несколько раз производила счет, но безрезультатно. Это меня взбесило, потому что я была разведчица и такие вещи были непростительны.

А начинался уже вечер, и надо было поиски отложить, тем более что тут небезопасно было в смысле ареста.

Но когда я решила вернуться домой, я наткнулась в траве на мой пояс. Я задела его ногой. Я, кажется, даже закричала от радости.

Я вынула из пояса деньги (белогвардейского казначейства) и переложила их в карман. А пояс бросила.

Потом я с большим трудом добралась до Джанкоя. И там за очень крупную сумму я наняла себе подводу – арбу.

Только через день утром подвода привезла меня в Ялту.

Я с трепетом вошла в наш номер. Прапорщик Комаров спал. Вероятно, он, ожидая меня, все время пьянствовал. Всюду валялись бутылки и стоял полный кавардак. Я спрятала деньги и легла спать.

Через несколько часов, после бурного объяснения мы помирились.

У Комарова все же осталось подозрение, что я замешана в каких-то политических или любовных делах.

Но мое небольшое ласковое внимание снова обезоружило его.

Однако теперь он был осторожен и старался никуда меня больше не отпускать. Так что я с трудом ухитрилась сбегать в город и передать там деньги. И после этого я вздохнула с облегчением. Наконец-то моя миссия была исполнена. Наконец-то после таких передряг я полностью выполнила задание.

В тот вечер я была так довольна, что мой Комаров

удивился и снова стал меня подозревать в подпольных делах.

Меня же этот человек снова стал ужасно раздражать своей глупой пустотой и самомнением. И я снова еле могла терпеть с ним вместе находиться.

И чтоб уйти от него, надо было ждать подходящего момента.

30. ЭВАКУАЦИЯ

Между тем в Ялте становилось все более беспокойно.

Многие на улице открыто говорили, что белой армии не удержать Крыма.

Мой Комаров, пойдя однажды за назначением, вернулся бледный и расстроенный. Он сказал, что предстоит эвакуация, что некоторые учреждения должны незаметно покинуть Ялту уже сегодня.

Он не знал еще, в чем дело там, на фронте, но, кажется, там дело было близко к катастрофе.

И действительно, в Ялту вдруг прибыло несколько пароходов, и началась посадка.

Нельзя сказать, что произошла большая паника. Многие и без того были готовы к этому. Но все же в городе наступил какой-то острый, напряженный момент. Кругом были напуганные и тревожные лица. И все спешили туда и сюда.

В порту образовалась большая толпа за билетами на пароход. Но еще никто в точности не знал, что именно произошло – пал ли Перекоп или еще белые войска держатся. Только доходили слухи, что была страшная атака

красных и был прорыв. Но насколько это опасно, никто не знал.

На другой день в Ялту прибыло еще несколько пароходов.

И снова в порт заспешила буржуазия и офицерство с чемоданами и саквояжами.

Ехали подводы с вещами учреждений, и шли разного сорта барыни, тяжело дыша от страха и волнения.

На молу стояла невообразимая путаница. Рассыпанное сено и мусор довершали картину суматохи и бегства.

Я с большим волнением наблюдала этот отъезд.

Я ко всякому пароходу приходила в порт и смотрела, как дворянская и купеческая Россия спешно покидала берега своей бывшей родины.

Чувство оскорбленного народа кипело во мне. Я видела расстроенные и плачущие лица. Я видела страх и смятение. Но не жалость, а восторг был у меня на сердце. Потому что я своими глазами видела час расплаты и наблюдала, как уходила прежняя жизнь, унижавшая народ во всех его чувствах.

Это было неповторимое зрелище.

Это был исторический момент – бегство барской России, бегство притеснителей народа. Это был момент бегства – когда им дальше и бежать было некуда! И вот они садились на пароход и ехали в Турцию.

И от этого зрелища меня охватывал такой восторг, что я все время стояла с улыбкой, так что все обращали на меня внимание. Но я нарочно махала платочком и бормотала: «До свиданья, милые друзья, до свиданья!»

Между тем на берегу происходили разные трагикомиче-

ческие сценки. Некоторых не пропускали на пароход с большим багажом. Те хорохорились, кричали, называли всякие светлейшие имена, но все это стоило теперь три копейки. И разные генералы и фон-бароны смиренно подчинялись правилам и, очутившись на пароходе, облегченно вздыхали.

Некоторые из них плакали, а некоторые говорили: «Через две недели вернемся». А один генерал крикнул кому-то:

– Они все равно нас позовут. Ведь у них, кроме мужичья, людей теперь не осталось.

Я очень хотела схватиться с этим типом, но, конечно, сдержалась. Между прочим, я непременно хотела увидеть, как отъезжала моя бывшая барыня, баронесса Нина Викторовна, но почему-то этот незабываемый момент пропустила. Я увидела их только тогда, когда пароход отчалил и они стояли на палубе. Баронесса слиняла и, бледная как покойница, стояла, опираясь на генерала. Бунаков задумчиво смотрел вдаль. Я шутливо помахала им платочком. И мне кажется, что они меня узнали. Юрочка показал на меня пальцем, и они стали разглядывать меня в бинокль.

Но пароход уже отъезжал. И я пошла в гостиницу.

Вдруг в Ялту пришли белые войска. Это был, как нам сказали, Изюмский полк, отступивший от перекопской позиции. Некоторые из солдат шли без винтовок. И все были в растерзанном виде. И тогда стало ясно, что там на фронте произошло.

Волнение достигло наивысшего напряжения. Магазины закрылись, и на набережной моментально исчезли все гуляющие.

В довершение всего прибывший Изюмский полк, не найдя в Ялте продовольствия, разбил в городе два магазина и разграбил их.

В порт прибыло еще несколько пароходов. Чувствовалось, что какая-то рука организует бегство.

31. СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Между тем мой прапорщик Комаров предупредил меня, что мы едем с пароходом «Феодосия». Что это, по-видимому, вообще последний пароход. И что больше откладывать отъезд нельзя.

Я спросила:

– Куда мы едем?

Он сказал:

– Мы едем в Константинополь. О будущем не беспокойся. Я подумал о нашей судьбе.

И он побренчал по своим карманам, набитым всякой всячиной.

Тут наступил момент распутать узел. Но я поняла, что не к чему устраивать «семейные сцены». И поэтому я не сказала ему, что я не еду.

Я ему сказала:

– Ты, Комаров, пройди в порт, а я сейчас приду – прощаюсь кое с кем.

И он по дурости своей так и сделал.

А я побежала в другую сторону. Я вошла в какой-то открытый настежь и покинутый дом и села в комнате у окна. И стала глядеть на море.

Я была довольна, что я так сделала, потому что мне

хотелось избежать объяснений. Это было ни к чему. Этот человек мне чужой. Он мой враг, которого я использовала как мне было нужно. И пусть он теперь уезжает, к черту, в Константинополь без всяких со мной объяснений.

Я сидела в комнате больше получаса. Наконец я услышала два паровозных гудка. Значит, все в порядке. Мой Комаров, пометавшись, наверно успокоился и со своими драгоценностями сейчас уедет.

Но вдруг я услышала крики. Я взглянула в окно и, к ужасу, заметила Комарова, бежавшего к моему домику, на который ему пальцем показывала какая-то женщина.

Скажу откровенно – я так растерялась от неожиданности, что минуту не могла двинуться.

Комаров вбежал в дом и остановился на пороге. Он был страшен в своем диком волнении. Он тяжело дышал.

Увидя меня, он с грубой бранью выхватил револьвер и выстрелил в меня. Но в одно мгновение я сообразила его намерение и присела на корточки, так что пуля ударила много выше моей головы.

Он хотел стрелять еще раз, но я ему сказала:

– Вася, зачем ты в меня стреляешь?

Он сказал:

– Я в тебя, негодяйка, стреляю не как в классового врага, которого я в тебе подозреваю, а как в женщину, которая предательски меня хочет бросить.

– Ты сам негодяй! – сказала я. И вдруг, в одно мгновение я рванулась к нему и отняла у него револьвер.

И он почти без сопротивления отдал мне его.

Теперь я стояла у стены с револьвером, а он блуждающим взглядом смотрел на меня.

Но я не могла в него стрелять, потому что он был

жалкий и растерянный.

– Слышишь ли ты, негодяй, – закричала я, – понимаешь ли ты своей дырявой головой – кого ты видишь перед собой?

– Боже мой! – сказал он. – Я теперь вижу, кто ты такая... И вы там, наверно, все такие же сильные и здоровые. И вот почему наша армия проигрывает сражения.

И он вдруг опустил передо мной на колени и сказал:

– Нет, я не боюсь, что ты меня застрелишь. Я боюсь, что ты меня покинешь и что ты меня уже покинула и нет ни одного шанса вернуть тебя.

– Ты такой слабый и разложившийся, – сказала я, – что мне в тебя и стрелять досадно.

Я с сердцем бросила на пол револьвер. И он вдруг от падения выстрелил. Комаров сказал:

– Нет, я не такой слабый, как ты думаешь, но я оступился, и ты мне должна помочь.

– Нет, мой друг, – сказала я, – моя жизнь не предназначена для спасения людей. Моя жизнь принадлежит народу. И я послана исполнить дела, слишком далекие от душеспасительной деятельности. Ты можешь остаться тут, если хочешь, но я с тобой жить не буду, – это так же верно, как ты, собака, в меня стрелял сегодня.

Его вдруг рассердили эти мои слова и то, что я назвала его собакой, и он, как человек неуравновешенный, моментально перешел от тихого состояния к бешенству.

– Ты подлая большевичка! – закричал он. – Ты еще в моей власти. Я велю солдатам веревками скрутить тебя. Я слишком с тобой миндальничаю. Я велю тебя выдрать плетью.

И он с бешеной злобой потянулся к лежащему на полу револьверу.

Но в одно мгновение я ударила его ногой по руке, как по футбольному мячу. И он с воплем повалился на пол.

И тогда я спокойно подняла револьвер и направила его на прапорщика. Я ему сказала:

– А ну, моментально ступай в порт и уезжай к чертовой матери в Константинополь. Или я тебя сейчас сама отправлю туда, но уже небесным маршрутом.

Комаров понял, что это далеко не шутка, мои слова. Он встал и как-то по-ребячески сказал:

– Пароход же, Аннушка, ушел. Куда же я пойду?..

Я сказала:

– Ты пойди в порт и посмотри – может быть, там еще что-нибудь будет. И тогда ты поезжай с богом.

Он сказал:

– Хорошо, я пойду посмотрю. Но если ничего не будет, то я вернусь и останусь тут с тобой. А если будет, то я уеду. Пусть за меня решит судьба.

И он как ненормальный побежал в порт, а я осталась сидеть взволнованная происшествием.

Я не знаю в точности, что именно случилось в порту. Мне только потом сказали, что Комаров, идя по трапу на рыбацью шхуну, вдруг покачнулся и упал в воду. Причем, падая, ударился головой о камни. И его, сильно раненного, внесли на судно и увезли как будто бы в Феодосию.

Но что с ним было дальше, я так никогда и не узнала. Возможно, что его отправили в Константинополь, если он почему-либо не умер.

Мне не было жалко этого человека, потому что он и без

меня был уже потерянный и погибший. И не мое дело было восстанавливать его на путь истины.

32. ЭПИЛОГ

Мы ожидали, что Красная Армия войдет в Ялту в тот же день. Но этого не случилось. Первые красноармейцы вошли в город только через три дня.

Это был радостный и торжественный момент. Это был день торжества народа, освободившегося от рабства.

Мне, правда, омрачили этот день тем, что на меня кто-то донес, будто я жена белогвардейца, шпионка и контрразведчица. Конечно, это почти сразу было рассеяно, и все выяснилось. Но мне было неприятно, что я была на целые два часа арестована.

Меня привели в дом эмира бухарского, где происходил допрос арестованных, и там один из товарищей сгоряча наорал на меня, и он хотел даже пристрелить меня как врага. И был момент, когда я ужаснулась, что погибну от своей же пули. Но потом пришел один наш ялтинский товарищ, и все сразу разъяснилось.

И тогда все, узнав обо мне, приходили меня поздравлять, жали мне руки и с нежностью меня целовали и поздравляли с великой победой.

* * *

Что же касается моей дальнейшей жизни, то вкратце я могу вот что сказать. В том же году я вышла замуж за моего однофамильца, товарища Касьянова, с которым я позна-

комилась в Екатеринославе. И мы с ним очень счастливо и задушевно жили вплоть до его смерти.

Мне было очень жаль потерять этого чудного человека – прекрасной души товарища. И я, кажется, так же сильно горевала, как и тогда, когда на фронте потеряла моего первого мужа.

Да, я действительно многих прекрасных людей потеряла в жизни за время революции. Но зато я нашла то, что каждый день составляет мое счастье и гордость.

Ах, как трудно и как оскорбительно представить себе иную жизнь, чем та, что у нас сейчас строится. Как ужасно представить иных людей и иные, буржуазные отношения – те, которые были у нас до революции. Как невыносимо было бы вдруг увидеть купцов, шикарных барынь, сиятельных князей, помещиков и бедный, нищий народ, угнетенный в своем достоинстве.

И меня нередко охватывает восторг, что мой народ сумел совершить великую народную революцию и сумел создать новую жизнь, которая с каждым годом будет все лучше и лучше.

И вот что я нашла вместо всех моих потерь.

А какой далекой и забытой страницей кажется сейчас прошлая жизнь. Вот, например, четыре года назад я случайно от одного знакомого, долго жившего за границей, узнала некоторые подробности о бежавшей эмигрантке баронессе Нине Викторовне. Она, оказывается, в Париже открыла «Ателье мод», сильно разбогатела и стала там чем-то вроде модной портнихи. Со своим генералом она там разошлась. И он, несмотря на дряхлость, служит метрдотелем в одном заграничном кабачке.

Юрий же Анатольевич Бунаков застрелился, когда они еще были в Югославии. Он был действительно слабый и неприспособленный к жизни, как тепличный, искусственный цветочек, неизвестно для чего выращенный в садах буржуазной жизни.

Что же касается ротмистра Глеба Цветаева, то он в Париже долгое время служил шофером, но потом женился на одной богатой семидесятилетней американке.

Заканчивая этим свой рассказ, А. Л. Касьянова сказала:

– Канула в вечность эта барская и купеческая Россия. И я была свидетельницей этой страницы истории. Вот почему я позволила себе рассказать о своей жизни несколько, может быть, больше, чем вы предполагали.



ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ

ПОГРАНИЧНИКИ АЛАЯ

В этой повести нет вымысла. Изменены только фамилии. Жизнь иной раз так сюжетно сплетает факты, что все дело писателя – не забыть в них даже мелочей, если они характерны. Здесь автор лишь записал все то, что случилось с ним и чему он был свидетелем.

Дорогие мои!

Вечер. Сижу в палатке, пишу при тусклом свете «летучей мыши». Температура минус 4°C. Мой чай в пиале замерз, но мне в свитере, в одеяле – тепло. А воздух – замечательный. Завтра на рассвете отправляем киргиза со служебным пакетом на заставу. Дальше пакет пойдет с почтовой оказией. Пользуюсь случаем – пишу. Мы находимся на линии снега. Высоту переношу отлично. Перевалы еще закрыты. Без вьюков, без груза можно бы попытаться пройти, но мы ведь связаны экспедиционным имуществом. Живем пока здесь. Низко над нами летают орлы, кругом, бродят ширококорые яки. Каждую ночь кричат улары (дикие индюки) и голгочут косули. В чащах арчи по ущельям есть кабаны, мы их не видали еще, но, может быть, соберемся поохотиться. Здесь еще скверный корм, поэтому мы отправили до первого июня нашего старшего конюха и рабочего Егора Петровича со всеми лошадьми на пастбище, к озеру Капланкуль – назад, за четыре перехода отсюда, а сами остались здесь вчетвером: Юдин, Бойе, Осман и я. Осман сторожит наш лагерь, а мы работаем в окружающих горах: здесь много неисследованных хребтов – высоких и

снежных. Я веду альтиметрические наблюдения²⁷ и занимаюсь с Юдиным геологией. Бойе практикуется в топографической съемке. Осман – превосходный повар, а продовольствия у нас на полгода. Едим пловы, шурпу (суп из баранины) и кавардаки (варено из мяса и овощей). К нам приезжают киргизы, привозят кумыс, угощаются и зовут в гости. Превосходно живем: тихо, сытно, дружно и весело. Загорели, окрепли, полные энергии. Читаю дневники прошлых памирских экспедиций, они есть у Юдина. Превосходные дневники! Забавно: стоим у самых снегов, вплотную, а воды нет, ближайший снег не тает еще. Осман ходит на реку – километра за два отсюда. Ходит он и в арчовый лес – за дровами.

Желаю Вам всего наилучшего. Большие почтовых okazji не будет. Следующее письмо получите с Поста Памирского – месяца через три. Не беспокойтесь, мы очень счастливы. Странно вспоминать Ленинград. Каким шумным кажется он отсюда!

Ваш...» (моя подпись)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТРЕВОГА

1

Из-под одеяла – в морозный воздух палатки... Но Юдина вызывает какой-то киргиз. Стуча зубами от холода, Юдин торопливо сует ноги в сапоги, руки – в рукава аль-

²⁷ Альтиметр – прибор, который служит для определения высоты местности над уровнем моря.

пийской куртки. Выходит. Я еще в полусне. Полог палатки откидывается, и Юдин спокойно, тихо и удивительно неожиданно:

– Никакой паники... Гульча разгромлена басмачами...
Басмачи?

В Средней Азии это слово знает каждый. Басмачи – это активные контрреволюционеры. Это те враги советской власти, которые с оружием в руках выступали против нее.

Неожиданное известие, принесенное нам заезжим киргизом-кочевником, означало, что зарубежные империалисты затевают новую авантюру. Мы знали, что среди окрестных жителей – киргизов Алая и Памира мы найдем друзей, готовых отдать жизнь за советскую власть. В тишине долин мы слышали смелые голоса комсомольцев – киргизской молодежи, разоблачавшей на собраниях всяческих реакционеров. Но мы знали и то, что многие муллы, баи, бывшие басмачи, готовые мстить всему живому на свете, притаились до случая в здешних горах, полны лицемерия и показного смирения. Мы знали, что они готовы примкнуть к любой аванюре, какую задумают их заграничные покровители. Мы понимали, что в слепой ненависти к советскому строю они готовы опять вооружиться вырытым из-под камней оружием, и, забрав с собой родовые семьи, сбросить овечьи шкуры, и примкнуть к той стае бандитов, что кинется на нашу территорию из-за границы, которая тянется в почти не исследованных горах и еще плохо защищена... Кинется, чтобы грабежом возместить былые богатства, чтобы громить мирные верблюжьи караваны, надоблачные аульные кооперативы, убивать и пытаться девушек-комсомолок, изучающих в школах гра-

моту, резать всех советских людей, которые попадутся им в руки, стремясь избавиться от свидетелей, рассчитывая, что некому будет изобличить главарей. А при первой же неудаче вразброд – через висячие ледники, сквозь ураганные ветры пустынь – бежать за границу; зная, что от населения ничего, кроме пули в затылок, уже не получишь; бежать туда, где еще можно – и то лишь за золото – найти укрывателей.

Весть о разгроме Гульчи басмачами была ошеломляющей. Однако мы еще имели время трезво обо всем поразмыслить. Мы были в опасности, но реально еще не представляли ее себе.

Мы оделись. Умылись. Велели Осману кипятить чай. Солнце слепило долину длинными праздничными лучами. Мы деловито обсуждали положение: Юдин, Осман и я. Бойе спал, и мы не стали его будить. В свои девятнадцать лет еще очень неуравновешенный, он мог бы нарушить размеренный ход обсуждения действительных наших возможностей.

Первая – оставаться здесь.

Но... ничем не обеспечены мы от внезапного нападения ни ночью, ни днем. С малыми силами никто на нас нападать не станет. А если явится крупная банда, что можем сделать мы, обладая лишь двумя карманными пистолетами да одним стареньким карабином с полусотней патронов? Что будет здесь завтра? Даже – сегодня? Даже – через час?

Вторая – укрыться на погранзаставе Суфи-Курган – тридцать пять километров отсюда.

Это ближайшее и единственное место, где есть вооруженная сила. Застава находится между Гульчой и нами,

следовательно, басмачи – по ту ее сторону. И если даже пастух, поведавший Юдину про разгром Гульчи, солгал нам о спокойствии в Суфи-Кургане и о свободном пути туда, все же надо идти на заставу, потому что, появившись там, банда неминуемо придет и сюда. Идти на заставу – есть риск наскочить на банду. Не идти – нет шансов на спасение здесь.

Третьей возможности нет, ибо в Алай (даже если там спокойно, даже если мы уверим себя, что там не догонят нас, даже если забудем и о том, что из Алая-то нам уже вовсе некуда будет деться) уйти мы не можем: в Алае снега непроходимы для вьюков, и нет там ни пищи, ни корма для лошадей.

2

На картах значится: «Укрепление Гульча». Но первая половина этого обозначения существует только на картах. Укрепление исчезло вместе с царизмом. Стены, башни, брустверы, крепостные ворота Гульчи разрушены. А в казарменных зданиях внутри разрушенных стен – ныне исполком, земотдел, склад фуража, комната уполномоченного особого отдела Тихонова. Рядом – каменные постройки почты, ветпункта и больницы. Дальше – квадрат зеленой травы. Еще дальше – кишлак: одна улица, ряд слипшихся глинобитных лачуг. В них – два кооператива, пекарня, отделение милиции и гульчинские жители. Кругом тополя, кустарник, жидкий лесок... Гульча – ярко-зеленое дно большой чаши. Долина. Края чаши – горы, снежные берега, омываемые голубым небом. Почва на склонах гор зябкая, набухшая, еще не сбросившая с себя

оцепенение зимы. Летом склоны зазеленеют квадратами богарных посевов, а сейчас горы безжизненны, неприютны. Только по лощинам чернеют киргизские юрты, насквозь прокопченные дымом очагов.

Гульча – последний «город» в горах на пути из Оша к Памиру. Город – это местное преувеличение. На деле Гульча тридцатого года крошечный, тихий поселок. В нем насчитывалось всего полтора десятка жителей – доктор, агрономы, работники кооператива, несколько милиционеров.

Сведения о взятии Гульчи мы получили на рассвете 22 мая. Никаких подробностей мы не знали. Мы узнали их много позже, но читателю я могу рассказать все так, словно тот трагический для Гульчи день встает перед моими глазами сейчас.

Двадцать первого мая в Гульче был базарный день. На базар съехалось несколько сот окрестных киргизов. Почему же так много? Никто не знает. Почему они без скота? Никто не задумывается. Должно быть, все покупатели. Почему среди них столько никому не знакомых лиц? Да просто понаехали издалека. Обычно в базарные дни приезжие отгоняют своих лошадей на пастбище. А сегодня лошади привязаны к молодым, в прошлом году посаженным деревьям. Лошади объедают побеги, с корнем вырывают деревья.

— Разве можно? — нахмурившись, говорит длинный киргиз — начальник милиции.

— Можно. Тебе дело какое? — крутя жиденькую бородку, вызывающе отвечает приехавший бай.

Он спорит, он нещадно ругается. Начальник милиции подходит к другим.

— Отвяжите лошадей!

Над ним издеваются, смеются в лицо.

— Хорошо, — отвечает начальник милиции. — Я оштрафую вас.

Тогда бородатый делает знак остальным. Они бросаются скопом. Взмахи ножей, вскрик, и начальник милиции мертвый лежит на земле.

Так начался этот день.

Съехавшаяся на базар банда вскакивает на лошадей... В кооператив влетает орава.

— Давай спички!

За прилавком молодая киргизка, комсомолка.

— На, друг, бери. Давай две копейки!

— Э... Две копейки?

Женщина взвизгивает под ударом камчи.

— Что делаешь? Зачем бьешь?! — кидается к прилавку ее муж.

Орава убивает киргизку и ее мужа.

...Десяток приехавших входит в комнату Тихонова, Тихонов только что проснулся. Встает, шлепает к ним босиком.

— Здравствуйте, товарищи. Что хорошего скажете?

Вместо ответа из-за спины других — пуля. Тихонов, не вскрикнув, падает на пол...

По Гульче — вой и стрельба. Жители бегут в горы. Басмачи ловят их, расстреливают и режут. Над Гульчой занимается пламя. Местный судья бежит в горы. В кобуре — наган, в кармане — маузер. Басмач подскакивает к судье, в упор наставляет винтовку.

— Давай оружие!

Судья срывает с плеча наган, бросает его на землю. Басмач спрыгивает за наганом, наклоняется. Судья вынимает из кармана маузер и, вклепав заряд в голову басмача, поднимает наган, вскакивает на басмаческого коня, скачет в горы. Судья остается жив. Впрочем, и басмач тоже жив. Через месяц я видел его: рана на его голове отлично зарубцевалась.

...Гульча горит. Трещит телефон в почтовой конторе. Трещат двери, и телефон умолкает. Из Суфи-Кургана срывается начальник заставы Любченко с одиннадцатью пограничниками. Они мчатся к Гульче. На заставе осталось всего семь пограничников.

Вечер. Черное небо. Нет, не черное – красное, потому что Гульча горит. По небу прыгают красные отсветы. Басмачи грабят истерзанную Гульчу. Двенадцать всадников, озаренных красным светом, на карьере спускаются с перевала. Лошади взмылены и хрипят. Завтра этих лошадей нужно будет убить: они загнаны. Но сегодня в них боевая взволнованность, и седоков своих они не подведут.

Двенадцать пограничников окружают Гульчу. Своим скорострельным маузером Любченко подражает пулемету, которого у него нет. Бой. Сотни басмачей бегут из черной, горящей Гульчи. Любченко входит в поселок. Сегодня на всю ночь хватает работы: патрули, восстановление телефона, перевязка раненых. Надо собрать убитых и похоронить их. Костры басмачей горят на окружающих сопках. Доносятся крики, ругательства, вой.

Из Оша на автомобилях до перевала Чигирчик, а дальше пешком спешит небольшой отряд. Из Оша мчатся два эскадрона маневренной группы. Они будут здесь послезавтра – 23 мая, во второй половине дня.

Часть банды собирается в глухих ущельях и снова пускается в путь: спешит в Суфи-Курган, чтобы взять заставу и разгромить ее так же, как разгромлена Гульча.

Утром 22 мая в Ак-Босого мы ничего об этом не знали, а потому и решили двинуться в Суфи-Курган.

В Памирской экспедиции Академии наук в 1928 году работал киргиз Джирон. Он бедняк и хороший человек: старый знакомый Юдина. Джирон живет в кочевке Ак-Босого, за два километра от нас, через реку. Посылаем за ним киргиза, известившего нас о басмачах и спокойно дожидавшегося нашего решения за палаткой.

Бойе потягивается, встает – веселый, смешливый. Коротко сообщаем ему...

— Басмачи? Да ну? Вы знаете – меня не надуете. Вот здорово придумали: басмачи! Ха-ха! Ну что ж, им не поздоровится. Я восемьдесят человек перестреляю. Я же призовой стрелок! Вот так одного, вот так другого...

— Юрий Владимирович, – тихо произношу я, – серьезно вам говорю: басмачи.

— Так я вам и поверил!

Бойе моется, прыгает, шутит.

Пьем чай в большой палатке. Приезжает Зауэрман. Приезжает Джирон. Коротко сообщают: лошадей нет, но можно достать ишаков и верблюдов. Бойе видит: мы не шутим. Сразу присмирел, молчит. Изредка почти про себя:

— Вот это номер... Ни за что б не подумал... Что же теперь делать?

Бойе растерян. У него, как всегда, все чувства наружу. Он не умеет размышлять про себя.

Собирались мы долго. Ждали верблюдов, перебирали вещи – часть мы берем с собой, часть оставляем на хранение Джирону: укладываем, связываем во вьюки. Зауэрман уехал один, не захотел дожидаться нас, высказав убеждение, что его, живущего здесь двадцать лет, не тронет никто. Он обещал в случае опасности вернуться к нам. Лагерь кишел понаехавшими с делом и без дела советчиками, любопытными. Привели верблюда – что нам один верблюд?

Час спустя привели второго... Мало! Мы ждали. Мне было нечего делать, и, разостлав на траве одеяло и разлегшись на нем, я писал подробный дневник за два дня и закончил его словами:

«10 утра. Вещи сложены. Ждем верблюдов. Сами пойдем пешком. В рюкзаках – все необходимое, на всякий случай. Оружие вычищено и смазано, кроме берданки, у которой сломан боек и к которой патронов нет...»

Юдин ходил по лагерю, объяснялся с киргизами, распоряжался. Бойе валялся на траве лицом к небу, нежась на солнце; я фотографировал лагерь, составлял опись имущества, оставляемого Джирону, – фураж, мука, котел, арканы, палатки караванщиков, ушедших на Капланкуль, мешки, железные «кошки», топор, что-то еще. Привели осла, привели еще двух верблюдов, Джирон все-таки достал нам трех маленьких – несоразмерных с нашими седлами – лошадей. Заседывали, вьючили; в одиннадцать

часов тридцать минут выступили: сначала караван, за ним мы верхами. Осман пешком. Встретили двух киргизов, спросили их: «Как там?» – и киргизы сказали: «Хорошо, спокойно». Было жаркое солнце, был полдень. Горы сияли белым великолепием снегов; мы переезжали вброд, реку, пересекали долину; трава пестрела маленькими цветами. Мы дышали сладким полынным воздухом, поднимались на перевал высотой три тысячи метров – это был Кызыл-Белес, или по-русски Красная спина.

Три киргиза, нанявшихся к нам караванщиками, шли молча, подвернув к поясам полы халатов, уставали, влезали на вьюки верблюдов. Возможность нападения басмачей мы допускали только теоретически, потому что была внутренняя уверенность в безопасности сегодняшнего пути. Скорей для очистки совести мы поглядывали по сторонам и были совершенно спокойны. Мы даже не торопились, да с вьюками и нельзя торопиться; мы смеялись, острили в меру отпущенных нам талантов, злословили друг над другом, подтрунивали и не обижались.

Я фотографировал и записывал показания анероида. Юдин определял геологические особенности пород и учил нас премудростям геологии. Бойе останавливался, вычерчивал в пикетажной книжке горизонтали глазомерной топографической съемки, догонял нас и спорил с Юдиным о победе в той шахматной партии, которую сыграют они на заставе. Дорога окутывала нас пылью красноцветных конгломератов. Мы ехали, и перезванивал колокольчик верблюда, и я смотрел, как осторожно разминает верблюд подушки своих ступней, переставляя мохнатые угловатые ноги, и слушал, как лошадь побряхтывает под Юдиным,

потому что Юдин тяжел и громаден, и радовался, что мне удобно в моем оставшемся со времен гражданской войны комсоставском седле. День был тихим, и хорошо было думать, мерно и лениво покачиваясь.

4

Под перевалом – три юрты, стадо овец и киргизы. Их не было здесь раньше. Долина зелена и открыта. Мы голодны.

– Заедем?

– Заедем.

Караван уходит вперед, но мы видим его. Спешиваемся в кругу пастухов. Из предосторожности поглядываем на лошадей; оружие с нами. Впрочем, тут все спокойно. Пастухи выносят айран (кислое молоко) и кумыс. Пьем из большой деревянной чашки. Среди киргизов важные старики – Закирбай и Суфи-бек. Юдин их знает. У Закирбая Юдин в позапрошлом году покупал скот. Тогда не обошлось без скандала – Закирбай сжульничал, а Юдин его уличил. Впрочем, об этой мелочи Закирбай, видно, забыл; он изысканно любезен сейчас и со славословиями подносит нам кумыс – почетное угощение. Выразив благодарность, мы щедро расплачиваемся. Нам льстят и подсаживают нас на коней. Догоняем караван.

Едем. Впереди и направо – изумительное нагромождение снежных хребтов. Потянул пронзительный и холодный ветер. На ходу развязываю привьючку, надеваю брезентовую, на вате, куртку. Бойе ленится развязать привьючку, ежится в пиджаке. Дорога ведет над рекой. Устье

бокового притока; медленно спускаемся зигзагами, едем по ложу реки, переправляясь то на одну ее сторону, то на другую. У Бойе оторвалось стремя, ему лень спешиваться; он подзывает Османа, который идет пешком. Осман привязывает стремя. Бойе карьером догоняет нас. Осман остался на том берегу – я возвращаюсь, подсаживаю Османа на круп моей лошади; переезжаем реку. Высоко на зеленом склоне правого берега кочевка, юрты. Большое стадо баранов россыпью катится по склону, к реке, к нам. Смеемся: «Атака!» К Юдину подъезжает дородный всадник, раболепно здоровается, приглашает заехать к нему в юрту, пить чай: «Большим гостем будешь!»

Мы только что пили айран – Юдин благодарит и отказывается. Позже мы узнали, что в этом было наше спасение.

Ложе реки поворачивает на север, входит в отвесные берега. Направо скалистая гора. Очень высоко, в черных прорезях снежных скал, настороженно замерли тонкорогие и тонконогие козлы – киики. Холодно. На переправах – вода лошадям по брюхо. Под копытами скрипят и ворочатся валуны, галька, щебень. Обрывы берегов все выше, это террасы конгломерата; в отвесных стенах промывины, узкие щелки. Налево по ложу реки – мелкорослые светло-зеленые кустики тала. Едем под самой стеной по правому борту ложа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАПАДЕНИЕ

1

Сверху, с террасы над глубоко лежащей рекой, с высоких, отвесных конгломератовых берегов, затаившаяся банда басмачей наконец увидела поджидаемый караван. Он тихо и мирно идет по ложу реки. Впереди из-под двух качающихся ящиков торчат большие уши умного маленького ишака. За ним гуськом, мягко ступая по гальке, тянутся четыре выючных верблюда. На выюках громоздятся три киргиза-караванщика. Банда знает: эти караванщики ее друзья, ведь вместе они обсуждали план. За верблюдами, таким же медленным шагом, движутся всадники, один, второй, третий... Три. Это те, ради кого здесь, по щелкам, по всей террасе, тщательно организована такая напряженная тишина. Каждый жест, каждое движение этих троих изучаются с того самого момента, как караван показался на повороте из-за горы. Вот едущий впереди маленький, бросив повод, закуривает папиросу и, оглянувшись, что-то со смехом говорит едущему за ним. Этот второй – он их начальник – большой, грузный; маленькая лошаденка тянет шею, вышагивая под ним. У обоих ремни, ремни – чего только не навешано на каждом из них! Ружей у них нет, это давно знает банда. Но где же их револьверы?.. А ну, где?.. Закирбай толкает под локоть Боабека, оба кряхтят, разглядывая. Закирбай успел вовремя, – он здорово мчался, чтобы окольной тропой обогнать караван и наладить здесь

все... Э... Есть... Хоп, майли²⁸. Третий едет, болтая длинными ногами; он вынул их из стремян и едва не цепляет землю. Ну и рост у него! У него на ремне карабин. Висит стволом вниз. Этот все отставал, останавливался, писал что-то. Теперь догнал, едет; морда лошади – в хвост коню второго. Сзади, пешком, четвертый... Это их узбек. Ничего, с ним возиться недолго.

Банда трусит: а вдруг не выйдет?

Нет. Они ничего не знают. Иначе не ехали бы так спокойно, не смеялись бы... Но из ущелья на реку выбежала лошадь – оседланная басмаческая лошадь – пить воду. Кто ее упустил? Они ее заметили... Первый, маленький, указывает на нее рукой, что-то пишет. Они поняли... Э... Пора начинать... Скорее... Давай!

Банда срывает тишину:

— Э-э!.. – один голос.

— Оооо-э-э! – десятки голосов.

— Ууй-оо-уу-ээй-ээ!.. – две сотни.

Боабек нажимает пальцем спусковой крючок. И сразу за ним – другие.

...Так вижу я сейчас то, что делалось вверху, на террасе.

Заметив выбежавшую на реку оседланную лошадь, я подумал, что это подозрительно. Указал на нее Юдину, сказал:

— Вот смотрите, какая-то лошадь!..

Вынул часы, блокнот, записал:

«4 часа 20 минут. Выбежала лошадь».

Не знаю, зачем записал. Юдин, кажется, понял. Он

²⁸ Хоп, майли – ладно, хорошо.

промолчал и огляделся по сторонам. Тут я заметил голову, движущуюся над кромкой отвесной стены, и сказал:

— Посмотрите, вот здорово скачет!

Это была последняя спокойная фраза. За ней – вой, выстрел, от которого разом поспрыгивали с верблюдов караванщики и от которого закружилось сердце, и выстрелы – вразнобой и залпами, выстрелы сплошь, без конца.

Как я понимаю, все было очень недолго, и размышлять, как мы размышляем обычно, не было времени. Все измерялось долями секунд. Это сейчас можно все подробно обдумывать. Тогда – напряженно и нервно работал инстинкт. Многое уже потеряно памятью. Я помню отрывки:

...спрыгнул с лошади, расстегнул кобуру, вынул маузер и ввел патрон в ствол...

...стоял за лошадью, опершись на седло, лицом туда, откуда стреляли...

...хотел выстрелить и подосадовал: пуля не долетит, и еще удивился: в кого же стрелять? (Ибо их, прятавшихся наверху, за камнями, за грядою стены, не было видно.)

...оглянулся – Бойе передает Юдину карабин: «он испортился... Георгий Лазаревич, он испортился»...

...все трое (тут Османа я не видал) – мы медленно, прикрываясь лошадьями, отходим к тому берегу (к левому, противоположному)... Пули очень глупо (как кузнечики?) прыгают по камням.

...взглянул назад: рыжая отвесная стена. Хочется бежать, но надо (почему надо?) идти медленно...

Юдин и я, прикрываемые лошадьями, ведем их в коротком поводе, а Бойе тянет свою за повод, – сам впереди, –

торопился, что ли? И еще: верблюды наши стоят спокойно и неподвижно, словно понимают, что их это не касается. А поодаль, также спокойно и неподвижно, три караванщика, — их тоже это не касается. Двоих из трех я никогда больше не видел.

Опять обрывки:

...Бойе и Юдин впереди меня. Бойе сразу присел, завертелся, вскочил, корчась и прижимая к груди ладонь.

— Павел Николаевич, меня убили... Георгий Лазаревич... убили! — голос недоуменный и — не могу иначе выразить — как бы загнанный.

Юдин был подальше, я ближе. Я крикнул (кажется, резко):

— Бегите!., бросайте лошадь, бегите!..

Бросил лошадь сам и устремился к нему. Бойе побежал согнувшись, шатаясь. Шагов десять, и как-то сразу — неожиданной преградой — река, но тогда я этого не заметил, я почувствовал только особую, злобную силу сталкивающего меня, сбивающего с ног течения. Бойе упал в реке, и его понесло. Я прыгнул на шаг вперед («Ну же, ну...»), схватил Бойе под плечи — очень тяжел, обвис, вовсе безжизнен. Еле-еле (помню трудный напор воды в мои колени) выволок его на берег... Пули — видел их — по воде хлюпали мягко и глухо... «Тащить дальше?..» Тело в руках, как мешок. Я споткнулся, упал. «Нет, не могу...» Положил его на пригорок гравия, побежал зигзагами, пригибаясь, споткнулся опять. Падая, заметил: плоского валуна коснулись одновременно моя рука и пуля. «Попало?..» Нет... Дальше. (Юдин позже сказал мне: «Вижу, упал... ну, думаю, второй тоже...»)

Добежав до откоса левобережной террасы, я полез, карабкаясь, вверх по склону. Но он встал надо мной отвесом. Я цеплялся руками и прокарабкался вверх на несколько метров. Земля осыпалась под пальцами. В обычных условиях, конечно, я не одолел бы такого обрыва. А тогда, помню, задохнулся и с горечью взглянул на остающиеся несколько метров стены. Невозможно... У меня не хватало дыхания. Остановился. Правее, на узкой осыпи, остановились, как и я, Осман и Юдин...

Я пробирался к ним и увидел маленькую нишу, встал в нее спиной к скале, встал удобно, крикнул (хотелось пить):
— Георгий Лазаревич! Идите сюда! Тут прикрытие...

Юдин посмотрел на меня: он был бледен, поразительно бледен, — посмотрел и безнадежно махнул рукой:

— Какое это прикрытие!...

2

Стрельба прекратилась. Несколько минут выжидания. Внизу галечное ложе, река. За нею — высокая стена берега, и по кромке то здесь, то там — мелькание голов. Под стеною — четыре спокойных верблюда. Внизу, направо, — неподвижно, навзничь лежащий Бойе. Над нами сзади уже слышны крики: мы взяты в кольцо.

Юдин передал мне карабин.

— У меня ничего не выходит... попробуйте починить.

Я тщетно возился с карабином: не закрывался затвор...

— Нет, не могу... — Я вернул Юдину испорченный карабин.

В тот момент никто из нас не знал (да и не думал об

этом), что будет дальше, через минуту. Впереди, над гребнем террасы, появилась белая тряпка; из щелки напротив карьером вылетел всадник, мчался вброд через реку, к нам. Я снял с ремня кобуру, спрятал в полевую сумку. Правая рука с маузером на взводе лежала в кармане брезентовой куртки.

Всадник — я узнал нашего караванщика — осадил лошадь под нами, что-то кричит. Юдин и Осман ему отвечают. Разговор — по-киргизски. Я по-киргизски не говорю.

Басмачи предлагают нам сдать оружие.

Положение наше: нас трое, бежать некуда; прикрытия нет; отстреливаться нечем: испорченный карабин да два маленьких маузера, из которых бить можно только в упор. Сзади — над нами, впереди — по всему гребню террасы повысовывались головы бесчисленных басмачей. Они ждут. Может быть, еще можно помочь Бойе? Говорю это Юдину. Осман: «Нас все равно перережут». Но выбора нет. Юдин передает всаднику бесполезный карабин. Маузеры не сдаем.

3

Потрясая над головой карабином, всадник летит назад под ликующий, звериный, отовсюду несущийся вой. Банда — сто, полтора ста, двести оголтелых всадников — карьером, наметом, хлеща друг друга нагайками, стреляя, вопя, пригибаясь к шеем коней, льется из щелок по ложу реки, по склонам — со всех сторон. Каждый — жаден, безумен и яростен. Опьяненная бешеная орда, суживая круг, пожирает пространство, отделяющее ее от добычи. Кто скорей до нее дорвется, тому больше достанется.

Навстречу, пешком, медленными шагами, по склону горы спускаются трое. Двое русских с маузерами в руках, один безоружный узбек...

4

Нас взяли. Как вороны, они расклевали нас. Меня захлестнули рев, свист, вой, крики... Десятки рук тянулись ко мне, обшаривали меня, разрывали все, что было на мне... Меня мяли, рвали, раздергивали... Бинобль, полевая сумка, маузер, анероид, компас, тетрадь дневника, бумаги, все, что висело на мне, все, что было в моих карманах, – все потонуло в мельканье халатов, рук, нагаек, лошадиных морд и копыт... Разрывали ремни, не успевая снять их с меня. Каждый новый предмет вызывал яростные вопли и драку. Я стоял оглушенный, подавленный. Я молчал. И вдруг я лишился кепки. Она исчезла с головы. Мне показалось это слишком, и я стал ожесточенно ругаться, показывая на свою голову. Сейчас я улыбаюсь, вспоминая, как тогда из всего, что со мной делали, возмутило меня только одно: исчезновение кепки. Почему именно это взорвало меня тогда, сейчас мне уже трудно понять. Но я ругался неистово и размахивал кулаками. И, самое удивительное, басмачи на мгновение стихли и расступились, оглядывая друг друга, и один молча показал рукою: измятая кепка спокойно лежала под копытом лошади. Я нырнул под лошадь, с силой оттолкнул ее ногу и выхватил кепку... И басмачи снова сомкнулись вокруг меня.

Когда меня обобрали до нитки, когда драка из-за вещей усилилась и сам я перестал быть центром внимания, я

протолкался сквозь толпу. Никто меня не удерживал. Я побежал к Бойе, склонился над ним. Он лежал навзничь. Ботинки и пиджак были уже сняты с него, карманы выворочены наружу. Открытые и уже остекленевшие глаза его закатились, язык свернулся и словно разбух в приоткрытом рту, лицо было белым – странная зеленая бледность. Я сжал кисть его руки: пульса не было. Я задрал рубашку на груди: вся грудь была залита клейкой кровью. Я скользил пальцами, искал рану. Подбежавший вслед за мной, так же, как и я, обобранный, Юдин пытался прощупать пульс и обнаружить признаки жизни. Сомнений, однако, не было.

— Убит! – глухо произнес Юдин.

Я не успел ничего сказать: налетевшие снова басмачи схватывают меня сзади, ставят на ноги, больно загибая мне локти назад. Я помню, что крикнул сгрудившимся вокруг басмачам, головой указывая на тело Бойе:

— Яман!.. Яман²⁹...

Один засмеялся, другой спрыгнул с лошади, повернул ее задом. Крепко держат меня и Юдина. Обматывают арканом ноги Бойе, другой конец аркана привязывают к хвосту лошади. Удар камчой – и лошадь идет вперед, волоча по камням тело Бойе. Вижу: его голова и откинутые назад руки прыгают с камня на камень. Я забыл, что он мертв, мне подумалось: «Ему больно», и самому мне вдруг до тошноты больно, я вырываюсь, бегу вслед, но у кустов меня снова схватывают, а его отвязывают от хвоста лошади и бросают здесь.

Меня вскинули на круп лошади к какому-то басмачу и,

²⁹ Яман – плохо.

окруженного оравой всадников, карьером повезли назад, через реку, туда, где щипали кустарничек наши верблюды. В пестроте халатов мелькнула фигура Юдина: его везли так же, как и меня.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ В ПЛЕНУ

1

Вся страна сплеталась из горных хребтов. Они сверкали снегами, и в расположении их была величайшая путаница. Множество лощин и долин покоилось между ними. В разные стороны текли реки. Всюду царило глубочайшее безмолвие, и необъятным казалось безлюдье. Даже ветер не нарушал покоя высоких пространств. Над всем этим в лучах солнца синело бестрепетное чистое небо. И только в одной точке бесновалось галдящее скопище людей. Гуща из пеших и всадников копошилась вокруг троих. И если б внезапно я перенесся отсюда в дом для буйнопомешанных, он казался бы мне тишайшим и спокойнейшим местом в мире. Спокойными здесь были только четыре верблюда, Бойе да наши распотрошенные ягтаны³⁰ и тюки, которыми распоряжались Закирбай, Суфи-бек, мула Таш, старики. Конечно, обо всем этом я не думал тогда...

Аркан... За спиной мне связали руки арканом, стягивая узлы. Словно со стороны наблюдая, я рассчитывал: треснут

³⁰ Ягтаны – выючные ящики.

или выдержат плечевые суставы? Они выдержали, и была только острая боль. Меня протолкнули в середину гущи, к разъятым ягтанам. Здесь, такой же связанный, поддерживаемый басмачами, Юдин называл старикам каждую из вынимаемых ими вещей. Старики боялись: нет ли бомбы в ягтанах? К сожалению, бомб у нас не было. Закирбай попробовал было записывать вещи (это удивило меня), но ему помешали. Басмачи в давке терзали вещи и растаскивали их по щелкам. Меня поволокли назад. Помню:

...Молодой басмач направляет на меня ружье. Инстинкт подсказывает: я улыбаюсь... Улыбка – единственное мое оружие... Басмач, кривя губы, кричит: он разъярен, и дырочка ствола покачивается перед моими глазами. Словно огненная точка ходит по моей груди – мускульное ощущение того места, куда сейчас вопьется пуля... Другой басмач отталкивает ствол, прыгает ко мне. Его прельстили пуговицы на моей брезентовой куртке. Он торопливо срывает их. Деревянные пуговицы, они ломаются под грубыми пальцами. Он все-таки их отрывает одну за другой, шарит в моих карманах – пусто. Его отталкивают двое других: им тоже надо ощупать меня. В маленьком поясном кармашке моих галифе – часы на ремешке. Восторженный крик, рывок – вижу болтающийся обрывок ремешка. Добытки убегают, дерясь и стегая друг друга камчами.

Разве расскажешь все? Было много всякого, пока длился грабеж внизу, на ложе реки. Таскали из стороны в сторону, накидывались с ножами, свистели камчами, направляли мултуки и винтовки; самые отъявленные стремились во что бы то ни стало разделаться с нами, и каждый раз спасала только случайность. Могу сказать: нам исключи-

тельно везло в этот день. Было несколько попыток снять с меня сапоги, но каждый стремившийся завладеть ими был оттеснен жадной завистью остальных... Сапоги... Я все время таил надежду, что удастся бежать. А если снимут? По острым камням, по колючкам, по снегу – как побежишь? Какой-то старик развязал мне руки. Что это – проблеск жалости? Или понадобился аркан? В расчете, что, рискуя попасть в своих, они не станут стрелять, я стремился замешаться в гуще, стоять теснее, вплотную к басмачам, и этот расчет был правилен. Почти подсознательная у меня была тактика: держаться непринужденно, улыбаться, свободно ходить. Был нервный, почти инстинктивный учет каждого своего слова, жеста, движения; это помогало созданию нужного впечатления о себе. Так успокаивают свору цепных собак. Ошибиться нельзя. Неверное движение, жест, слово – и пуля или удар ножом обеспечены. Вид страха действует на басмачей, как вид крови: они стервенеют.

Моя задача – держаться ближе к Юдину. Он понимает язык, может объясниться с ними. Он изумительно хладнокровен и не теряет требовательного тона, так, словно он дома, сила за ним, и он может приказывать. Это действует. Когда при мне у него выхватили бумажник, он что-то властно и гневно кричал. Его могли тут же убить, но ему вернули бумажник с документами, взяв только деньги. Я верил внутренней силе Юдина. Я старался держаться ближе к нему, но едва удавалось приблизиться – нас растаскивали. Османа я не замечал вовсе. Это понятно: он в халате ничем не выделялся из толпы. Юдину удалось уговорить Закирбая: вижу, Юдин вскарабкался на круп лошади. Юдин кричит мне:

— Подсаживайтесь к старику... Какому-нибудь... Так вернее!

Старики кажутся спокойнее, они одни не потеряли рассудка. Но меня не берут. Отмахиваются камчами. Увертываясь от ударов, мечусь от одного к другому. Наконец один указывает на меня молодому. Этот сдерживает коня, вынимает левую ногу из стремени. Отгибается вправо. Ставлю ногу в его стремя, хватаюсь за него, садясь на круп коня, охватываю бока басмача ладонями. И сразу — галоп, и мы с площадки, мимо толпы, мчимся в узкую щель над обрывом. Конь скользит, спотыкается: кажется, сейчас сорвемся... Пробрались... Кусты. Группа горланящих. Басмач, осадив коня, сталкивает меня. Кричит, указывая мне на ноги. Понимаю. Он хочет отнять сапоги. Жестами пытаюсь отговорить. Орет, лицо исказилось, насккивает конем, взмахивает ножом... другие подскочили, валят на землю, стаскивают сапоги. Басмач хватается за добычу, озираясь, сует сапоги за пазуху, опрометью скачет назад. Встаю. В тонких носках и холщовых портянках больно. Меня выгоняют из щели к толпе.

Все это длилось, быть может, час... или два... Разве я знаю?

В банде — смятение. Что-то случилось. Пешие ловят коней, всадники волокут остатки вещей, поспешно растекаются по щелям. Меня рванули, гонят перед собой; бегу босиком, некогда думать об острых камнях. По узкой размывине, по штопору каменного колодца, скользя, спотыкаясь, хватаясь за камни, поднимаюсь на террасу. Она зелена, травяниста, прорезана поперечными логами. Банда рассыпалась по балкам, по логам, по всем углам. Никто не

кричит. Надоевший вой оборвался. Тишина. Меня держат за руки за углом скалы. Выжидательная, напряженная тишина. Что такое? Надо мной склон горы. Зеленый луг террасы обрывается над рекой. Отсюда реки не видно. С винтовками, с мултуками басмачи залегли на краю, над обрывом террасы. Ждут. Так же они ждали и нас. И опять то же самое. Вой и стрельба. Палят вниз, я не знаю, в кого. Снизу отвечают. Кто там? Сердце совсем расхотелось. Быть может, спасение?

Ожесточенные залпы. И разом – тишина. На миг. За ней – удешаженный вой. Басмачи срываются с мест, вскакивают на лошадей и потоками льются вниз. Они победили. Там тоже все кончено. А мы остаемся здесь – с нами небольшая часть банды. Меня больше не держат. Я на краю лога. На другой стороне – группа всадников: старики. «Штаб». Закирбай и Юдин – на одной лошади. Как мне пробраться туда? Пытаюсь объяснить: «Хочу туда... к товарищу... можно?» Не пускают. Все же незаметно спускаюсь по склону. Не удерживают. Дошел до середины спуска. Рев и камни... Меня забрасывают камнями. Два-три сильных удара по руке, в грудь... Целятся в голову. Камни летят потоком. Еле-еле выбираюсь назад. Орут, угрожают!.. Басмач глядит на меня в упор. Взгляд жаден. Как намагниченный, медленно, вплотную подходит. Глядит не в глаза, ниже – в рот... Тянет руку ко рту. Мычит. Он увидел золотой зуб. Медлит, разглядывая, и я замыкаю рот. Резко хватается меня за подбородок, вырываюсь; он – сильнее, сует грязный палец (отвратительный кислый вкус) в рот, нажимает. Вырываюсь. Меня удерживают другие, им тоже хочется получить золото. Претендентов много. Они де-

ругся за право вырвать мой зуб. «Яман, яман», – жестами, словами хочу объяснить, что зуб вовсе не золотой, просто «покрашен золотом». Как объяснить?

Дерутся и лезут. Подходит старик, тот, развязавший руки, отгоняет их... Зуб цел.

«Штаб» переезжает на эту сторону, чтобы отсюда по щели спуститься вниз.

Мы на дергающихся крупах, вместе наконец – Юдин, я, Осман. Банда увлекает нас вниз. Вниз, к реке, через реку, по левому борту ложа; вверх, тут глубокое ущелье бокового притока; речка Куртагата. Над устьем ее, на ровной площадке, копошащаяся орда басмачей. Что они делают там? Мы, приближаясь, видим: там маленькая, отдельная, неподвижная группа. На краю площадки, над обрывом к реке. Пленные?.. Да. Их хотят расстрелять... Вот они встают в ряд. Мы вырвались на площадку, смешались. Внимание басмачей от пленных отвлечено... Это русские?.. Женщины, среди них женщины!.. Защемило сердце... Меня сбросили с лошади. В давке бесящихся, лежащихся лошадей я верчусь, увертываюсь от топчущихся копыт – не задавили бы! Из толпы рвутся выстрелы в воздух. Смотрю на русских сквозь беснование толпы. Они неподвижны. И неподвижность в этой свалке поразительна. Словно они изваяния. Словно они из красной меди – это от мужчин. Женщины в высоких сапогах, в синих мужских галифе, в свитерах. Разметанные волосы, красные лица – красный свет заливает их мятущиеся глаза. Слева мужчина: высокий, очень сухоощавый, узкое умное лицо, небритые щеки, пестрая тюбетейка, роговые очки... На руках он держит ребенка лет трех. Ребенок припал лицом к его плечу. Вто-

рой мужчина коренастый, плотный, широкоплечий – такими бывают дюжие сибиряки. Белый тулуп накинута на плечи. По груди, на согнутую в локте руку, набегают кровь. Ранен в плечо. Третий – молодой парень в защитной гимнастерке, светловолосый, без шапки. Чуть позади – узбек в полосатом халате, молитвенно сложил руки. Его лица я не помню. Все семеро молчат. Ни словом перекинуться мы не можем, да и что мы сказали бы друг другу? Их окружают, ведут мимо нас, и высокий говорит женщинам: «...Главное, не надо бояться... держитесь спокойнее... все будет хорошо, не надо бояться...» Их уводят по горной тропе, вверх, откуда валится красный пожар заката. Что сделают с ними?

О, теперь-то я знаю, что сделали с ними!

2

Кто были эти люди, мне стало известно значительно позже. Тот высокий, с умным лицом, что держал на руках ребенка, – это был Погребницкий, заведующий кооперативом Узбекторга на Посту Памирском, или, как в просторечье называют, Пост (из-за реки, на которой он расположен) – на Мургабе. Юдин узнал Погребницкого – он встретился с ним год назад на Памире, но остальных Юдин не знал, так же, как и я. Вся эта группа возвращалась с Мургаба.

Погребницкий жил на Памире три года. Это громадный срок. Обычно служащие на Памире живут год, самое большее – два. Климат тяжел. Четыре тысячи метров высоты над уровнем моря и отдаленность от всего мира томят людей и расшатывают их здоровье. Немногие жены едут на

Памир со своими мужьями. Большинство дожидается их возвращения в городах Средней Азии. Жена Погребицкого, молодая, красивая, очень здоровая женщина, поехала вместе с ним на Памир. Даже киргизки спускаются в нижние долины, чтобы рожать детей. На такой высоте трудны и опасны роды. Но у жены Погребицкого ребенок родился на Посту Памирском. Все обошлось превосходно, ребенок был здоровым, розовощеким, веселым. Осенью этого года кончался срок работы на Памире Погребицкого, и жена с ребенком решила уехать раньше, чтобы приготовить в Узбекистане квартиру и наладить хозяйство к возвращению мужа. Жена Погребицкого – смелая женщина – не боялась снегов Ак-Байтала, высокогорной пустыни Маркансу, усыпанной костями животных, перевала Кызыл-Арт через Заалайский хребет. Муж не решился пустить ее без себя, поехал провожать до Алайской долины.

Черемных – начальник особого отдела ГПУ на Посту Памирском. Первая жена его была убита басмачами. Он женился вторично. Срок его пребывания на Памире кончался летом этого года. Вторая жена его, как и жена Погребицкого, решила уехать раньше. Сам Черемных не мог покинуть Поста, он поручил жену Погребицкому.

Ростов – ташкентский студент, отбывающий практику на Памире, – тот парень в защитной гимнастерке. Он и его жена торопились вернуться с Памира.

Рабочий, золотоискатель, исходивший весь Памир, излазивший все его трущобы, – тот дюжий, в белом тулупе. Не одну тысячу километров исходил он пешком, там, где только ветер, и свист, и безлюдье. Пора наконец возвращаться с Памира, он заскучал по черноземной России.

Мамаджан – узбек-караванщик, опытный лошади и верблюжатник, вся жизнь его прошла на караванных путях.

Таджик – второй караванщик. Его расчеты просты: заработать немного денег, купить для своей семьи подарки и вернуться к себе домой.

Все соединились, чтобы вместе преодолеть памирские снега. Труден был путь до Алая, но верхами, без вьюков, налегке, ехали быстро. В Алае Погребницкий хотел повернуть обратно – ведь главные трудности пройдены, дальше жене его почти не грозят опасности. Но в Алае к ним подъехал киргиз и сказал, что понаслышке где-то здесь орудуют басмачи. Погребницкий решил проводить жену до Суфи-Кургана. Погребницкий опытный человек в борьбе с басмачами. Встречается с ними не в первый раз. У Погребницкого две ручные гранаты, винчестер, двести пятьдесят патронов к нему и наган. Остальные тоже неплохо вооружены.

Мургабцы не доехали до Суфи-Кургана двенадцати километров, только двенадцати. Попали в засаду. Отстреливались. Были обезоружены. Золотоискатель пытался бежать, его ранили и мгновенно схватили. Не попался только таджик. Он шел пешком, сильно отстал, услышав стрельбу, бежал. После многих бед и лишений, много дней спустя ему удалось вернуться на Пост Памирский.

Все это теперь знает читатель. Мы тогда знали только то, что мы видели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БАСМАЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

1

Ночью мы сидели в юрте, в кругу тридцати басмачей; по их каменным лицам прыгали отблески красного, жаркого пламени. Мы тянули руки и ноги к костру, чтобы красный жар вытеснил из нас тот леденящий холод, от которого мы содрогались. Шел пар от нашей мокрой и рваной одежды. С отвращением отворачивались от еды и питья, поглощаемых басмачами, хоть и не имели ни маковой росинки во рту с утра. И руками, на которых запеклась кровь Бойе, смешавшаяся с глиной и конским потом, я отстранял чай, предложенный мне тайно сочувствовавшей нам киргизкой, забитой женой курбаши Тюряхана. Смотрели на деловитую дележку имущества, вынимаемого из наших ягтанов, и угрюмо молчали, когда ценнейший хрупкий альтиметр басмачи перешвыривали один другому, и нюхали его, и прикладывали к ушам: не тикает ли? Условливались не говорить ни слова друг другу, чтобы басмачи не заподозрили нас в сговоре о бегстве. Беспокоились о судьбе Османа, который исчез на пути сюда и о котором басмач сказал: «Узбека увез к себе Суфи-бек. Узбеку хорошо». Слушали завывания ветра, когда вокруг нас вперевалку залегли спать басмачи, и передумывали прошедший день, показавшийся длиннее целого года. И, помню, не удержались от печальной улыбки, когда Юдин положил мокрые свои сапоги под голову – «чтоб не укра-

ли». Лежали, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы усмирить холодную дрожь хоть своим собственным теплом, когда погас костер и ледяной ветер, поддувавший сквозь рваную боковую кошму³¹, пронизывал нас до костей. Спали, не заботясь о том, прирежут нас спящих или отложат резню до утра. Проснулись от грубых толчков и запомнили черное небо и великолепные звезды, стоявшие над отверстием в своде юрты. И не верили сами себе, что на час или два сон увел нас от всей этой почти фантастической обстановки. Слушали, как трещала ветвями арчи киргизка, вновь раскладывая костер. Снаружи храпели лошади, и до нас доносились понимаемые Юдиным крики спорящих:

— Куда их еще таскать? Надо тут, сейчас кончать с ними, зачем откладывать это дело?

...И снова ехали на острых, больно поддающих крупах басмаческих лошадей, держась за спину сидящего в седле врага. Ехали из темной предутренней мглы в розовое утро, в солнечный тихий день по узкому, как труба, ущелью, по чуть заметной скалистой тропе, над лепечущим ручьем... Над нами громоздились черные скалы, заваленные глыбами снега, всей весенней сочностью дышала в лощинах трава; цеплялись за нас, словно предупреждая о чем-то, темно-зеленые лапы арчи. Голод и жажда, неукротимые, мучили нас.

2

...Дальше некуда. Врезались в самый Алайский хребет. Высоко, почти прямо над нами — снега. Они тают, и вода

³¹ Кошма — войлок.

бежит вниз множеством тоненьких струй. Они соединяются в ручейки, несутся по скалам вниз, распыляются в воздухе тонкими водопадами. Отсюда видно, где родился тот ручей, над которым мы ехали. Расширившись, он бежит мимо нас, несет с собой мелкие камешки, скрывается за поворотом. Там, ниже, так, как десятки других ручьев, он вольется в мутную реку Гульчинку, вдоль которой вчера мы двигались караваном. Помутнев от размытой глины, он сольет свои воды с ней. И эти воды помчатся вниз в широком течении Гульчинки. Будут ворочать острые камни, окатывать их, полировать, чтобы стали они круглыми валунами; еще на несколько миллиметров углубят дно долины, помогая тем водам, которые за тысячи лет углубили долину на сотни метров, прорезали в ней крутостенные глухие ущелья... Шутя и плещась, промчатся мимо заставы Суфи-Курган, мимо Гульчи, до Ферганской долины. Здесь, нагретые солнцем, успокоенные, разойдутся арыками по хлопковым полям, по садам абрикосов, дадут им веселую жизнь... Опять соединятся с другими водами, текущими с гор так же, как и они, и все вместе ринутся в многоводную, великую Сырдарью, которая понесет их сквозь пески и барханы пустынь до самого Аральского моря, где забудут они о своем рожденье в горах, о снегах и отвесных скалах, о своем родстве со всеми среднеазиатскими реками, составляющими Сырдарью и Амударью и бесследно исчезающими в знойных азиатских пустынях...

У ручья, который сейчас струится над нами, распыляясь в тонкие водопады, – долгая жизнь и долгий путь. А наша жизнь и наш путь – не здесь ли теперь окончатся?..

Налево от нас – очень крутой, высокий травянистый

склон. Направо – причудливые башни и колодцы конгломератов, когда-то размытых все теми же горными водами.

А здесь, на дне каменной пробирки, – ардовый лес, травяная лужайка, перерезанная ручьем. Отсюда не убежишь...

На лужайке – скрытая от всех человеческих взоров кочевка курбаши Закирбая: шесть юрт. По зеленому склону и в арче пасется мирный, хоть и басмаческий, скот: яки, бараны. А здесь – женщины, дети, – у курбаши большая родовая семья. Все повылезали из юрт поглазеть на пленных.

Нас вводят в юрту. Поднимает голову, в упор глядит на нас из глубины юрты старик Зауэрман. Впрочем, мы не удивлены.

— Вы здесь?

Моргает красными глазами, удрученно здоровается:

— И вас?

— Да, вот видите.

— А где ваш третий?

— Убит.

— А-а... убит... Мерзавцы!.. Ну и нам скоро туда же дорога... на этот раз живым не уйду! – старик умолкает, понутив голову.

3

Тахтарбай – родной брат курбаши Закирбая. Юрта Тахтарбая богата: одеяла, сложенные по стенкам, сундучки в подвесках, витых из шерсти, узбекская камышовая циновка, как ширма, по хорде отрезающая женскую половину юрты. Как всегда – посередине очаг с треногами, казанами,

кумганами³², а вокруг очага – грязные кошмы и бараньи шкуры – подстилка, на которой полулежим мы. В юрту набились басмачи; жена Тахтарбая хозяйничает за циновкой. В ушах – монотонный гул непонятных мне разговоров.

Я гляжу на корчащуюся в огне смолистую арчовую ветвь, на подернутый пеплом айран в деревянной чашке, на едкий дым, рвущийся в кружок голубого неба над моей головой. Еще не хочется верить, что мы в плену. Но не верить нельзя... Удивительно, что мы еще живы.

Мы условились не разговаривать. Юдин и Зауэрман знают киргизский язык. Прислушиваются. Каждый изгиб настроения басмачей им понятен. А я – как глухонемой. Ловлю только лаконические фразы Юдина, произносимые украдкой, шепотом, без подробностей, – те отрывочные слова, которыми он уведомляет меня о важнейших поворотных пунктах событий.

А у басмачей такая манера: самый пустяк, самую незначительную мысль передавать друг другу таинственным шепотом, отойдя в сторону, присев на корточки и почти соприкасаясь лбами. Может, и ничего плохого нет в том, о чем они сейчас шепчутся, а впечатление отвратительное.

Время тянется...

4

Юдин осмелился зайти в одну из юрт. Юрта была бедна и грязна. Ее кошма изветшала, деревянный остов ее коряв и задымлен. Вместо одеял постелены сшитые рваные шкуры.

³² Кумган – кувшин.

Больной барашек лежал в юрте. Он был завернут в тряпки, и его выхаживали, как человека. В куче детей прыгал козленок – дети играли с ним. Хозяин приветливо встретил Юдина, усадил его на почетное место, угощал айраном и мясом и сказал, что мясо редко бывает в его юрте, потому что он беден, – у него только два барана и одна большая коза, а детей у него – видишь, сколько!.. Хозяин жаловался на судьбу и на Закирбая, хозяин говорил, что басмачом он вовсе не хочет быть, но Закирбай его кормит, и что же делать ему, когда Закирбай велит? «Я не пошел в банду, потому что не хочу убивать и грабить. Награбленное Закирбай все равно возьмет себе, а у меня было два барана и опять будет два барана». И еще жаловался Юдину бедняк, говорил, что придут кзыл-аскеры³³, конечно, придут, и что тогда будет? Закирбай побежит в Китай и велит всем бежать, а как бежать? Хорошо Закирбаю – потеряет много скота, много имущества, а все равно богатым останется, ему можно терять... А он, бедняк, что потеряет? Двух баранов, юрту... Не на чем ему увезти юрту – лошади нет, яка нет. Тогда что делать? Помирать с голоду надо?.. Да?.. А остаться здесь он не может... Закирбая боится, кзыл-аскеров боится...

Юдин говорил с бедняком... И надеялся Юдин, что бедняк поможет нам бежать. Но бедняк замахал руками. Нет, «мэнэ уим чекада», что примерно значит по-русски – «моя хата с краю». Сам он ничего худого нам делать не будет, но и помогать тоже не будет... Как можно нам помогать? Закирбай убьет его, если узнает.

³³ Кзыл-аскеры – красные солдаты.

— И куда убежишь? Разве можно скрыться отсюда?.. Нет, друг, не сердись, иди в юрту Тахтарбая, сиди, жди. Убьет тебя Закирбай, не убьет, — разве тут можно что-нибудь изменить? Его воля. Я боюсь Закирбая, иди, я не слышал, я ничего не знаю...

Юдин распрощался с забитым и подневольным киргизом и рассказал мне о нем, когда я вернулся в юрту, убедившись в невозможности бегства.

...И все-таки — если даже можно выйти из юрты — у нас сейчас относительная свобода. Она продлится до возвращения главарей. Они могут вернуться в любую минуту.

5

До последней минуты звала на помощь захваченная басмачами Гульча. Уже трещали двери почтово-телеграфной конторы, а бледный почтарь все еще вызывал в телефонную трубку. Пуля пробила мембрану, и связь с Гульчей оборвалась.

Как ветер, с одиннадцатью пограничниками помчался на выручку начальник заставы Суфи-Курган Любченко. На заставе остались его жена и ребенок. На заставе остались шесть бойцов-пограничников во главе с помначзаставы — узбеком Касимовым.

В одиннадцать часов утра 23 мая семьсот басмачей осадили заставу, рассыпавшись по склонам окружающих гор.

На заставе не было пулемета. Басмачи перерезали телефонную связь и отвели арык, питавший заставу водой. Четверых пограничников Касимов послал на ближайшую

вершину – ту, от обладания которой зависела участь заставы. Дело было бы кончено, если бы эта вершина была сдана. Один пограничник защищал конюшню. Касимов с последним – шестым пограничником отстаивал постройки заставы и кооператив. Жена Любченко взяла винтовку и тоже стреляла. Басмачи кричали:

— Сдавайся, Касимов, все равно нарежем полос для собак из твоей проклятой груди.

И Касимов крикнул в ответ:

— Сдавайтесь сами! Чекисты не сдаются! Они – побеждают!..

Шесть пограничников под начальством Касимова отстреливались до ночи. Семь мужчин и одна женщина отстреливались от семисот...

В этот день мы томились в юрте Тахтарбая, родного брата курбаши Закирбая. Сам Закирбай был в числе осаждавших заставу.

6

Вечер. В юрте сгущаются сумерки. Монотонно сипит на очаге кумган да лениво похрустывает ветвями огонь. Вокруг одно и то же: тишина. А у нас – ожиданье. И все это сразу лопнуло, рассыпалось по кочевке шумом, ржаньем, топотом, суетой. В кочевку примчалась орава всадников. Тяжелое дыхание, потный халат, грузная туша – ввалился в юрту Тахтарбай, сел у огня.

Держа на руках грудного ребенка, жена Тахтарбая сидела у котла на корточках, помешивая громадной, как ковш, деревянной ложкой кипящую шурпу.

— Уедешь, и нет тебя, а я беспокоюсь...

Разразившись тяжелой бранью, Тахтарбай выхватил из котла громадную ложку с кипящим супом, привстал, потянулся, ударил... Рука женщины залилась кровью, ошпаренный ребенок пронзительно завизжал, жена Тахтарбая, не смея отскочить, только пригнулась, прикрывая собою ребенка и беззвучно обливая его слезами. Тахтарбай ударил ее еще два раза и сел на место.

Я увидел лицо древнего варвара с бешеными, не знающими пощады глазами...

В полном молчании Тахтарбай алчно пожирал суп. Отвалившись, рыгнув, обгладив руками бороду, он кольнул Юдина злыми свиными глазками.

—Суфи-Курган взят.

Юдин, понимая, что это значит для нас, молчал.

Отдышавшись, Тахтарбай поднялся, кряхтя, упираясь руками в землю, и вышел из юрты.

Юдин встал, томительно потянулся, заложив на затылок ладони, и, не глядя на нас, вышел вслед. Из-за войлока юрты донеслись голоса.

Тахтарбай вернулся один, опустился рядом с Зауэрманом, что-то долго шептал ему на ухо. Потом оба легли на животы, ногами ко мне, продолжая шептаться. Мирно, может быть, дружественно? Замолчали. По движению локтя Зауэрмана я понял: он пишет. Что? Почему такая скрытность? Какие могут быть тайные переговоры у них? Привстали. Тахтарбай похлопал по плечу Зауэрмана, опять вышел из юрты.

Я вопросительно взглянул в глаза Зауэрману. Я не решился прямо спросить его, что все это значит. Зауэрман

отвел глаза в сторону, промолчал, лег спиной ко мне. Подозрение мое становилось уверенностью. Что мог я подумать? Они решили отпустить старика Зауэрмана – его одного. Потому и молчит Зауэрман, не решаясь сказать мне правду...

Входит Юдин со сжатыми плотно губами, с окаменевшим, тяжелым лицом. Садится рядом со мной. Не могу удержаться:

— Ну что?

— Кончено наше дело...

Я молчу. Потом спрашиваю:

— Что именно? Резать?.. Или иначе?

— Да уж... – мрачным смешком заменяет Юдин ответ.

В юрту ввалились басмачи – старики, молодежь, расселись по кругу, загомонили, затараторили. Один втащил чан с кровавым, изрезанным на большие куски мясом. Взял топор и тут же, у моих ног, дробит кости. Мясо хлупает и обрызгивает меня кровью. Я гляжу на топор, на кровавое мясо, на невозмутимое лицо басмача и не могу избавиться от возникающих сопоставлений.

«Что же они еще тянут?..»

Юдин наклоняется ко мне, шепчет:

— Ну как, Павел Николаевич... Поедете второй раз на Памир?

Второй раз?.. Вопрос так нелеп, что я не могу удержать улыбки.

— Отчего ж? Поеду... если выберемся... А не выберемся, то ехать некому будет!

Я мысленно десять раз повторяю вопрос. Мне неловко перед собой, оттого что мне очень смешно. Придумал, что спросить! Такая нелепость!..

Варится мясо. Все то же. Сидят, тараторят, не обращая внимания на нас.

Едят мясо – черпают его из темной гуши котла. В руках деревянные (ручки приделаны сбоку) ладьевидные ложки. Разрывают мясо руками... Протягивают нам по куску. «Вот, значит, как у них бывает... Сначала кормят!..» Разрываю мясо руками, ем и удивляюсь будничности происходящего и тому, что вот могу есть. Мясо без всяких приправ, даже без соли, но ем с появившимся наперекор всему аппетитом. Потом озираюсь: «Ну что же?.. Сейчас, что ли?..»

Скорчив защитные, всем видные улыбки, мы с Юдиным перешепнулись:

— В последний момент – побежим...

— Вниз?

— Да...

Тахтарбай говорит Зауэрману: – Идем.

Молча встает старик, молча пробирается к выходу. Я обращаюсь к Зауэрману:

— На всякий случай... Мой адрес: Ленинград, Садовая, восемь...

— Хорошо. – Зауэрман уходит за полог, в ночь...

Время словно остановилось... Как далеко мы от наших родных! Не раньше чем через месяц узнают они обо всем...

Басмачи постепенно расходятся. В юрте осталось человек десять. Пламя очага, умирая, краснеет. В дыму, наверху, – звезды. Жена Тахтарбая перебирает шкуры и одеяла. Юрта готовится ко сну. На грязные лохмотья ложимся и мы – рядком, чтобы было теплее... Вплотную к нам располагаются басмачи. Один привалился к моей спине, горячо дышит в затылок, и меня мутит от дурного запаха. Тах-

тарбай ложится поперек – впритык к нашим головам. Мы – в каре смрадных тел. Нас едят вши... «Значит – ночью?.. А! Все равно... Лучше спать!..»

Мы засыпаем крепко и безмятежно.

7

Ночь и густая тьма. Ночь и движение в кишасей телами юрте. Ночь и басмаческий крик: «Э-ээ... о-эээ». Ночь, и кто-то яростно дернул меня за шею.

Мы разом проснулись: Юдин и я. Разом ошалело вскочили... Холод и тьма. Кто-то чиркает спичками; учащается говор, и в блеске коротких спичечных молний – лица надевающих ичиги и мохнатые шапки басмачей. А... Закирбай!.. Он не смотрит на нас... Приехал!

Нас выводят.

«Вот оно... Гады, почему ночью?..» И до боли захотелось увидеть солнце... еще хоть раз – солнце!..

Нас выводят. Сейчас – скачок в сторону, в ночь... Живо работает воображение: крики, суматоха, выстрелы, а мы – от куста к кусту, задыхаясь, перебежкой, бегом... Кулаки налились свинцом, тяжелы... Хватит, чтоб раздробить лицо того первого, кто обнаружит меня. Но нельзя ошибиться, надо выбрать именно ту, все решающую секунду... Ни раньше, ни позже... Ночь... Холод... Ледяной холод травы пробирается по телу все выше. Нас ведут...

ГЛАВА ПЯТАЯ

БАНДА УХОДИТ В КАШГАРИЮ

1

Что же произошло?

Такова уж басмаческая натура. Нет никого наглее, алчней и кровожадней басмача, когда он не сомневается в своей удаче, когда его фантазия торжествует; и никого нет трусливее, растеряннее басмача при первой же его мысли о неудаче. В трусости тонет даже его всегдашняя изощренная хитрость, и тогда он бежит, бежит без оглядки, хотя бы опасность была за сто километров от него.

Опрометью, задыхаясь, прискакал Закирбай в кочевку с вестью о появлении кзыл-аскеров. Бежать, бежать скорей!.. Через Алайский хребет, сквозь снега, в Кашгарию!

Когда нас вывели из юрты, когда мы увидели Закирбая, мы не сомневались, что нас выводят кончать. Но нас ввели в другую юрту и сначала ничего нам не объявили. Потом подбежал испуганный Умраллы, и, забрызгивая нас слюной, наспех объяснил происходящее, и тут же припал к нам с жалкими просьбами защитить его, когда явятся кзыл-аскеры. Еще не веря своим ушам, мы обещали ему защиту. И тут присел на корточки Закирбай и, хлопая нас по плечу, лъстиво заглядывая в глаза Юдину, торопливо забормотал. Он друг наш, он прекраснейший человек, он нас вывез из банды тогда, и вот мы живы еще и сейчас. Это он сделал так, он наш спаситель.

— Дай мне бумажку, чтоб я мог показать ее

кзыл-аскерам. Напиши, что я спас тебя и твоих товарищей. Ведь я же спас!

И Юдин вполне резонно ответил:

— Зачем же бумажка? Если ты действительно хочешь спасти нас, если мы останемся живы и придут кзыл-аскеры, мы *скажем* им, что живы благодаря тебе.

Тогда растерянным, испуганным голосом Закирбай возразил Юдину:

— А я не знаю, останетесь ли вы живы? Нет, ты лучше сейчас дай мне бумажку.

И Юдин уже требовательным тоном сказал:

— Ты спаси нас, ты сам передай нас кзыл-аскерам, и мы обещаем тебе, что они с тобой не сделают ничего... А что я буду писать бумажки?

Идем в густой арче, продираемся сквозь кусты. Идущий впереди басмач останавливает меня, развьючивает своего яка, потом — моего. Слева — обрыв. Басмач сбрасывает под обрыв вьюки, сам лезет за ними: там яма, прикрытая ветвями арчи, хворостом. В эту яму летят вьюки и с остальных яков.

С порожними яками возвращаемся вниз. Здесь догорают костры. Уже почти рассвело. Басмачи растаскивают барахло, закидывают его в кусты, прячут под камни, куда придется. Котлы, ленчики³⁴ лишних седел, ведра, ребра юрт, посуда... Торопятся: некогда спрятать получше. А всего не поднять на оставшихся яках и лошадях. Люди тянутся, тянутся вверх верхом и пешком. Это уже пришедшие с той кочевки, где мы провели первую ночь, — вся родня Закирбая и Суфи-бека.

³⁴ Ленчик — деревянная или металлическая основа седла.

А когда все ушли, мы оказались одни и поняли, что нас не уведут с собой. Было непонятно, почему не уведут. С нами остались немногие: Закирбай, Тахтарбай, Умраллы, еще пять-шесть басмачей. На маленькой лужайке, как воспоминание об ушедшей кочевке, – зола костров, круги примятой исчезнувшими юртами травы, навоз и овечий помет да обрывки тряпок.

Мы остались одни и не знали, что лучше: попытаться бежать или довериться Закирбаю?

Трусливый и расчетливый Закирбай мог действительно прийти к решению передать нас невредимыми красноармейцам и тем обеспечить себе прощение. Если так, бежать нам не следует. Закирбай немедленно разделался бы с нами. А на удачу рассчитывать не приходится. Зауэрман еле ходит, а бросить его мы не можем, конечно. Внизу – цепочка сторожевых всадников. По первому зову Закирбая басмачи кинутся за нами и пошлют нам вдогонку пули... Конечно, сейчас нам бежать нельзя. Но надежны ли обещания Закирбая? И не захотят ли другие басмачи, уходя от красноармейцев, прикончить нас?

Вокруг – беспредельная тишина, в которой тают весеннее чириканье птиц, звонкий шелест прозрачного дремлющего ручья, жужжание крупных полевых мух. Вокруг – нежная зелень подснежных альпийских трав, вершины, утонувшие в небе зубцами, пиками, башнями: нагроможденные над нами скаты, блещущие гранями снега... И солнце – еще скрытое за ближайшей стеной, но уже бросившее в мир лучи, как опаловые лепестки невиданных цветов. А внизу, по лощине, куда мы смотрим так напряженно, видна панорама хребтов. Вот первые – округлые,

низкие, они пестры расцветкою тени – красные, зеленые, фиолетовые. А дальше над ними нежнейшие розовые снега: это дальний Кичик-Алайский хребет.

Мы притаились, каждый за кустом. Мы ждем появления красноармейцев. Мы глядим вниз. Вот вдоль ручья – тропка по узкой лощине, она входит в кусты, вот дальше, ниже – выбирается, извиваясь, на рыжий холм и исчезает за поворотом. Оттуда появятся всадники. Если красноармейцы, значит, мы спасены. Если не они, значит – смерть. Расчет у нас прост. Банда, главное ядро банды, побежит от приближающегося отряда. Большую дорогу банда не выберет – слишком легко было бы ее настичь... Значит, пойдет по неизвестным ущельям, вот по этому, где сейчас мы. Пусть даже по пятам банды мчится отряд, пусть в получасе дистанции, но, ворвавшись сюда и обнаружив нас, банда неминуемо нас искрошит.

Мы переползаем от куста к кусту. Мы делимся кусками лепешки, которую успели стянуть в юрте. Бежать нам кажется сейчас самым простым и легким. Трудно оставаться в неподвижности. Но Юдин все-таки уверен, что нужно еще выждать. И мы остаемся на месте.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГДЕ ЖЕ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД

1

Шесть пограничников под начальством узбека Касимова отстреливались до ночи. Семь мужчин и одна женщина отстояли заставу. Ночью прибыло подкрепление:

пятьдесят сабель при двух пулеметах. Только три пулеметных диска понадобилось, чтобы басмачи разбежались. В этот день мы томились в юрте Тахтарбая. Тахтарбай соврал и нам, и своим, что Суфи-Курган взят. А Закирбай прямо от заставы ночью примчался в свою кочевку, поднял панику, погнал родичей в Кашгарию.

Все это узнали мы позже. Позже узнали и о том, что прибывший на заставу отряд в погоню за басмачами не выходил, были на то причины. А мы в кустах арчи напрасно ждали его появления.

2

Фанатик? Нет. Сорвиголова? Тоже нет. В бабьем, курдючном лице Закирбая запечатлены алчность, хитрость, коварство и лицемерие торговца.

Во время нападения на нас Закирбай не возил оружия сам – свою винтовку он передавал молодежи. Ни одного приказа он не бросил в толпу, ни одного сигнала не подал: он командовал исподтишка, через других, через тех, кто не умеет рассчитывать. Он подзуживал самых фанатичных, легко возбудимых. Все видели: он даже в грабеже пытался соблюсти порядок, зная, конечно, что озверелую, им же спровоцированную молодежь уже ничто удержать не может. Он сразу взял Юдина на круп своей лошади, чтобы заложник был у него, а не у кого-либо другого. Все это – ради неясного будущего, на всякий случай... Чтобы при неудаче иметь оправданий больше, чем кто-либо другой из банды.

Он держал нас в своей кочевке, но в юрте брата, и через

брата послал приказание зарезать нас, когда рассчитывал, что Суфи-Курган будет взят. Ложную, для разжигания басмаческого пыла, весть о взятии заставы он распространил устами своего брата... чтобы при случае гнев сородичей обрушился не на него.

Он первый струсил до пяток, когда затрещали пулеметы с заставы, первый погнал свою кочевку в Кашгарию и – возбудитель, организатор и главарь банды – первый изменил банде, тайно от всех решив сыграть на нашем спасении. Какая безмерная трусость мутнила его глаза, когда он, виляя перед нами и перед своими, не зная еще, что ему выгоднее: спасти нас или прикончить, давал обещания приехавшему куртагатинцу и тут же обзывал его «дурным басмачом», желая показать, что сам он – душою чист и вовсе даже не басмач!

Закирбай опять просит бумажку; кзыл-аскеры придут, будут убивать, а он нас спас, он «хороший человек», надо бумажку. Мы переглядываемся, смеемся. А! Дадим, а то он еще напакостит! Из-за пазухи Закирбая услужливо выползли карандаш и измятый листок. Юдин разминает его. На одной стороне – настуканные пишущей машинкой лиловые строчки... Юдин передергивается, но молчит. Этот клочок из единственного экземпляра его отчета по экспедиции прошлого года. Закирбай подставляет спину, но карандаш все-таки продавликает бумагу.

«Свидетельствуем, что Закирбай вывез нас из банды, напавшей на экспедицию 22 мая и убившей топографа Бойе, держал нас у себя и передал на поруки Джирону из Ак-Босоги.

*Записка составлена в момент отправления с Джирон-
ном в Ак-Босогу, от места кочевки Закирбая...»*

Юдин размышляет.

— Павел Николаевич, какое сегодня число? Двадцать пятое?

Я соображаю, перебираю в уме ночи и дни.

— Нет, по-моему... двадцать четвертое... (Я не очень уверен в моих расчетах.)

— Да нет же... вы путаете... двадцать пятое... Начинаем вместе высчитывать. Выходит — двадцать четвертое.

Только третий день, а мы уже путаем даты!.. Юдин дописывает.

*«24 мая 1930 года. Начальник Памирской геологической
партии Г. Юдин.*

Сотрудник Памирской геологической партии...»

Подписываюсь. За мной выводит фамилию Зауэрман. Закирбай поспешно, словно опасаясь, что мы передумаем, прячет записку за пазуху.

...А если только по этой записке узнают о нашей судьбе?

Мы ехали снова. Подо мной ходили ребра и острый хребет неоседланной лошаденки. Мускулы моих ног одревенели, и я, сжимая бока лошади, вовсе не ощущал боли. Мы доехали до спуска в реку Гульчинку. До места нападения на нас оставалось полтора километра.

— Стой! — сказал Закирбай. — Дальше не поедem. Там басмачи.

Мы спешили на открытой лужайке, сели на камни и смотрели на широкие пространства зеленых холмов. Об отряде мы уже забыли и думать. Мы ждали Джирона. Его не было, и мы написали еще одну записку. Ее взялся доставить на заставу один из киргизов.

— Он бедняк, и он не был в банде. Ему можно ехать на заставу, никто не тронет его, — сказал Закирбай.

Записка гласила:

*«Начальнику погранзаставы Суфи-Курган.
Движемся по направлению к заставе. Есть убитые.
Нам взялся содействовать Закирбай.
Просим сообщить степень безопасности пути до за-
ставы. Юдин, Лукницкий, Зауэрман.*

24 мая 1930 года».

Гонец уехал. Мы сидели и ждали, ждали, собственно, неизвестно чего. Вглядывались в ложе реки, которое было под нами и уходило на север — к заставе. В ложе реки появился всадник. У меня отличное зрение, но и я не мог его различить, а Закирбай сказал:

— Джирон приехал.

Джирон ехал шагом. Мы кинулись к нему.

— Ну что?

— Кзыл-аскеров нет. Не видал, не знаю. Хотел на заставу ехать — лошадь устала. Поехал назад.

Все! Записку Джирон передал второму нашему посланцу, которого встретил в пути.

— Там басмачи, — объяснил Джирон. — Ехать нельзя!

Нужно было думать о ночевке. Раньше завтрашнего

утра посланец не вернется. Мы очень надеялись, что на выручку нам вышлют отряд. Придется ждать до утра. Только бы не переменял намерений Закирбай. Джирон звал ночевать к себе в Ак-Босогу – двадцать два километра отсюда. Неизвестный старик предложил ехать к нему – его кочевка недалеко, но очень высоко в горах. Закирбай предложил ночевать в пустующей зимовке, на полпути до Ак-Босоги, в ущелье речки Кичик-Каракол.

3

Позже я узнал, почему мы так и не дождались отряда. Когда в ночь на 24 мая басмачи отступили от заставы, помощник начальника погранзаставы Касимов позвонил в Иркештам. Он знал, что оттуда к заставе должны выехать три пограничника. Он беспокоился о них и хотел предупредить их, чтоб они отложили выезд. Иркештам не отвечал. Касимов звонил, звонил, но трубка глухо молчала. Касимов понял, что провод перерезан. Тогда десять бойцов с пулеметом выехали искать повреждение. В шести километрах от заставы лежал на земле телеграфный столб. Провод завился двумя спиралями. Пограничники исправили линию и вернулись. Это были те бойцы, о которых сообщила Тахтарбаю цепочка басмаческих дозорных. Это услышав о них, Тахтарбай в панике примчался к нам, сидевшим в кустах арчи, а мы с Джироном и курбашами выехали навстречу отряду.

Понятно, почему мы не встретили никого.

Бойцы вернулись на заставу, и Иркештам ответил. Ответил, что три пограничника выехали давно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В ПЛЕНУ

1

Сложенный из самана³⁵ двор. Простая конюшня. За-
водим туда лошадей. Мазанка. Дверь на замке. Обычная
ниша – каменная веранда. Глиняный пол. Очаг у боковой
стенки. В таких лачугах киргизы проводят зиму, держа при
себе весь скот. Потому и называются эти лачуги зимовка-
ми. Весной, переходя на кочевье, они оставляют их пу-
стыми. И сейчас здесь голо и пусто. Над зимовкой, по
склону горы, вьется тонкий ручей. Впереди – широкая
лощина урочища Кичик-Каракол. Налево, направо и назад
– высокие и крутые вершины. Ориентируюсь и соображаю:
за северной вершиной, километров... ну, пять отсюда,
должно быть ущелье Куртагата – то самое, в котором
главные силы банды. Это плохо. Если кто-нибудь из банды
случайно поднимется на вершину горы, мы будем заме-
чены. Оба, Закирбай и Тахтарбай, нет-нет, да и взглянут на
эту вершину. Впрочем, сейчас закат, и оба они, повер-
нувшись лицом к закату, истово молятся. Молятся очень
усердно – видно, от аллаха им многое нужно. Киргизской
рысцою к нам приближается Зауэрман. Подъезжает. Он
вовсе изнервничался. Лицо отчаянное, губы дрожат.

— Что же вы, передумали?

— Да, вот с ними остался, нехорошо стало. Решил но-
чевать с вами. А только думаю, не к добру это...

³⁵ Саман – кирпичи из соломы, навоза и глины.

— Что не к добру?

— Да чего говорить... Кончат нас этой ночью! Думаю только — лучше подышать с вами, чем одному.

На сей раз напустился на старика я, долго его успокаивал и отчитывал, уверяя, что опасения его — чушь, ерунда. Откровенно скажу: я лгал, потому что сам не был уверен в благополучии наступающей ночи. Я только ничем не выдавал своего беспокойства.

Темнота нахлынула вместе с холодом. Я с Юдиным обошел всю зимовку; мы учли все мелочи на случай опасности. В земле были громадные бутылкообразные узкогорлые зерновые ямы. Их мы запомнили тоже. Вынырнув из темноты, перед верандой возникла группа всадников. Это — старик, уехавший за едой, вернулся с неизвестными нам киргизами, с громадной кошмой, бурдюками айрана и кумыса, с целой тушей мяса, с ворохом арчовых ветвей. Все это развьючивалось в темноте и складывалось на веранду. Арча затрещала на очаге, залила красным отблеском лица, еще более сгустила непроницаемый мрак. Веранда показалась мне крошечным ярким островком в беспредельных пространствах тьмы. Тени прыгали за языками огня. Ночь началась. Сколько киргизов было с нами — я не знаю. Кто они были — тоже не знаю.

Знаю только: кто вскипятит в кумгане чай и почти-точно наливает его в пиалы мне и Юдину, не был Юдину незнаком, хотя и прикинулся, что видит его впервые в своей кочевой жизни. Юдин отлично запомнил его лицо — он вязал Юдину руки, когда банда грабила наш караван. Впрочем, внешне сейчас все обстояло отлично. На разостланной кошме в два ряда сидели киргизы. Громадная

деревянная чашка айрана по очереди наливалась всем, и Юдину первому поднесли ее, как подносят гостю. Юдин выпил три чашки подряд; думаю, это равнялось полуведру. Я выпил одну, потому что с вождением глядел на варящееся мясо. Мы изголодались, и после айрана Юдин тут же, на кошме, растянувшись, заснул. Даже всхрапывал. Я энергично его расталкивал, но он не проснулся. А угощение пошло одно за другим. Баурсаки, шурпа, бешбармак³⁶, эпкё (легкое, вываренное в молоке), сало с печенкой, кумыс – яства изумительные, и не только потому, что я за трое суток изголодался. Наши спутники оказались великими мастерами поварского искусства и большими обжорами. Прыгало пламя по лицам; словно агатовая тяжелокаменная стена, стояла перед верандою ночь; чавкали и жевали рты, отсветы пламени играли в сале, текущем по губам и рукам едоков; лохматые шапки сдвигались над деревянными блюдами и котлами. Я уже давно изнемог от пресыщения и только наблюдал за этим беснованием урчащих, на глазах у меня разбухающих животов, а люди вокруг меня все ели, ели, рыгали, чавкали, чмокали. Зауэрман, прижавшийся к стенке, бегал тревожными глазами и, бедняга, вовсе не притрагивался к еде. Никто не разговаривал. До разговоров ли было? О, я хорошо поел в эту ночь!

Я думаю, неспроста закатил Закирбай такое пиршество в одинокой зимовке. Думаю, хотел умаслить Юдина и меня, перед тем как передать нас кзыл-аскерам.

³⁶ Баурсаки – пирожки, варенные в сале; бешбармак (буквально пять пальцев) – вареная баранина.

Еще до рассвета, еще в темноте Закирбай разбудил всех спящих. Вывели лошадей (лошади не были расседланы на ночь), и мы всей оравой, не разводя огня, не согревшись, выехали. Когда на хребте скачущей лошади я начал медленно отогреваться, мне казалось, что меня колют миллионом иголок, но я радовался, что оживаю. Мы ехали вчерашним путем, направляясь к Суфи-Кургану.

У зеленой ямы, где вчера мы пили кумыс, к нам по склону горы шагом спустился Суфи-бек, поздоровался и молча поехал с нами.

Рассветало, утро было бледным, по вершинам гор ползли туманы; небо медленно наливалось прозрачной голубизной. Перед подъемом на перевал встретила группа киргизов; мы подъехали к ним, остановились и спешили. Тут были все, кого мы уже знали: мулла Таш, Умраллы, Джирон и другие, имен которых я не знаю. Был и вчерашний наш посланец. Он подал Юдину записку из Суфи-Кургана. Юдин прочел и передал мне:

«Начальнику Памирской экспедиции товарищу Юдину. Местонахождение неизвестно.

Получил два ваших донесения. Сообщаю: путь до Суфи-Кургана свободен. Район вообще спокоен. Отряда не высылаю, так как при приближении вас могут подбить. В случае опасности — известите.

Передайте всем, что, если тронут вас или ваше имущество, немедленно выброшу 50 сабель при двух пулеметах.

*тах. Закирбаю не доверяйте, боюсь, что он вас подведет.
Ваше спокойствие нужно.*

*С товарищеским приветом
начальник мангруппы...»*

Подпись была Черноусов, но тогда мы не разобрали ее. Мы в стороне от других обсуждали записку. Было ясно: отряда по каким-то причинам выслать не могут. Начальник мангруппы, несомненно, учитывал, что письмо это, прежде чем попасть в наши руки, будет прочитано басмачами, так как среди них может найтись кто-либо, умеющий читать по-русски.

Если б застава имела возможность выслать отряд, нам не писали бы никаких записок. Отряд уже давно был бы здесь.

В глубине души мы и не рассчитывали, что за нами пришлют отряд.

Юдин, переводя записку на киргизский язык, прочел ее вслух Закирбаю. Пропустил только то, что касалось самого Закирбая, и то, где говорилось, что нас «могут подбить». Записка произвела должный эффект. Закирбай слушал почтительно.

Он предупредил нас, что по пути, по щелкам, сидят басмачи. Если мы поедем на заставу сейчас, они могут нас обстрелять. Лучше нам не ехать. Предлагал вернуться в зимовку, пожить там день или два, пока не уйдет банда. Мы, однако, решили ехать сейчас же. Довольно томительных ожиданий. Авось проскочим! Сам Закирбай отказался сопровождать нас. Он сказал:

— Когда приедете на заставу, напишите письмо, что Советская власть прощает меня. А то я не знаю. Ты говоришь — простит, а, может быть, кзыл-аскер-начальник скажет другое? Когда напишете письмо, я приеду сам.

Юдин опять просил седло для меня, и Закирбай сделал неожиданный жест — он предложил мне свою превосходную кобылу.

Мы выехали на заставу. С нами поехал только один киргиз, чтобы вернуть лошадей Закирбаю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

1

— А ну нажмем!

— Давайте...

Мы нагнулись над гнедыми шеями, земля рванулась назад и пошла под нами сухой рыже-зеленой радугой.

Кобыла распласталась и повисла в яростной быстроте. Ветер остался сзади. Ветром стали мы сами. С острой, внезапной нежностью я провел ладонью по темной гриве и понял, что эту породу нельзя оскорбить прикосновением камчи — на такой лошади мне никогда не приходилось сидеть. С нервной чуткостью она лежала на поводу и на поворотах кренилась так, что я едва не зачерпывал землю стремями.

Подъемы, спуски, обрывы, ручьи, рытвины, камни — она все сглаживала неоглядной своей быстротой. Я верил в

нее, я знал, что она не может споткнуться. Если б она споткнулась, мы бы рухнули так, что от нас ничего бы не осталось. Кобыла курбаши, главаря басмачей Закирбая, хорошо знала, как нужно вынести всадника из опасности. Мы устремились по руслу реки. Две рыжие отвесные стены, казалось, неслись, как нарезы ствола от вылетающей на свободу пули. Отвесные стены были перерезаны щелками. Мы знали – там сидят басмачи. Между щелками я немного сдерживал кобылу, здесь было меньше вероятия получить в спину свинец. И кобыла меня поняла: она сама уменьшала ход между щелками и сама выгибалась в стрелу, когда мы проносились мимо щелки, из которой мог грохнуть внезапный и ожидаемый выстрел. Я неизменно опережал всех – у всех лошади были хуже. Что было делать? Я домчался бы до заставы на час раньше других, но мог ли я оставить спутников позади себя? Вырвись басмачи из щелки, меня б они не догнали, но зато наверняка они столкнулись бы с Юдиным и Зауэрманом, потому что, преследуя меня, они оказались бы впереди моих спутников. Они перегородили бы им дорогу. И я останавливался. Трудно было заставить себя решиться на это, и трудно было сдерживать разгоряченную кобылу, но я все-таки останавливался и поджидал остальных. Я стоял, и кобыла нервно топталась на месте. Я стоял и был отличной мишенью, и мне было страшно, и страх мой передавался кобыле: она нервничала и пыталась встать на дыбы. Когда Юдин, Зауэрман и киргиз догоняли меня, я отпускал повод и срывался с места в гудящее быстротой пространство.

Навстречу нам попался киргиз. Мы осадили лошадей и наспех прочитали переданную им записку. Это была за-

писка с заставы – начальник отряда беспокоился о нашей судьбе. Мы рванулись дальше, а посланец повернул своего коня и тоже помчался с нами. У него был отличный конь, он не отставал от меня, и теперь у меня был спутник, равный мне по скорости хода. Мы неслись рядом, и на полном скаку я закидывал его вопросами. Ломая русский язык, он рассказал мне, что он почтальон, что обычно возит почту из Суфи-Кургана через Алай в Иркештам, а сейчас живет на заставе. Эту записку он вызвался передать нам потому, что его конь быстр, «как телеграф», – это его сравнение, – и на таком коне он проскочит всюду, хоть через головы басмачей... Пригибаясь к шее коня, мой спутник поглядывал по сторонам и бормотал коню: «Эш... ыш-ш...» – и только одного не хотел – не хотел останавливаться, чтоб поджидать вместе со мною остальных. Мы все-таки останавливались и снова неслись. Наши лошади косили друг на друга круглые глаза, и ветер падал, оставаясь за нами. Стены конгломератов казались огнем, сквозь который мы должны проскочить, не сгорев. Спутник мой хвалил закирбаевскую кобылу. Халат его надулся за спиной, как воздушный шар. Я знал, что кобыла моя чудесная, я почти не верил, что четверо суток до сегодняшнего дня Закирбай сам ветром носился на ней, почти не поил, почти не кормил ее, гонял дни и ночи. Всякая другая лошадь неминуемо пала бы, а эта вот не сбавляет замечательной скорости бега.

До заставы оставалось несколько километров. Я уже верил в удачу, а все же волновался и даже на этом скаку сдерживал рукой сердце, размашисто стучавшее, и сотню раз повторял себе: «Неужели проскочим? Проскочим, проскочим?» И в цокоте копыт было «проскочим», и уже в

предпоследней перед заставой долине, у развалин старого могильника, на зеленой траве я осадил кобылу, спешился и сел на траву, чтобы в последний раз подождать остальных. Мой спутник спешился тоже и угостил меня папиросой, и когда я закурил ее (я не курил уже сутки), то почувствовал, что мы наконец спасены. Вскочив на коней, мы присоединились ко всем и ехали дальше рысью. Стих «Неужели же мы наконец спасены?» плясал на моих губах, и я удивился, что вот сейчас само пришло ко мне знакомое стихотворение. За последним мысом открывалась последняя долина, и в дальнем ее конце я увидел белую полосу здания заставы. Мы ехали шагом, зная уже, что теперь можно ехать шагом и чтобы продлить ощущение радости — такой полной, что в горле от нее была теснота. Мы медленно подъезжали к заставе. На площадке ее, над рекой толпились люди, и я понял, что нас разглядывают в бинокли. Лучшим цветом на земле показался мне зеленый цвет гимнастеров этих людей. Переехав вброд реку, уже различая улыбающиеся нам лица, я взял крутую тропинку в галоп и выехал наверх, на площадку, в гущу пограничников, тесно обступивших меня. Мне жали наперебой руки, со всех сторон бежали красноармейцы, чтобы взглянуть на нас хоть одним глазком сквозь толпу, и усатый командир отряда, крикнув, улыбнувшись и положив на плечо мне ладонь, сказал:

— Вот это я понимаю... Выскочить живым от басмачей!..

Нас трогали, щупали рваную одежду, нас торжественно повели в здание заставы, и командир отряда откупорил бутылку экспортного шампанского. Я спросил, откуда здесь шампанское, и он, добродушно усмехнувшись, сказал:

—Пейте!.. Для вас все найдем!.. Потом объясню.

А Любченко, милый Любченко, начальник заставы, уже тащил нам чистое красноармейское белье, полотенце и мыло и настраивал свой фотоаппарат.

2

Вечер на погранзаставе. Первый вечер после нашего возвращения из плена. Керосиновая лампа подпрыгивает на столе. Фитиль коптит, но мы этого не замечаем. Ком-взводы спят на полу, на подстеленных бурках. Юдин играет в шахматы с Моором. Я разговариваю с Черноусовым о шолоховском «Тихом Доне». Черноусову быт казаков хорошо знаком: он прожил среди них многие годы. Черноусов хвалит «Тихий Дон» и рассказывает о казаках, покручивая огромные усы. Черноусов сам – как хорошая книга. Рассказчик он превосходный. За стеной выделяет веселые коленца гармонь; слышу топот сапог и – в перерывах приглушенный стенкой хохот. Разлив гармонии резко обрывается, тишина, потом стук в дверь и взволнованный голос:

— Товарищ начальник...

Черноусов вскакивает.

— Можно... Что там такое?

В дверях боец.

— Товарищ начальник... Вас требуется...

Черноусов поспешно выходит. Прислушиваюсь. Смутные голоса. Слышу далекий голос Черноусова:

— Все из казармы... Построиться!

Громя винтовками и сапогами, топают погранични-

ки. Комвзводы вскакивают и выбегают из комнаты, на бегу подтягивая ремни. Выхожу и я с Юдиным. Тяжелая тьма. Снуют, выстраиваясь, бойцы. Впереди на площадке чьи-то ноги, освещаемые фонарем «летучая мышь». Человек покачивает фонарем, круг света мал, ломаются длинные тени; сначала ничего не понять. Мерцающий свет фонаря снизу трогает подбородки Черноусова, Любченко и комвзводов. Подхожу к ним – в темноте что-то смутное, пересекаемое белой полосой. «Летучая мышь» поднимается – передо мной всадник, киргиз, и поперек его седла свисающий длинный брезентовый, перевязанный веревками сверток. Фонарь опускается; слышен глухой голос:

— Веди его на середину...

Фонарь идет дальше, поднимается – второй всадник, с таким же свертком.

Черная тьма. Фонарь качается, ходит, вырывая из мрака хмурые лица. Я понимаю, что это за свертки, меня берет жуть; кругом вполголоса раздаются хриплые слова: «Давай их сюда...», «Заходи с того боку...», «Снимай...», «Тише, тише, осторожнее...», «Вот... Еще... вот так... теперь на землю клади...», «И этого... рядом...», «Развязывай...», «Ну, ну... спокойно...».

Голоса очень деловиты и очень тихи. Два свертка лежат на земле. Комсостав и несколько бойцов сгрудились вокруг. Черная тьма за их спинами и над ними. Чья-то рука держит фонарь над свертками. Желтым мерцанием освещены только они да груди, руки и лица стоящих над ними. Двое бойцов, стоя на коленях, распутывают веревки...

...В брезентах – трупы двух замученных и расстрелянных басмачами красноармейцев.

Их было трое, на хороших конях. Поверх полушубков были брезентовые плащи. За плечами – винтовки, в патронташах – по двести пятьдесят патронов. На опущенных шлемах красные пятиконечные звезды. Они возвращались из Иркештама. Одного звали – Олейников, другого – Бирюков, третий – лекпом, и фамилии его я не знаю.

Завалив телеграфные столбы, лежал снег в Алайской долине. Бухлый и рыхлый, предательский снег. Три с половиной километра над уровнем моря. В разреженном воздухе бойцы трудно дышали. На родине их, там, где соломой кроют избы, высота над уровнем моря была в десятки раз меньше. Там дышалось легко, и никто не задумывался о странах, в которых кислорода для дыхания не хватает. Там жила в новом колхозе жена Бирюкова, отдавшая в детдом своих пятерых детей. Она не знала, что муж ее на такой высоте. Она никогда не видела гор. Жена Олейникова жила в Оше и перед собою видела горы. Горы, как белое пламя, мерцали на горизонте. Голубое небо касалось дальних слепительно-снежных вершин. Вверху белели снега, а внизу, в долине, в Оше цвели абрикосы и миндаль. Жители Оша ходили купаться к холодной реке Ак-Буре, чтоб спастись от знойного солнца. Жена Олейникова ходила по жарким и пыльным улицам, гуляла в тенистом саду. Жена лекпома жила в другом краю – далеко на севере, там, где земля черна и где сейчас сеют рожь.

Их было трое, на хороших конях. Они возвращались на погранзаставу в Суфи-Курган. Иногда они проходили только по полтора километра в день. Лошади провалива-

лись в снегу, бились и задыхались. Пограничники задыхались тоже, но вытаскивали лошадей и ехали дальше. У них был хороший запас сахара, сухарей и консервов. У них были саратовская махорка и спички. Больше ничего им не требовалось. На ночь они зарывались в снег и спали по очереди. Из вихрей бурана, из припавшего к земле облака в ночной темноте к ним могли подойти волки, барсы, басмачи. По утрам бойцы вставали и ехали дальше. Ветер продувал их тулупы насквозь. Они с бою, держась за хвосты лошадей, взяли перевал Шарт-Даван. Здесь высота была около четырех километров. Спускаясь с перевала, они постепенно встречали весну. Весна росла с каждым часом. Через день будет лето. Кони приободрились, выходя на склоны, где стремяна цепляли ветви арчи, где в полпальца ростом зеленела трава. Завтра пограничники въедут во двор заставы.

О чем говорили они, я не знаю. Вероятно, о том, что скоро оканчивается их срок и они вернутся в родные колхозы и расскажут женам об этих горах. И вероятно, они усмехались с гордостью.

В узком ущелье шумела перепадами белесой воды река. Солнце накалило камни ущелий. Пограничники сняли брезентовые плащи и тулупы. С каждым часом они ехали все веселей.

Но в узком ущелье слышался клич басмачей, и со стен вниз разом посыпались пули. Пограничники помчались, отстреливаясь на скаку. Кони знали, что значит винтовочный треск. Коням не нужно было оглаживать шеи. Они вынесли пограничников из ущелья, но тут вся банда остервенело рванулась на них.

Что чувствовали, что думали пограничники, – этого, собственно, никто не знает. Вероятно, осадили коней и оглянулись. Поняли, что отступления нет, побледнели и замешкались на секунду. И должно быть, не осознали, что вот это и называется страхом. Но у бойцов сильнее страха действуют досада и злоба. Они прорываются в одном каком-нибудь слове:

— Даешь!..

И нерешительность обрывается. Пограничники выхватывают клинки и мчатся навстречу банде.

— Даешь! – и клинки хрустят по головам и плечам.

— Даешь! – и басмачи расступаются...

А может быть, пограничники врубились в орду без единого слова, со сжатыми тесно губами, с лицами тяжелее камня? Не знаю. Знаю только, что в банде было не меньше двухсот басмачей и что пограничники прорвались на вершину ближайшей горы.

Этих пограничников банда взяла в кольцо. Пограничники спешили и залегли на вершине. Здесь было два больших камня, и между камнями пограничники спрятали лошадей. Прилегли за камнями и защелкали затворами быстро и механически точно. Басмачи падали с лошадей. Воя по-волчьи, басмачи кидались к вершине и умолкали, в тишине уносясь обратно, перекидывая через луку убитых. Пограничники работали методично. Тогда началась осада, и басмачи не жалели патронов. Много раз они предлагали пограничникам сдаться. Пограничники отвечали пулями. Так прошел день. А к вечеру у пограничников не осталось патронов. Жалобно ржала раненная в ключицу лошадь. Тогда пограничники поняли, что срок их кончается раньше,

чем они думали. Басмачи опять нажимали на них. Пограничники сломали винтовки и, оголив клинки, бросились вниз. Выбора у них не было. Басмачи заняли склон. В гуще копыт, лошадиных морд и халатов пограничники бились клинками. Но басмачей было двести...

Об этом позже рассказали нам сдавшиеся басмачи.

4

Мы вернулись в казарму. Пограничники расходились. Я слышал разговоры об убитых и их женах.

— Самые лучшие бойцы были! — с горечью сказал Любченко, теребя угол газеты, покрывавшей стол в комнате комсостава.

А Топорашев зажегся внезапной злобой:

— Ну и мерзавцы же!.. А еще их жалеть и не трогать!.. Всех бы их, басмачей, под один пулемет!.. Вот они что с нашими делают!

— Ладно! — оборвал его Черноусов, — Молчи. Не зуди. И без тебя тошно.

— Чего там «молчи»? Теперь сам видишь, как с ними миром? Вот что получается. За что наших убили?

— За что... За то, что еще революция продолжается... Сам знаешь... Без жертв не обходится. А ты не скули. Может, сам таким завтра будешь. Скулить нечего.

— Да я и не скулю! — горячо возразил Топорашев. — А только злоба берет. Я не могу терпеть этого больше! Пошлай меня завтра, я уж им покажу, гадам!

— Вот потому-то я тебя и не пошлю. В руках себя держать надо. Не царские времена. Соображать надо... Ты

думаешь, я сам могу спокойно смотреть на это? Ложись спать. Завтра поговоришь.

— Спать... Какой теперь сон! — пробурчал, смиряясь, Топорашев, однако скинул с плеч бурку и, бросив на пол, лег на нее.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТАКТИКА ЧЕРНОУСОВА

1

Ночь. Комвзводы лежат на бурках и одеялах. Курят. Не спит ни один. Встакивают — курят, выходят на двор, в холодок — курят, возвращаются, ложатся и курят опять. И говорят, говорят, говорят... Возмущенно, негодуя, злобно... И без конца клянут басмачей.

— Нет, ты должен понять, — в десятый раз возбуждается Топорашев, — такие штуки нельзя оставлять безнаказанными! Чтоб я, кавалерист, смотрел, как убивают моих товарищей, и при этом сидел сложа руки?! Ну сам подумай, что это такое?

Черноусов лежит на кровати, заложив ноги на ее спинку. Курит и теребит усы. Черноусов сейчас один против всех: он опытнее всех и хладнокровней. Он спокоен. Он великолепно знает: его приказ не станет никто обсуждать. Военский приказ будет выполнен беспрекословно и точно. Но сейчас он разговаривает не как начальник: Топорашев, Любченко, другие — его друзья, по-человечески их душу он понимает, и ему нужно не слепое подчинение приказу, а

убежденность подчиненных в правильности политики, которая проводится в этих горах и долинах, в условиях необычных и трудных. И потому он сам вызвал подчиненных на разговор по душам. Черноусов отвечает Топорашеву:

— Ты рассуждаешь неверно!

— Почему? — Топорашев резко приподнимается, сидит на бурке.

— Сообрази сам... Почему я с тобой целый вечер бьюсь? Начальник я твой или нет? Начальник. Мог бы я в порядке приказания сказать тебе: делай так, как тебе говорят, и не рассуждай. Мог бы. И ты бы у меня не пикнул, потому что дисциплину понимаешь отлично. А я вот не делаю этого. Почему?

Топорашев молчит.

— Чего ж ты молчишь? Ну-ка, скажи, почему? Знаешь отлично. Потому что оба мы коммунисты, потому что мы товарищи и друзья, потому что вне исполнения служебных обязанностей... ну да что я буду азы повторять? Так вот ты и разберись хорошенько: кто эти басмачи? Думаешь, одни муллы да байы? Как бы не так! Среди них бедняков половина. Обманутых, запуганных, забитых, отсталых, соблазненных посулами и обещаниями... а все ж — бедняков. Байы и муллы — это только головка. Я вот уверен: из этой банды половина перешла бы к нам, если б курбашей своих не боялись. Ну? Согласен со мной?

— Согласен. Да мне-то какое дело? Раз они басмачи — убивают, грабят, — значит, враги. А кто этот мерзавец, что расстрелял Бирюкова, — бедняк или бай, не все мне равно? Что я, обязан разбираться?

— А вот именно, обязан. Карать нужно, но только сознательных врагов, неисправимых... Тебе мстить хочется? А это нельзя. Я понимаю, — чувство. Человеческое чувство. Я не меньше тебя негодную и возмущен. На то мы и партийцы, чтоб проводить правильную политику. Проще всего было бы выслать тебя с двумя пулеметами и сказать тебе: ликвидируй! И пошел бы ты жечь и рубить всех поголовно. А что вышло бы из этого? В лучшем случае — спокойствие, основанное на страхе, и глухая ненависть, в худшем — десяток новых банд и новые жертвы с обеих сторон, а все советские начинания, все культурные завоевания революции могли бы здесь, в этих глухих местах, полететь на ветер, и нас обоих следовало бы расстрелять! И все это получилось бы только потому, что у нас чувства перевесили разум. Или ты иначе думаешь? Ну говори тогда, чего же ты молчишь?

Топорашев вскочил, подошел к столу, ткнул папиросой в ламповое стекло. Повернулся и оперся об угол стола.

— Так что же, по-твоему, надо делать? Для чего тогда мы сюда пришли? До каких пор ждать?

— Пришли мы сюда, чтоб действовать. Но сейчас надо действовать мирным путем. Мы начеку. Мы не спим над оружием. Но если ты сделаешь хоть один выстрел не для самозащиты, я ни с чем не посчитаюсь: ни с молодостью твоей, ни с нашей дружбой, — живо в трибунал попадешь... Вот пришли они сюда, видал сам, попробовали, что такое чекистские пули. Ясно, что в рот им смотреть мы не будем, когда на нас нападают. А без этого смотри, Топорач, держи выше голову. Бирюков и Олейников — это эпизод, частный случай. Как и экспедиция вот и как эти — мургабцы...

— Ты мне о мургабцах не говори... Ну, наши еще туда-сюда, бойцы... А баб-то, а детей-то за что?

— Ты дурень, Топорач, ну как есть дурень. Вот за то-то и боремся мы, чтоб таких мерзостей не было. Что мы намерены делать? Мы должны разбудить в них классовую сознательность. Пусть только поразмыслят бедняки, кто такие их курбаши. Подожди... Вот расколется банда, вот увидишь, расколется, половина сдастся, сама к нам придет, ну а тогда видно будет — кто руководы, кто коренные басмачи, кто мерзавцы по убеждениям. Эти от нас не уйдут, сдающиеся сами приволокут их, когда бояться их перестанут. А не приволокут — мы сумеем добраться до них... Потому-то и не будем мы выступать завтра. Я отменяю приказ. Еще спорить будешь?

— Хватит. Признаю, ладно уж. Прав, конечно, умом прав, а только не уверен я, что из ума твоего толк получится, сомневаюсь, чтоб вышло у нас что-нибудь с басмачами... А что я спору, так и меня должен же ты понять...

2

Открытое партийное собрание бойцов. Бойцы сидят рядами по каменистому склону горы, возносящейся над заставой. Между ними — командиры взводов. Юдин, я, жена и ребенок Любченко. Солнце и тишина. Только река Гульчинка под нами тяжело переваливает через камни бурлящую воду. Проезжие киргизы, любопытствуя, спешили и расселись вокруг. Слушают, переспрашивают друг друга.

Черноусов заводит речь. Он говорит все то, что я уже

знаю: о мирной политике, о самозащите, о том, что население нам помогает, об убитых пограничниках. Бойцы задают вопросы. Любченко читает приветственную телеграмму, адресованную партконференции: «...бойцы, сознательно стоящие на боевом посту...», и каждое слово телеграммы оправдано жизнью каждого из бойцов. И только смолкает Любченко, выходит вперед с листком бумаги в руках политрук Демченко. Его голос высок и звонок:

— Товарищи!.. Вот тут... Я оглашу. Заявления поступили... Товарищи, внимание!.. «В ответ на вражеский происк врагов Коммунистической Революции и убийц наших товарищей, незабвенных героев, погибших на боевом посту, в лице басмачей, которые есть насильники рабочего класса и трудового дехканства, я, боец Н-ского эскадрона, Н-ского кавполка, заявляю о своем желании вступить в славные ряды ВКП(б). К сему подписался...»

Демченко читает заявления одно за другим. Кончив чтение, Демченко улыбается еще раз и переводит глаза на собрание.

—Товарищи!.. Тридцать два... Тут тридцать два заявления!

Никто не задумывается о неуклюжем слоге прочитанных заявлений. Собрание продолжается.

Басмачи, как сурки в норы, позабились в ущелья и отсиживались в них. С каждым днем этот невидимый, неосязаемый, бескровный бой изматывал их силы.

На заставу приезжали всадники, сказывались мирными жителями, но все на заставе знали, что это приехали разведчики от басмачей, потому что настоящие мирные жители сообщали заставе об этом. Въезд на заставу был сво-

боден для всех, и пограничники запросто разговаривали с этими басмачами и угощали их папиросами и махоркой. Так было потому, что этого требовала политика; потому, что эти басмачи возвращались в банду и говорили банде о силе кзыл-аскеров и о том, что кзыл-аскеры никого из банды не тронут, если банда сложит оружие... Эти басмачи злобились на своих курбаши, и по банде шел шепот о том, что курбаши могут жить в ущелье хоть год, потому что у них много богатств и скота, а остальные не могут и вот уже режут последних барашков. Что хорошего в этом? Чего еще дожидаться? Чтобы вышли кзыл-аскеры и всех перебили? Курбаши тогда удерут в Кашгарию, потому что у них хорошие лошади, а остальные не попадут даже в рай, потому что у кзыл-аскеров есть клинки, а в рай попадет только простреленный пулей.

Закирбай в первые же дни приехал. Мы послали ему письмо, обещали ему неприкосновенность, и он приехал. Приехал с четырьмя басмачами; они помогли ему спешиться, он подобострастно жал руки нам и командирам взводов, он изобразил на своем пухлом лице величайшую радость, но страх бегал в уголках его прищуренных глаз, и он озирался, впрочем, почти незаметно. Конечно, он боялся, что его сейчас схватят и расстреляют. Но его не схватили и не расстреляли. С ним поздоровались вежливо, почти приветливо. Четыре басмача остались на дворе заставы, и никто их не охранял – они могли чувствовать себя вполне свободно. А Закирбая мы пригласили в комнату комсостава.

Дежурный принес пиалы и чайники, принес хлеба и сахара, мы сидели кружком на кошме. Закирбай сидел

среди нас, кланялся, оглаживая бородку ладонями. Искоса поглядывал он на оружие, развешанное по стенам, на шпоры комвзводов. Он трусил явно и жалко.

Но разговор, далекий от всего, что могло бы его взволновать, успокоил его. Пиала за пиалой опустошались, дежурный принес кумыс, доставленный местными киргизами, принес еще кумыс, привезенный закирбаевскими басмачами как угощение. Все ели и пили. А потом сказали ему: «Будь спокоен. Мы знаем, за тобой есть плохие дела. Но ты спас этих товарищей. Хорошо. Мы обещали тебе. Будешь врагом басмачей – совсем хорошо. Пей чай. Ничего худого тебе не будет».

Закирбай совсем успокоился. Наклоняясь и выпрямляясь, потирая колени ладонями, он начал рассказывать о том, что все это вышло случайно, он совсем не хотел, его обманули дурные люди. Но мы убедили его, что исповедь совсем не нужна, что мы и так верим каждому его слову, что мы не сомневаемся в его преданности Советской власти. Черноусов говорил по-русски, а Юдин и Касимов переводили...

Закирбаю было предложено передать своим, что Советская власть никого не хочет карать, если басмачи сложат оружие и займутся мирным трудом; пусть никто не боится кзыл-аскеров. Закирбая спросили, что он знает о мургабцах: живы ли они, и если живы, где находятся?

— Убиты! – с превосходно разыгранной печалью сказал Закирбай. – Их взял Боабек в свою кочевку Куртагата и убил всех в тот же вечер. Дурной басмач Боабек... Я сам не знаю... Слышал... Басмачи говорили...

Закирбаю было предложено доставить на заставу труп

Бойе и мургабцев – живых или мертвых (мы все-таки не хотели верить еще, что мургабцы убиты); вернуть взятое у нас и у мургабцев оружие; вернуть все награбленное...

— Хоп... хоп... хоп... – кивал головой Закирбай.

Он просил, чтобы ему дали мандат.

— Бумажка будет – басмачи меня будут слушать. Бумажки не будет – басмачи скажут, я их обманываю.

И вообще, по словам Закирбая, басмачи злы на него, он их боится, они убьют его, если «товарищ начальник» не даст мандата...

Несуразица была явная, но Черноусов с Юдиным составили «удостоверение в том, что предъявитель сего гр. Закирбай является уполномоченным по доставке на заставу убитых басмачами, оружия, имущества и товаров». Мандат был написан по-русски и по-киргизски и приклепнут печатью.

Сделав на прощание не меньше полусотни поклонов, Закирбай с четырьмя своими телохранителями уехал.

3

Мы уже восьмой день на заставе.

В дневнике моем запись:

«...Сообщение из Гульчи: сдались с оружием четыре басмача из банды Ады-Ходжа».

Десятый день, и в дневнике запись:

«...Сдались еще двое с оружием. Хороший признак: банда начинает раскалываться».

Такое наше «невнимание» к банде действует на нее разлагающе».

...Еще день, и еще запись:

«...Приезжал «случайный путник», сообщает, что все басмаческие кочевки стали на места и хотят мириться, но кочевка Куртагата сдаваться не хочет и просит у других кочевков три дня на размышления.

Другие кочевки говорят куртагатинцам:

«Сдайте оружие. Если нет, – мы поднимемся на вас – двести человек, пусть вы убьете десять из нас, мы заставим вас...»

Черноусов добродушно улыбается. Топорашев курит меньше. Солнечный день. Облака отходят и от сердца. Застава оживлена.

А мы уезжаем. Пора. Мы пробыли здесь ровно столько, чтобы сделать все, что от нас требовалось. Больше того, что мы сделали сейчас, сделать нельзя. Теперь – в Ош, снаряжать экспедицию заново и снова выезжать на Памир.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Все, что случилось со мной в тридцатом году, все, описанию чего я посвятил эту повесть, отошло далеко в историю. Тот путь, который с такими приключениями я проделывал, стал теперь широкой проезжей дорогой, по которой ежедневно движутся сотни автомобилей. В тех ущельях, где я находился в плену, выросли благоустроенные поселки – там дети служащих и рабочих чувствуют себя, как на курорте. На том самом месте, где нас обстреливала банда басмачей, высится сейчас крепкий деревянный мост через реку Гульчинку – никому уже не надо переезжать через нее вброд. И десятки других мостов пере-

кинулись через реки. Вдоль дороги стоят дома, хлебопечкарни, амбулатории, кооперативы. И уже не басмачи гоняют свой скот по горам, а знатные люди колхозов. Грамотные, веселые, в чистых одеждах киргизки доят коров, яков и овец. Сбылось все, о чем я мечтал, когда в 1931 году, вернувшись с Памира в Ленинград, писал эту повесть. Настоящий мир вошел радостью в сердца живущих на Алае и Памире, образованных, культурных людей. И о том, что здесь было прежде, молодежь может узнать только из рассказов стариков да из книг, какие читает, учась в средних школах и вузах.

1931-1952



СЕРГЕЙ ДИКОВСКИЙ

ПАТРИОТЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вдоль границы, от заставы «Казачка» к Медвежьей губе, ехали трое: капитан Дубах, молодой боец доброволец Павел Корж и его отец, сельский кузнец Никита Михайлович.

Ехали молча. Запоздалая уссурийская весна бежала от океана таежной тропой, дышала на голые сучья дубов и кидала жаворонков в повеселевшее небо. Вслед за ней, обгоняя всадников, летели птицы и пчелы.

Взбирались на сопку каменистой, звонкой тропой. Ветер раздувал на ветлах зеленое пламя, орешник и жимолость подставляли солнцу прозрачные листья, папоротник выбрасывал тугие острые стрелы; только вязы не слушались уговоров ручья: еще тянуло из падей ровным погребным холодком.

Ехали долго, через ручьи, сквозь шиповник и ожину, мимо низкорослых ровных дубков, и выбрались, наконец, на самый гребень сопки.

Открылась земля – такая просторная, что кони сами перешли в рысь. Маньчжурия уходила на юг, пустынная, затянутая травой цвета шинельного сукна. Земля была беспокойной, горбатой, точно под ее пыльной шкурой перекатывалась мертвая зыбь.

Никита Михайлович толкнул сына локтем. Старик любил вспомнить при случае сумасшедший мукденский поход.

– Видел, где твой батька подметки оставил? – спросил он, выезжая вперед.

– Поедем поищем, – сказал сын смеясь. – А ты разве в пехоте служил?

– Нет, в гусарах...

– То-то привык за гриву держаться.

– Сказал бы я тебе, Пашка...

– Скажи.

– Коня конфузить не хочется.

Они стали взбираться дальше; впереди – маленький краснощекий отец, накрытый, как колоколом, тяжелым плащом, за ним – сын, большеголовый крепыш, озадаченный скрипом новых сапог и ремней. А тропа все крутилась по гребню, ныряла в ручьи, исчезала в камнях и снова бросалась под ноги коням – звонкая, усыпанная блестками кварца. Голова кружилась от ее озорства.

Между тем трава исчезла. Ноги коней по бабку стали уходить в жесткий пепел. Дико чернели вокруг всадников прошлогодние палы. Никита Михайлович съежился, померчнел. Разговор оборвался.

Наконец, лошади стали. За ручьем лежал город – незнакомый, глиняный, с четырьмя толстыми башнями по углам. Начальник не взглянул на него. Он спрыгнул с коня и снял линялую фуражку перед каменной глыбой.

– Читайте сами, – сказал он Никите Михайловичу.

В глубоких надписях, высеченных на глыбе неумелой, но сильной рукой, светилась дождевая вода.

*Он был пулеметчиком, сыном народа,
Грозой для бандитов, стеною для Родины.*

А. Н. Корж. 1935 год. Ноябрь.

Теперь был апрель. Над глыбой летели пронизанные солнцем облака и отжимавшие на дубах упрямые листья.

Никита Михайлович слез с коня, вынул записную книжку и переписал надпись. Начальник смотрел на него прищуренным глазом. Другой глаз закрывала черная повязка.

– Не знаю, как насчет рифмы, – сказал капитан осторожно, – а смысл, мне кажется, правильный.

Никита Михайлович нагнулся, поднял из пепла пулеметную гильзу и долго вертел ее, точно сомневаясь, мог ли быть озорной большеротый Андрюшка «грозой для бандитов». Гильза еще не успела позеленеть.

– Это его позиция? – спросил он, наконец, не глядя на Дубаха.

– Да, – ответил начальник.

– Он умер сразу?

– Нет, – ответил начальник.

Вдруг Никита Михайлович повернулся и, ухватив жесткими пальцами красноармейца за пояс, затряс его с неожиданной яростью.

– Подбери боталы! – закричал он стариковским фальцетом. – Какой ты к черту солдат! Нудьга! Простокваша!

Он долго кричал на Павла, забыв, что сам привез его на Дальний Восток. Сын пошатывался от взрывов яростного отцовского горя. Наконец, он поймал отца за руки и грубовато заметил:

– Давайте, папаша, успокоимся...

Никита Михайлович сунул гильзу в карман и сказал капитану более спокойно:

– Это он такой только сегодня... квелый...

– Вижу, – ответил Дубах и, отойдя от камня, стал рассказывать, как в стычке с японцами, прикрывая собой левый край сопки, был убит пулеметчик Корж.

Это был долгий рассказ, потому что, пока во фланг японцам ударил эскадрон маневренной группы, прошло четыре часа, и Корж шесть раз отбивал атаку противника.

Когда капитан кончил рассказ, ветер успел высушить камень. Фазаны выбрались из кустов и грелись на солнце, не обращая внимания на людей. Весна бежала по тропам, тормоша, щекоча, путая прошлогоднюю траву.

– В десяти шагах от пулемета мы подобрали японца, – сказал в заключение Дубах. – Он упал на собственную гранату. Это бывает, когда слишком рано снимают кольцо.

– Он был офицером? – спросил Павел.

– Нет, рядовой второго разряда.

– Самурай оголтелый, – сказал зло Никита Михайлович и, путаясь в плаще, стал садиться на лошадь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Самураем он не был и никогда не задумывался о таких высоких вещах. В цейхгаузе 6-го стрелкового полка еще лежали проолифенный плащ новобранца и синяя хантэн³⁷ с хозяйским клеймом на спине.

Четыре года этот рослый парень работал на туковарнях Хоккайдо и так провонял тухлой сельдью, что в казарме его тотчас окрестили «рыбьей головой». Это было сказано точно. Все мысли Сато были заняты сельдью, камбалой и

³⁷ Хантэн – рабочая куртка.

кетой. Воспитанный в уважении к деревенским писцам, он был почитителен к начальству, старателен на занятиях и сдержан в разговорах с приятелями... Он молчал даже в праздничные дни, когда теплое сакэ³⁸ развязывает солдатские языки и отпускники наперебой начинают врать о своих похождениях в кварталах Джоройи... Но стоило только завести речь о ценах на сельдь или о шпаклевке кунгасов, как Сато преображался: его глаза становились веселыми, голос громким, а движения сильных рук такими размашистыми, точно перед ним были не казарменные нары, а морской берег. Уж тут-то он мог поспорить с кем угодно, хоть с самим господином синдо³⁹.

Сато вырос на западном побережье Хоккайдо и знал все: сколько локтей в ставном неводе, когда начинается нерест кеты, почему камбала любит холодную воду и сколько дают скупщики за корзину свежих креветок...

За три месяца жизни в казарме Сато успел смывать терпкий запах рыбы, водорослей и смоленых сетей, но кличка прилипла к нему, как рыба чешуя. По вечерам, после занятий, приятели любили подсмеиваться над старательным и наивным северянином.

— Ано-нэ⁴⁰! — объявлял во всеуслышание горнист Тарада. Кто знает, почему возле Карафуто⁴¹ стало видно морское дно?

Ответ был известен заранее, но тотчас несколько шутников с самым удивленным видом подхватывали невинный вопрос:

³⁸ Сакэ – водка из риса.

³⁹ Синдо – старшина на рыбалках.

⁴⁰ Ано-нэ! – Послушайте!

⁴¹ Карафуто – южная часть Сахалина.

– В самом деле...

– Что случилось с морем, Тарада?

– Я думаю, оно высохло от тоски, – замечал с глубокомысленным видом толстяк Миура.

– Нет, – объявлял Тарада торжественно, – дно видно потому, что Сато съел всю морскую капусту...

Жаловаться в таких случаях было бесполезно. Фельдфебель, сам любивший дразнить деревенщину, сидел поблизости, багровый от смеха, хотя и делал вид, что не слышит шуток Тарада.

Впрочем, и казармы и фельдфебель были давно позади. Восьмые сутки «Вуго-Мару» шел вдоль западного побережья Хонсю, собирая переселенцев в свои обширные трюмы. Пароход опаздывал. Он брал крестьянские семьи в Отару и Акита, лесорубов из Аомори, плотников в Муроране, плетельщиков корзин из префектуры Тояма, гончаров из Фукуи. Он грузил бочки с квашеной редькой и агар-агаром⁴², мотыги, котлы, брезентовые чаны для засолки, тысячи корзин и свертков самых фантастических очертаний. Чем дальше к югу полз «Вуго-Мару», тем глубже уходили в воду его ржавые борта. В Аомори еще видны были концы огромных винтов, а в Канадзава исчезла под водой даже марка парохода. Капитан прекратил погрузку.

Последними поднялись на борт шесть бравых молодцов в одинаковых сиреневых шляпах. У них были документы парикмахеров и чемоданы, слишком тощие для пересе-

⁴² Агар-агар – растительный студень, получаемый из морских водорослей, применяется в бактериологии, а также в пищевой и текстильной промышленности.

ленцев. Разместились они вместе с коммерсантами и учителями в каютах второго класса.

Наконец, пароход вышел в открытое море, увозя с Хонсю и Хоккайдо ровно полторы тысячи будущих жителей Манчжоу-Го и охранную роту стрелков.

Стойкий запах развороченных человеческих гнезд поселился в трюмах. Люди разместились на деревянных нарах, семейные завесились занавесками, зажгли свечи.

В глубоких железных колодцах голоса плескались, как в бочках. Были здесь крестьяне из южных районов, рыбаки, прачки, безработные матросы, уличные торговцы, проститутки, монахи, садовники и просто искатели счастья и славы. Только детей почти не замечал Сато в трюмах. Переселенцы еще выжидали, хотя официальные бюллетени военного министерства сообщали, что партизанский отряд «Братья Севера» давно разгромлен возле Цинцзяна.

Все это пестрое население орало, переругивалось, грохотало на железных палубах своими гета⁴³ и приставало к караульным солдатам с расспросами. Больше всего возни было с крестьянами. Точно вырванные из земли кусты, захватившие корнями комья земли, переселенцы стремились перенести на материк частицу Японии. Они везли с собой все, что смогли захватить: рисовые рогожи, шесты для сушки белья, холодные хибати⁴⁴, домашние божницы, соломенные плащи, садовые ножницы и квадратные деревянные ванны, не просыхавшие целое столетие. Старики захватили с собой даже обрывки сетей. Они

⁴³ Гета – сандалии на деревянной подошве.

⁴⁴ Хибати – жаровня.

покорно кивали головами, когда господин старшина объяснял, что никакого моря в Маньчжурии нет, и хитро подмигивали друг другу, едва этот толстяк поворачивался к ним спиной. Не могло быть в мире такой земли, где бы не блестела вода. А там, где вода, наверное, найдется и сельдь, и крабы, и камбала.

Если бы была возможность, упрямыцы погрузили бы с собой и паруса, и древние сампасэны⁴⁵, и стеклянные шары поплавков, но пароход уже шел открытым морем, покачиваясь и поплеывая горячей водой.

– Каммата-нэ⁴⁶! – сказал, наконец, старшина, совершенно отчаявшись. – Спорить с вами – все равно, что кричать ослиному уху о Будде...

– Извините, мы тоже так думаем, – поспешно ответили с нар.

– Всю эту рвань придется оставить в Сейсине.

– Мы тоже так думаем...

– Уф-ф... – сказал господин старшина, озадаченный таким покорным лукавством.

И он ушел наверх к капитану – заканчивать партию в маджан, начатую еще по дороге в Цуругу.

Между тем голубая полоска берега все таяла и таяла. Реже стали попадаться сети, отмеченные красными буйками. Исчезли парусники с квадратными темными парусами и легкие исабунэ⁴⁷ рыбаков. По левому борту «Вуго-Мару» проплыл последний остров – горбатый, с карликовыми соснами на гребне. Видимо, ветер дул здесь в

⁴⁵ Сампасэн – вид джонки.

⁴⁶ Каммата-нэ! – Экая напасть!

⁴⁷ Исабунэ – рыбацкая лодка.

одну сторону дерева стояли, вытянув ветви к юго-западу, точно собираясь улететь вслед за облаками. «Вуго-Мару» – ржавый утюг в шесть тысяч тонн водоизмещением шел, покачиваясь, не спеша разглаживая пологую волну. За кормой дрались чайки, раздирая выброшенные коком рыбы кишки.

Наконец, Хонсю стал таким далеким, что никто уже не мог сказать, остров это или просто клочок пароходного дыма.

– Третье отделение – в носовую каюту! – крикнул ефрейтор, рысцой пробегая по палубе.

Сато нехотя отвалился от борта. Чертовски неприятно было покидать палубу ради двухчасового урока русского языка. Легче пройти с полной выкладкой полсотни километров, чем произнести правильно «корухоз» или «пури-мет».

Чтобы продлить удовольствие, Сато нарочно пошел на бак кружным путем, через весь пароход. Когда он вошел в узкую железную каюту, третье отделение уже сидело за столом, выкрикивая готовые фразы из учебника майора Итоо. Это был странный язык, в котором «а» и «о» с трудом прорезывались среди шипящих и свистящих звуков, а «р» прыгало, как горошина в свистке.

Собеседником Сато был Тарада – гнилозубый насмешливый моряк из Осаки. Он знал немного английский, ругался по-китайски и утверждал, что русский понятен только после бутылки сакэ.

Третье отделение повторяло «Разговор с пленным солдатом».

– Руки вверх! – кричал Сато. – Стой! Иди сюда. Кто ты есть?

– Я есть солдат шестой стрелковой дивизии, – отвечал залпом Тарада...

– Куда вы шел!.. Не смей молчать! Сколько есть пуриметов в вашем полку? Высказывай правду... Как зовут вашего командира?

– Он есть майор Иванов. Сколько есть пуриметов? Наверное, тридцать четыре.

Потом они разучивали разговор с почтальоном, с девушкой, с мальчиком, стариком и прохожим.

– Эй, девушка! Поди сюда, – предлагал Сато. – Оставь бояться... Японский солдат наполнен добра.

– Я здесь, господин офицер, – покорно отвечал Тарада, стараясь смягчить свой застуженный голос.

– Смотри на меня, отвечай с честью. Где русский офицер и солдат?.. Они прыгнули сюда парашютом.

– Простите... Радуюсь вами, я их не заметил...

– Однако это есть ложь. Не говори так обманно. Этот колодец еще не отравлен солдатами? Слава богу, мы не грабители. Мы тоже немного есть христианцы.

– Покажи язык, – сказал Тарада, когда Сато захлопнул учебник. – Эти упражнения – чертовски опасная штука... Одному солдату из третьего взвода пришлось ампутировать язык...

– Глупости, – сказал Сато недоверчиво.

– Клянусь!.. Бедняга орал на весь госпиталь. – Подвижное лицо Тарада приняло грустное выражение. – Бедняга вывихнул язык на четвертом упражнении, – добавил он тихо, – а ведь его еще можно было спасти.

Все еще сомневаясь, Сато осторожно высунул язык.

– Еще, приятель, еще, – посоветовал Тарада серьезно. – Так и есть... Он скрутился, как штопор...

И шутник с размаху ударил Сато в подбородок.

Раздался смех. Жизнь на пароходе была так однообразна, что даже прикушенный язык вызывал общее оживление.

Обезумев от боли, Сато бросился на обидчика с кулаками.

– На место! – крикнул грозно фельдфебель Огава. – Тарада, вы опять?

– Я объяснял ему произношение, – сказал смиренно Тарада.

– Молчать!.. Вы ведете себя, как в борделе...

И он вышел из каюты, чтобы доложить о случившемся господину подпрапорщику.

Язык Сато горел. Чувствуя солоноватый вкус крови, солдат с ненавистью смотрел на маленького развязного человечка, которого он мог сшибить с ног одним ударом кулака.

Всем было известно, что Тарада хвастун и наглец. Он держал себя так, как будто не к нему относилось замечание господина ефрейтора.

– Кстати о языке, – заметил Тарада, едва захлопнулась дверь каюты. – Вы знаете, как в Осаке ловят кошек? Берешь железный крючок номер четыре и самый тухлый рыбий хвост. Потом делаешь насадку и ложишься за дерево. «Мяу-мяу», – говоришь ты какой-нибудь рыжей твари как можно ласковой... «Мияуу», – отвечает она, давась от жадности. Тут ее и подсекаешь, как камбалу, за язык или за щеку... Котята здесь не годятся. Их кишки слишком слабы

для струн самисэна⁴⁸ ... Хотя за последнее время...

Стукнула дверь. Вошел очень довольный фельдфебель Огава.

– Тарада! Двое суток карцера! – объявил он во всеуслышание.

– Слушаю, – ответил Тарада спокойно. – Сейчас?

– Нет, по прибытии на квартиры. Остальные могут приступить к развлечениям.

Развлечений было два: домино и патефон с несколькими пластинками, отмеченными личным штампом капитана. Кроме того, можно было перечитывать наклеенное на железный столб расписание дежурств и разглядывать плакат «Дружба счастливых». Плакат был прекрасен. Два веселых мальчика – японский и маньчжурский – ехали на ослах навстречу восходящему солнцу. Вокруг всадников расстилалась трава цвета фисташки, и мальчики, обнимая друг друга, улыбались насколько возможно искренне. Внизу была надпись: «Солнце озарило Маньчжурию. Вскоре весь мир станет раем».

Однако никто не любовался плакатом. За десять дней плавания мальчики примелькались, как физиономии фельдфебелей.

Четверо солдат завладели домино. Остальные, сидя на койках, ждали своей очереди и вполголоса обсуждали ближайшие перспективы переселенцев.

– Г-говорят, их расселят на самой границе, – сказал заика Мияко.

⁴⁸ Самисэн – японский трехструнный музыкальный инструмент, похожий на домру.

- Да... Им будут давать по сто цубо⁴⁹ на душу.
- Кто это вам сообщил? – заинтересовался ефрейтор.
- Я слышал от господина ротного писаря.
- Ничего не известно, – оборвал ефрейтор.

Наступила пауза.

– Г-говорят, что русские могут спать прямо на снегу, – сказал невпопад Мияко.

– Ну, это враки...

– Они очень сильны... Я сам видел, как русский грузчик поднял два мешка бобов.

– Это потому, что они едят мясо, – пояснил с важностью ефрейтор. – Зато они неуклюжи.

– «Симбун-майничи» пишет, что у них отличные самолеты.

– Глупости! Наши истребители самые быстроходные... – И господин фельдфебель стал подробно пересказывать вторую главу из брошюры «Что должен знать о русских японский солдат». По его словам, на пространстве от Байкала до Тихого океана населения меньше, чем в Осаке. Русские так богаты землей, что тысяча хори⁵⁰ считается у них пустяком. Они ленивы, как айносы⁵¹, и жадны, как англичане. Железо и уголь валяются у них под ногами, но они ищут на севере только золото.

О русских солдатах фельдфебель отозвался весьма пренебрежительно, как подобает настоящему патриоту.

– Партизаны опаснее регулярных войск, – сказал он в заключение. Партизан может попасть из ружья ночью в мышиный глаз, если не пьян, конечно.

⁴⁹ Цубо – около трети гектара (точнее – 3305 кв. метров).

⁵⁰ Хори – немногим более 1500 га.

⁵¹ Айносы, айны – небольшая вымирающая национальность на севере Японии.

Зашипела пластинка, и солдаты умолкли. Грустный женский голос запел известную песню о японском солдате, убитом сибирскими партизанами. Пела мать героя. Голос ее был мягок и глух. Если закрыть глаза, можно легко представить пустой дом, бречание самисэна на улице и мать, протянувшую руки над хибати. Тихо звенят угли. Остриженная траурно-коротко, она раскачивается и поет:

*В дом вошел солдат незнакомый,
Снега чистого горсть передал.
— Снег — как горе, он может растаять, —
Незнакомый солдат мне сказал.
— Где Хакино? — его я спросила. —
Сети пусты, и лодка суха.
Тонет тот, кто плавает смело, —
Незнакомый солдат мне сказал.*

Над головами слушателей гудела от ударов воды железная палуба. Светло-зеленые волны беспрестанно заглядывали в иллюминаторы. Временами распахивалась дверь, и мелкая водяная пыль обдавала собравшихся. Впрочем, солдаты не обращали на это внимания. Это были рослые, выносливые парни с Хоккайдо, которым предстояло увидеть если не Сибирь, то нечто на нее похожее. Каждый из них представлял себя на месте «убитого Хакино».

Был бы он лейтенантом сегодня,
вспомнила мать и умолкла.

Тарада, успевший заглянуть в костяшки соседей, с треском положил плашку на стол.

– Был бы я ефрейтором сегодня! – сказал он с досадой. Раздался смех. Всем было известно, что Тарада за драку на каботажной пристани был разжалован в рядовые второго разряда.

Язык Сато горел. Противно было смотреть на оттопыренные уши Тарада и слушать его дурацкие шутки.

– Разрешите выйти по надобности? – спросил Сато ефрейтора.

– Ступайте. Это уже шестой раз...

– Извините... Меня укачало.

Он долго бродил по железной палубе, побелевшей от соли. За два часа все изменилось неузнаваемо. Туман закрывал теперь мачты, трубу и даже часть капитанского мостика. Беспреданно бил колокол. Надстройки на баке казались страшно далекими, точно очертания идущего впереди корабля. Казалось, что «Вуго-Мару» покачивается на якоре, но стоило только присмотреться внимательнее, и тотчас десятки деталей выдавали непрерывное движение парохода. Тихо повизгивали по краям палубы цепи рулевого управления, вздрагивал корпус, вертелось на корме колесо лага; а когда Сато заглянул за борт, то поразился быстроте мутной волны, бежавшей вдоль «Вуго-Мару».

Все четыре люка были открыты. Капитан экономил электричество: на дне трехэтажных трюмов горели свечи. Люди успокоились, привыкли к сумраку, постоянному дрожанию железных нар и резкому запаху карболки. Мужчины играли в маджан и хаци-дзи-хаци⁵², женщины вязали грубые шерстяные фуфайки. Сквозь ровный гул,

⁵² Хаци-дзи-хаци – «88», японская игра в карты.

поднимавшийся из трюмов, иногда прорезывалась песня, зятанутая одиноким певцом.

Трюм походил на дом в разрезе. Странно было видеть на крыше этого мирного дома скорострельную пушку Гочкиса. Закрытая чехлом, перехлестнутая тросами, она стояла на корме «Вуго-Мару», напоминая переселенцам о возможных, опасностях.

Возле пушки всегда толпились любопытные. Бравый вид солдат, их металлические шлемы и суровые лица вызывали у деревенщины почтительный восторг.

Один из зевак, крестьянин с сухими руками, отмеченными пятнами фурунгулов, остановил Сато.

– Простите, почтенный, – начал он робко, – ведь вы уже были на Севере?

«Почтенный!» Это было сказано снизу вверх. Первый раз за полгода службы Сато почувствовал себя настоящим солдатом. Уши его побагровели от удовольствия. Он хотел ответить наивному собеседнику «нет», но язык опередил желание Сато.

– Да, – сказал он поспешно, – я был в Маньчжоу-Го.

– Говорят, что там нет ни деревьев, ни рек...

Подражая господину фельдфебелю, Сато выпятил губы:

– Глупости!

– Однако многие возвращаются обратно...

– Глупости! – повторил Сато твердо. – Ничего не известно.

И он, заметно важничая, зашагал дальше, не замечая своих распустившихся обмоток.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он приехал в отряд прямо со знаменитой стройки № 618 – маленький озабоченный человек в резиновых тапочках и пыльнике, надетом на шевиотовый пиджак. Его глаза были красны от известковой пыли и бессонницы. Голубые, белые, зеленые, желтые брызги покрывали кепи приехавшего, точно по дороге в отряд призывник попал под дождь из масляных красок.

– Ваша фамилия?

– Корж!

Это было сказано с достоинством. Бригадир штукатуров и маляров был заслуженно знаменит. За свои двадцать два года он успел выкрасить четыре волжских моста, два теплохода, фасад Дома Союзов, шесть водных станций, решетку зоосада и не меньше сотни крыш.

Впрочем, он нес свою славу легко. Она не обременяла ни стремянок, ни люлек, на которых работал знаменитый маляр.

Корж назвал себя и ждал от командира достойного ответа.

– А-а-а, – сказал пограничник довольно спокойно и поставил карандашом синюю птичку, – сейчас вас проведут в каптерку.

И все. Корж даже немного обиделся.

– Стройка шестьсот восемнадцать. Слыхали?

– Нет, – сказал командир с сожалением. – Где же слышать, если их шестьсот восемнадцать!

В тот же вечер Коржу срезали чуб и выдали сапоги, скрипевшие, как телега. Он получил также мятую шинель,

учебную винтовку с черным прикладом и старенький клинок.

Затем отделком, старательный толстощекий барабинец, показал Коржу, как подшивать воротничок и заправлять койку. Он долго умащивал круглый, как колбаса, матрац, расправлял одеяло и, наконец, отойдя в сторону, наклонил голову набок, любуясь дивной заправкой.

– Как яечко, – сказал он мечтательно.

– Яичко...

– Вот-вот... Теперь глядите, что тут обозначено... Тут обозначена буква «ны»... Ны – значит ноги...

– «Эн», – поправил Корж.

Отделком обиделся. Он вкладывал в обучение душу и не любил, когда его поправляли первогодки, не умевшие даже фуражку толком надеть.

– Давайте не будем вступать в пререкания, – заметил он строго. – Ны есть буква «ны»... А теперь возьмите бирку, напишите фамилию и повесьте у изголовья...

Корж нехотя подчинился. Как не походило все это на бурную жизнь пограничника, которую он так ясно себе представлял!

Корж рассчитывал в первый же день увидеть Маньчжурию, но отряд стоял в восьмидесяти километрах от границы, в селе, ничем не напоминавшем Дальний Восток. Совсем как на Украине, белели здесь мазанки, шатались по улицам гусаки и скрипели над колодцами журавли, только вместо соломенных крыш всюду лежал американский гофрированный цинк.

Кому в двадцать два года не снится бурка Чапаева? Корж мечтал о кавалерийской атаке, о буденновской рубке,

погоне, перестрелке в горах. Он уже видел под собой золотистого дончака, высокое лимонное седло и непременно голубой чепрак со звездой.

Вместо этого его привели в класс и посадили за стол. Молодой командир в галифе, подшитых кожей, и щегольских сапогах нарисовал на доске подобие бочки на четырех тумбах.

– Что мы наблюдаем? – спросил он, обводя строгими глазами бойцов.

– Лошадь.

– Нет... Лошадь – понятие гражданское. Мы наблюдаем как такового боевого коня. Иначе – объект иппологии.

Затем посреди бочки появилось сердце в виде туза, два веника – легкие, желудок с длинной трубкой, и командир начал подробно объяснять украинским и сибирским колхозникам, для чего нужен боевому коню пищевод.

Корж не выдержал:

– А когда же будет езда?

– Практические занятия завтра.

После урока к Коржу подошел отделком.

– Если что не ясно, требуйте у меня разъяснения, – сказал он приветливо. – Конь как таковой устроен просто...

– Да мне...

Но отделенный командир уже стучал о доску мелком.

...Ночью, скатываясь с гладкого, как «яечко», матраца, Корж видел себя главным объектом лошадиной науки. Голый, он стоял посреди кабинета директора шестьсот восемнадцатой стройки, и маленький лысый Бровман, тыкая Коржа в живот счетной линейкой, рассудительно спрашивал: «А что мы наблюдаем? А мы наблюдаем пищевод боевого коня...»

Как многие первогодки, Корж проснулся раньше побудки. Он долго лежал, представляя своего гнедого дончака, звон шпор и высокое скрипучее седло, пока отчаянный крик «подымайсь!» не стряхнул кавалериста с постели.

На манеже его ждало разочарование: вместо гнедого жеребца Коржу дали толстого белого мерина, одинаково равнодушно возившего и почту со станции и новичков из учебного батальона. У коня были лукавые глаза, седые ресницы и мохнатые мягкие губы, тронутые зеленью по краям. Стоило только вывести этого бывалого коня на манеж, как он начинал бегать, точно заведенный, ровной и страшно тряской рысью. При этом голова его ритмично качалась, а в глубине толстого брюха отчетливо слышалось: вурм-вурм-вурм...

Звали мерина Кайзером, и начальник маневренной группы клялся, что встречал коня еще под Перемышлем в 1915 году.

Обиднее всего, что Кайзер был без седла. Вместе с другими первогодками Корж должен был трястись на голой лошадиной спине, как деревенский мальчишка, соскакивать, бежать рядом, положив руку на холку, потом делать толчок двумя ногами, снова вскакивать на мерина — и так без конца.

Охотно ходил Корж только на полигон. Здесь уже по-настоящему чувствовалась граница. В густой рыжей траве перекликались фазаны. Пахло мертвыми листьями, юфтью, кисловатым пороховым дымком. На солнце было тепло, а в тени уже звенели под каблуком тонкие ледяные иглы.

Тир находился в лощине. Бесконечными цепями рас-

ходились отсюда сопки. Первый ряд был грязновато-песочного цвета, второй немного светлей, третий отсвечивал голубизной, а уже дальше шли горы богатейших черноморских оттенков, от темно-синих до пепельных.

Приятно было улечься на густую травяную кошму, найти упор для локтей и, приподняв винтовку, почувствовать ее холодок и бодрящую тяжесть. Стреляли, туго перехватив руку ремнем, – приклад ложился как врезанный. В прорезь прицела виднелся маленький аккуратный солдат в круглом шлеме. Он тоже целился из винтовки.

Первые дни солдат бесстрашно стоял во весь рост. Потом он припал на колено, потом лег. Эта хитрость даже понравилась Коржу. Каждый день он мысленно разговаривал с солдатом.

«Хочешь в лоб?» – спрашивал он, щупая переносицу.

Круглый глаз противника заметно подмигивал.

«Прячешься?.. Ну, держи».

Ветер шевелил мишень, и солдат откровенно смеялся.

«Мало? На еще...»

Вместе с обоймой кончался и разговор.

– Корж, чего вы колдуете? – спрашивал командир взвода. – Придержите дыхание.

Впрочем, это говорилось только для порядка. У первогодка были крепкие руки и глаза цейссовской зоркости.

Все чаще и чаще картонный солдат возвращался из тира с простреленным шлемом или дырой в подбородке.

Все шло по-старому. Дни ложились плотно, как патроны в обойму, только обойма эта не заряжалась ни разу. Физгородок, манеж, караульный устав, старый учебный пулемет с пробитым надульником (его теперь собирали,

закрыв глаза), тетради, классные доски, стучание мелка, а по вечерам шелест книжных страниц, рокот домр или перестук домино – все это больше походило на образцовую школу, чем на службу в пограничном отряде. Даже казарма, с ее кремовыми занавесками, бумажными цветами на деревянных столбах и четырьмя огромными фикусами в ленинском уголке, выглядела не по-военному мирно.

Приближалась зима. По утрам, как чугунная, звенела на манеже земля. Осыпались последние желуди. Над станицей Георгиевской, где стоял отряд, висел синий кизячный дым – во всех печах гудело пламя. А Коржа по-прежнему держали в учебном батальоне.

«Живем, как в Пензе, – писал отцу Корж, – чистим сапоги, вместо пороха нюхаем ваксу... Того гляди назначат в каптеры».

А между тем на границе было далеко не спокойно.

Длинные цепи огней горели на юго-востоке, где поднимались крутые вершины сопок Мать и Железная. По ночам натужными голосами орали завязшие в болотах грузовики, и прожекторы прощупывали мосты и беспокойную, горбатую землю.

На краю села казачки накрест заклеили стекла бумагой – промерзшая земля гудела от взрывов. Станичные дивчата делились с первогодками калеными семечками и новостями.

Шел тридцать пятый год. С укреплений восточной полосы еще не сняли опалубку, но бетон уже затвердел. Упустив время, противник нервничал. Изо дня в день с застав сообщали о выкопанных пограничных столбах и задержанных диверсантах.

Появились раненые. По двору лазарета вторую неделю катался в ручной коляске красноармеец с пергаментно-светлым лицом. Один глаз у него был голубой, веселый, другой закрывала черная повязка. Дивчата передавали красноармейцу через ограду целые веники подмерзшей резеды и гвоздики.

Однажды Корж не выдержал:

– Где это вас?

– За Утиной протокой, – сказал негромко боец.

– Японцы?

– Нет, свои... земляки... – ответил он, ухмыляясь.

Ловко перехватывая колеса худыми руками, он ехал вдоль ограды и вспоминал пограничные встречи.

...Шел из Владивостока ясноглазый застенчивый паренек-комбайнер. И в расчетной книжке, среди бухгалтерских отметок, были найдены цифры, вписанные симпатическими чернилами.

...Шла из Маньчжурии полуслепая китаянка-старуха с теленком. Было известно заранее – переправляется партия опиума. Но только на третий день на брюхе теленка пограничники обнаружили два кило липкой отравы, размазанной по шерсти, точно грязь.

...Шел охотник с берданкой и парой фазанов у пояса. И в картонных патронах к берданке нашлись чертежи, свернутые пыжами.

А в последний раз на тропе возле Утиной протоки пограничный наряд встретил подгулявших косцов. Три казака, в рубахах нараспашку, с узелками и «литовками» на плечах, шли, разматывая тягучую песню, завезенную дедом с Дона.

Их окликнули. Они отозвались охотно. Оказалось, колхозники.

Их спросили: «А какой бригады?» Старший ответил: «Первой лыськовской». И точно: такая бригада слыла лучшей в колхозе.

Их еще раз спросили: «Зачем в сумерках бродите вдоль границы?» Тогда старший – сквернослов с толстой шеей и выправкой старого солдата, подмигнув товарищам, ответил, что идут косцы брать на буксир отстающий колхоз.

И, уже совсем было поверив косцам, отделком порядка ради потребовал пропуск: ведь шел же однажды бандит с кнутом пастуха и шашкой динамита в кармане.

– Ну а как же, – сказал весело старший косец, – есть и пропуск.

Тут, присев на корточки, он развернул пестрый свой узелок и, вынув бутылку-гранату, с матерщиной метнул ее в пограничников.

В трех косцах опознали москитную белую банду из соседнего маньчжурского городишка Тинцзяна...

Корж хотел было спросить, что случилось дальше с косцами, но из лазарета вышел санитар и, ворча, увез больного в палату.

После этого разговора Корж помрачнел. Сытая, толстая морда Кайзера казалась ему удивительно глупой, каша – прогорклой, гармонь – фальшивой. Было ясно одно: в то время как он метит в картонную рожу, где-то возле Утиных протоков идет настоящий аврал.

В тот же вечер он сел писать громовую статью в «ильичевку», но закончить ее не успел. Коржа вызвали в штаб, к командиру учебного батальона.

– Ну что ж, – сказал батальонный, поздоровавшись с Коржем, – поздравляю с назначением и все такое прочее. Застава «Казачка». Выезжайте завтра. Кстати, тут и начальник.

Возле печки грелся командир в забрызганных грязью ичигах⁵³. У него были массивные плечи, пшеничные усы и пристальные, слегка насмешливые глаза бывалого человека.

Он шагнул к Коржу и загремел плащом.

– Сибиряк?

– Наполовину.

Командир засмеялся.

– Ну, добре... потом разберемся, – сказал он сиплым баском. – А пока спать. Побудка без четверти три. – И он постучал по стеклышку часов крепким обкуренным ногтем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Автомобили шли степью. Шестнадцать фиатовских грузовиков с воем и скрежетом взбирались на сопки, затянутые мертвой травой.

Стоял март – месяц последних морозов. Солнце освещало голые сучья кустов, низкие клены и сверкавшую, как наждак, мерзлую землю.

Степь пугала переселенцев простором и холодом. Ржавая посредине, сиренево-пыльная по краям, она третьи сутки плыла мимо автомобильных бортов.

Пепел и ржавчина – два любимых цвета маньчжурской зимы – провожали отряд от самой железной дороги.

⁵³ Ичиги – обувь из сыромятной кожи наподобие кожаного чулка.

Замотав головы бумажными платками, укутавшись в одеяла, переселенцы дремали, подсакивая на узлах и корзинах. Солдаты были лишены и этой возможности. Они сидели в открытых машинах, выпрямившись, зажав винтовки между колен. Нестерпимо ярко были иней и голубой лед ручьев. От резкого ветра слезились глаза. Многие солдаты надели шелковые маски, предохраняющие нос и скулы. Это придало отряду зловещий вид.

Светло-серый «фиат» поручика Амакасу скользил впереди колонны, парусиновый верх машины был демонстративно откинут.

Амакасу не поднял даже теплого обезьяньего воротника. Он сидел выпрямившись, положив руки на эфес сабли, – олицетворение спокойствия и воинской выдержки. Из-под мехового козырька торчали пепельный нос и выбеленные морозом усы.

Люди молчали. Только три звука сопровождали колонну в степи: монотонное жужжание моторов, треск мерзлой травы и грохот солдатских ботинок. Продрогшие стрелки что было силы стучали ногами в дно грузовиков. Когда стук становился особенно сильным, Амакасу останавливал головные машины. Он высаживал солдат и переселенцев и заставлял их бежать по дороге.

Это было фантастическое зрелище. Полтораэта мужчин, в платках и шляпах, в резиновых плащах, грубых фуфайках, пальто, рыбацких куртках, в резиновой обуви или обмотанных соломой гета, взбегали на сопку. Их подгоняли проворные и старательные солдаты в шлемах, отороченных мехом, и коротких полушубках.

Сам господин Амакасу, жилистый, в легких начищен-

ных сапогах, бежал впереди орущей, окутанной паром колонны, придерживая блестящую саблю и маузер.

Бравый вид поручика, его равнодушие к морозу вселяли бодрость в притихших переселенцев. Слышался смех, удары ладоней по спинам, из застуженных глоток вырывались остроты. Но все сразу умолкало, едва автомобили трогались в путь.

Так миновали, не останавливаясь, поселки Шансин и Хайчун – низкие, глиняные, с тощими псами на площадях, переправились по льду через реку Хаяр и повернули на запад, где переселенцев ждала земля, а солдат – жизнь, полная приключений и подвигов...

...Еще в Осаке по совету фельдфебеля Сато купил никки⁵⁴ – маленький, темно-зеленый, с изображением девушки, приложившей палец к губам. Старательно и бестолково заносил сюда Сато свои впечатления о дороге. Покамест они не отличались особым разнообразием:

«22 февраля. Проехали сто десять километров. Выдавали сигареты и по одной сакадзуки⁵⁵ сакэ. Господин фельдфебель осматривал ноги. Табак по-китайски зовется хуниен.

23 февраля. Проехали сто шестнадцать километров. Господин поручик приказал зажечь гаолян⁵⁶. Мяко ложно утверждает, что видел ночью хунхузов⁵⁷. Получил порицание... Огурец по-китайски – хуангуа... Капуста – бай-

⁵⁴ Никки – дневник.

⁵⁵ Сакадзуки – чашечка для сакэ.

⁵⁶ Гаолян – просо; одно из самых распространенных в Китае злаковых растений; стебли гаоляна достигают трех-четырёх метров высоты.

⁵⁷ Хунхуз – грабитель, разбойник.

чай... Выдали тофу⁵⁸, по четыре конфеты... Холодно.

24 февраля. Проехали сто три километра. Раздавили собаку. Когда распухают пальцы, следует опускать в горячую воду. Господин фельдфебель сказал: «Трусость – врожденное свойство маньчжур». Перец – лянцзяофэнь. Дыня – сянгва. Утром лопнула шина...»

Только одно происшествие случилось с отрядом на пути в Явчжэнь.

Был солнечный ветреный полдень, когда колонна пересекла плато и стала углубляться в рощу. Отряд сильно растянулся. Головные машины уже катились в роще, подсакивая на корнях, а взвод, замыкавший движение, еще двигался по открытому месту.

Неожиданно степь задымилась от пыли. Три огромные бурые воронки появились на горизонте. Они долго раскачивались, то подходя друг к другу, то расставаясь, похожие на трех дозорных, осматривающих степь, и вдруг, точно сговорившись, сразу двинулись к северу.

Шофер прибавил газ. Машина была уже на краю рощи, когда туча режущей пыли, снега, сухой травы обдала солдат. Над головами переселенцев заколыхались деревья. Заскрипели стволы. Роща наполнилась резким свистом и шумом. Туча листьев отделилась от земли и унеслась вверх, в голубые просветы. Вместе с ней поднялось несколько солдатских шлемов.

Невидимые грабли с шумом прочесывали лес. Клены раскачивались, точно выбирая, в какую сторону свалиться. Вдруг одно из деревьев рухнуло, едва не придавив автомобиль с пулеметчиками. Раздалась команда:

⁵⁸ Тофу – соевый творог.

– Все из машины! Очистить дорогу!

Но смерчи уже удалялись, наполненные травой, пылью и листьями. Десять солдат с трудом оттащили в сторону упавшее дерево.

Пыль улеглась, и в лесу стало заметно светлее. Вершины кленов еще раскачивались, но внизу было совсем тихо. Охваченные тревогой переселенцы продолжали придерживать растрепанные ветром циновки.

Солдаты, суеверные, как все крестьяне, зашептались, провожая глазами воронки. Сато вытащил карманный компас и постучал по стеклышку. Синяя стрелка вздрогнула и замерла. Смерчи шли на северо-восток.

– К черту в ворота, – сказал негромко Тарада.

– Это бывает только в год засухи.

– Плохое начало!

– Да... И притом сегодня, кажется, пятница, – заметил встревоженно Сато.

– Замолчать! – крикнул ефрейтор, которому тоже было не по себе.

Они снова выбрались в степь. Столбов смерча уже не было видно. Отъехали километров пять, и вдруг из облаков с огромной высоты стали падать холодные кленовые листья, унесенные смерчем.

Чтобы рассеять тягостное впечатление, господин поручик распорядился выдать по две рюмки сакэ.

Отряд медленно двигался к северу. Нелегко было добраться до пустующего рая, о котором уже третий год кричали газеты. Двое молодых солдат умерли от бе-

ри-бери⁵⁹ еще по дороге в Сейсин, несколько южан отморозили ноги на перегоне Муляо – Дунчжун, а неразговорчивый пулеметчик Цугамо был списан на острова после очередного просмотра солдатских дневников.

На вечерней поверке господин фельдфебель объявил об этом печальном случае так:

– Не чувствуя под собой почвы Ямато⁶⁰, рядовой второго разряда Цугамо проявил малодушие и в тоске возвратился в казармы шестого полка.

Тоска по Ямато... Вот уж чего Сато никак не мог понять! Он долго посмеивался, вспоминая унылую фигуру Цугамо... Стоит ли тосковать по вяленой камбале и сорному ячменю, если здесь каждый день дают тофу, рис, сахар и овощи, а по праздникам леденцы и сакэ? С гордостью Сато оглядывал новый полушубок, подбитый белой овчиной, бурки и шерстяные перчатки. Чего стоил один только китель с прекрасными бронзовыми пуговицами, жестким воротником и поперечными красными погонами! А просторный ранец, набитый запасными башмаками, бельем, патронами и галетами, – скрипучий, восхитительно пахнущий свежей кожей и лаком... А гладкий алюминиевый котелок... А ящик с лекарствами... Нет, надо быть грязной свиньей, чтобы после всего этого зубоскалить, подобно Цугамо.

Щеки Сато лоснились. Он был сыт, благодарен, счастлив. Еще ни разу он не открывал банки с гусиным салом, не растирал спиртом побелевших пальцев. Толстая фуфайка,

⁵⁹ Бери-бери – болезнь, родственная цинге, вызывается однообразной и скудной пищей.

⁶⁰ Ямато – древнее название Японии.

горячая кровь и ладанка из хвоста ската отлично защищали его от мороза и ветра. С первого взгляда ладанка не внушала доверия, но гадалщик был так назойлив, что Сато пришлось раскошелиться. За три иены он получил шершавый мешочек и несколько ценных советов. Он узнал, что должен остерегаться пятницы, не спать с раскосыми женщинами и ждать несчастья на сорок третьем году жизни.

Сато шел двадцать второй. Подпрыгивая на высокой автомобильной скамье, он спокойно рассматривал мертвую степь. Земля поражала Сато безлюдьем. Он привык к побережью Хоккайдо, где на каждом шагу видишь мокрые сети и слышишь «конни-ва⁶¹». Здесь только арбы, скрипевшие в стороне от дороги, напоминали о жизни, фанзы маньчжур были пусты, пергамент на окнах разорван, печи холодны. На глиняных полах валялись груды тряпья и бумаги. Встречались и трупы – темные, занесенные пылью, застывшие в удивительных позах. Возле потухших кузниц валялись колеса. Меха и железо были унесены в горы, где ковались самодельные сабли и пики.

Несколько раз ночь заставляла колонну в мертвых поселках. Это были короткие остановки без приключений и занимательных встреч. Одна ночевка была похожа на другую, как потертые циновки, на которых спали солдаты. Сначала санитарный врач исследовал воду в колодцах и отмечал желтым мелком негодные фанзы, затем отряд располагался на ночлег.

Света в фанзах не зажигали. Только пламя, вспыхи-

⁶¹ Конни-ва – здравствуйте, добрый день.

вавшее в низких печах, освещало то стриженные солдатские головы, то руки, жадно ловившие тепло.

Странно было видеть издали темные, молчаливые фанзы, из труб которых вылетали искры и дым.

Обыскивая один из таких поселков, отделение Сато обнаружило в фанзе старуху. Растрепанная, в стеганых солдатских штанах, она сидела на корточках возле казанка. Хозяйка даже не обернулась, когда в дверь вошел господин поручик в сопровождении переводчика и солдат.

– Встать! – закричал Сато, но старуха не шелохнулась, только глубже вобрала голову в плечи.

В порыве усердия Сато ударил чертовку прикладом и получил за это замечание от господина поручика.

– Отставить! – сказал Амакасу, – вы слишком старательны...

– Слушаю, господин поручик.

– ...Старательны и глупы. Вы должны разъяснять населению их ошибки и внушать уважение к императорской армии. Господин Мито, переведите этой женщине, что я порицаю поступок солдата.

Но и это великодушное замечание не подействовало на старуху. Она продолжала сидеть на корточках, размешивая ложкой какое-то клейкое варево. Переводчик подумал, что хозяйка глуховата; он наклонился к ней и крикнул прямо в ухо:

– Господин поручик порицает поступок солдата!

Старуха медленно повернула голову и уставилась на сапоги господина поручика, точно замороженная их блеском.

– Сын, – сказала она монотонно.

Господин Амакасу не понял. Он присел на корточки напротив старухи и стал терпеливо объяснять, почему население сделало ошибку, уйдя в горы. Поручик умел говорить увлекательно. Не повышая голоса, не угрожая репрессиями, он осуждал безрассудство ушедших и рассказывал о великой миссии императорской армии. Шесть солдат и фельдфебель почтительно слушали прекрасную речь господина поручика.

Желая дать низшим чинам наглядный урок вежливости, Амакасу назвал грязную старуху почтенной.

– Терпение и благоразумие – лучшие качества земледельца. Пусть очаг освещает вашу почтенную старость.

С этими словами господин поручик привстал и с любопытством заглянул в котелок.

– Сын, – повторила старуха.

– Ну-ну... Вы еще увидите лучшие времена.

Что-то похожее на любопытство засветилось на сморщенном лице китаянки. Губы ее растянулись, и не успел переводчик закончить фразу, как хозяйка схватила темными руками казанок и выплеснула горячее варево на Амакасу.

...Ее не расстреляли, хотя новая куртка господина поручика была основательно испорчена. Старуху просто выдрали шомполами.

После этого к ней вернулась любезность. Утром, когда господин фельдфебель умывался, хозяйка держала кувшин. Она стояла согнувшись и сухими глазами смотрела на упрямый толстый затылок, оттопыренные уши и скачущую струйку воды. Руки ее дрожали от тяжести кувшина.

Умывшись, фельдфебель великодушно сунул обмылок в сухую старушечью руку.

Через час ветер и моторы соединили свои монотонные голоса. Снова понеслась вдоль бортов промерзшая земля. Взгляды скользили по ней, не задерживаясь на пологих холмах. Изредка, делая огромные прыжки, перебегали дорогу шары перекасти-поля. Сато с любопытством провожал их глазами. Дико выглядела горбатая земля и скачущие по ней клочья травы.

Дальше к северу стали чаще встречаться леса и постройки из бревен. В одном из поселков солдаты увидели странные мелкоглазые дома с высокими крышами. Пахло дымом, сеном, скотом. Стаями маршировали злые жирные гуси. Из многих калиток выглядывали женщины с большими красными щеками. Точно рыбаки, они повязывали головы цветными фуросики⁶².

У въезда в село трое мужчин остановили головную машину. То были носатые рослые старики в бараньих шубах и войлочной обуви. Самый старший – великан с раздвоенной бородой и колючими светлыми глазами – держал блюдо, прикрытое полотенцем. От блюда шел пар.

– Кто это? – спросил Сато, пораженный необычайной внешностью жителей.

Сидевший рядом с ним пулеметчик Кондо вздрогнул и открыл глаза. Равнодушный и ленивый, он всегда дремал в машине, несмотря на запрещение господина ефрейтора.

– Кажется, это русские, – сказал он.

– Разве мы ошиблись дорогой?

– Не знаю.

Многие вскочили, чтобы лучше разглядеть, что происходит у головной машины.

⁶² Фуросики – платок, в котором носят мелкие покупки и завтраки.

– Сесть! – крикнул ефрейтор. – Можно подумать, что вы ни разу не видели росскэ.

– Простите, я не уяснил...

– Потому что вы хлопаете ушами на занятиях. Это росскэ, но они враждебны России. Коммунисты расстреляли их императора и семь русских генро⁶³.

«Расстрелять императора! – Сато осторожно хихикнул. Он не знал еще, что полагается делать: негодовать или смеяться. – Сына Аматерасу? Человека с кровью богов. Шутник этот Акита!»

Но лицо ефрейтора было серьезным, и солдат остолбенело уставился на начальника. Это звучало так дико, что Сато даже засопел от изумления. Микадо... Овальное матовое лицо, густые брови, лишенные блеска глаза, яркий рот, оттененный усами. Это лицо, загадочное и спокойное, было с детства знакомо каждому сыну Ямато. Оно глядело с газетных страниц и открыток, с детских кубиков и обложек журналов...

Сато попробовал представить себе другого, русского императора, бородатого, в каске и лакированных сапогах, с голубой лентой, усеянной орденами Коршуна всех степеней. Но и русский император был грозный, живой, – мертвого Сато никак представить не мог.

С чувством уважения смотрел он на трех русских самураев, потерявших царя. Из рта старшего вырывались клубы пара. Он точно давился свистящими и рычащими звуками. Переводчик еле успевал подхватывать отдельные фразы:

⁶³ Генро – императорский советник.

– ...Свет с Востока... Трудлюбивые сеятели, тоскующие по отчизне... Монаршая милость...

– Чего они хотят? – поинтересовался поручик.

– Они приветствуют воинов Ямато и просят принять пирог и шкуру медведя...

Подарки были положены на сиденье машины, но казак продолжал говорить, поблескивая острыми хитрыми глазами:

– Русские сироты... Сыновья радость... Братство закона и правды...

Господин Амакасу терпеливо ждал, когда оборвется поток свистящих и рычащих звуков. Наконец, он поднял руку. Русский самурай почтительно крикнул и придержал дыхание.

– Очиеен хорошо, – сказал господин поручик по-русски.
– Передайте населению наше благодарю и ура.

Ротный писарь передал казакам подарки: банку чаю, две зажигалки и коробку трубочного табаку.

Колонна медленно проехала мимо стариков, козырявших каждой машине.

Когда высокие крыши деревни скрылись из глаз, господин Амакасу приподнялся и выбросил пирог из машины. Горячее тесто долго дымилось в ржавой траве.

Термометр показывал минус тридцать градусов. Чем дальше продвигался отряд к северу, тем резче сверкал иней и сильнее становились морозы. Многие надели очки-консервы. Темные стекла и наносники придавали солдатам вид угрюмых ночных птиц.

Стали чаще встречаться повозки с огромными колесами, обитыми гвоздями. На дорогах валялось тряпье.

Наконец, возле самого Цинцзяна, в болотистой низине, заросшей шпажником, отряд встретил маньчжур.

На берегу протоки белели палатки саперного батальона. Больше тысячи крестьян, мобилизованных на дорожные работы, насыпали высокую дамбу, по гребню которой шел паровой каток. На готовом участке красными кирпичами были выложены иероглифы: «Мир, труд, благоденствие».

Беспомощный вид землекопов, их унылые, темные лица и засаленная одежда отлично подтверждали слова господина фельдфебеля о превосходстве японского духа.

Увидев отряд, крестьяне опустили мотыги. Землекопы поспешно расчистили узкий коридор для колонны. Однако ни один из них не ответил на приветствие господина фельдфебеля.

– Наверно, они оглохли, – заметил с усмешкой Тарада.

– Кроты!

– Взгляните, какая у этого зверская рожа...

– Типичный хунхуз!

– Вот падаль!

Видя благосклонную усмешку господина фельдфебеля, ротные остряки открыли беглый огонь по молчаливой шеренге маньчжур. Каждая шутка вызывала взрыв хохота. Так приятно было прочистить глотки после томительного молчания в степи.

Даже увалень Сато не удержался и крикнул:

– Здорово, навозные черви!

Возле протоки колонна остановилась. Раздалась команда:

– Набрать воды в радиаторы!

Сато и Кондо первыми схватили брезентовые ведра и спустились на лед.

Протока промерзла до дна. Ветер сдул снег. Гладкая голубая дорожка уходила на юг. Солдаты побежали по ней, скользя и падая.

Это было занятное путешествие. В пузырястой светлой воде стояли неподвижные рыбы. Сато топнул ногой. Рыбы не шевелились: они вмерзли в лед. Тогда Сато вынул тесак и вырубил кусок льда вместе с рыбой. Она была плоская, с острыми красными плавниками и золотистым брюшком.

Наконец, они отыскиали глубокое место, где темнела вода, и наполнили ведра.

Возле поселка работал взвод саперов. Звенела круглая пила, связанная приводом с автомобильным мотором. У солдат были пепельные щеки и седые от мороза ресницы.

Сато поделился сигаретами с одним из саперов. То был настоящий солдат, подвижной, обтертый в походах крепыш с насмешливым багровым лицом. Глотка его шипела, как испорченный кран.

– Так вы с Хоккайдо? – спросил сапер, с трудом выталкивая слова. Говорят, в Саппоро несчастье... Ячмень упал еще на две иены...

– Не знаю, – сказал Сато. – Здесь всегда такой холод?

– Всегда... Две иены на коку⁶⁴... Так вы ничего не слышали насчет ячменя?

– Нет... У нас уже четверо отморозили ноги.

– Холодно, очень холодно, – повторил сапер, пританцовывая. – Видите сваи? Это наш семнадцатый мост. Клен как железо... Утром сменили два диска... Так вы куда, приятель, – в Цинцзян?

⁶⁴ Коку – мера веса, равная 180 кг.

– Ничего не известно.

– Ну-ну... Видно, вы первый год носите ранец. В пустяках не бывает секретов.

– Говорят, здесь высокие урожаи? – заметил Сато уклончиво.

– Дерьмо! Рай для каторжников.

Пока они разговаривали, вода в брезентовом ведре успела подернуться иглами льда. С берега неслись нетерпеливые гудки автомобилей.

– Берегите уши, – просипел сапер на прощание.

Но Сато не слышал. Держа ведро и замерзшую рыбу, он мчался по голубому пузыристу льду к автомашине.

Они проехали еще с полсотни километров, и вдруг автомобили подняли дружный рев. Впереди за болотистым полем виднелись две башни. Низкая глиняная стена, укрепленная контрфорсами, обегала городские постройки.

Тявкал небольшой колокол. На улицах качались разноцветные кисти и бумажные шары, а из каждой трубы, напоминая об огне и горячей еде, поднимались колонны синего дыма. То был город, живой и теплый.

Изо всех фургонов глазели переселенцы, закутанные в одеяла и разноцветные платки...

– Ано-нэ! – крикнул громко Огава. – Да здравствует Цинцзян!

Ему нестройно ответило несколько застуженных глоток.

Из городских ворот навстречу колонне уже мчались кавалеристы в шлемах, отороченных мехом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После бесконечных поездок, шума и резкого света новостроек «Казачка» поразила Коржа своей тишиной. Низкое здание заставы, сколоченное из дубовых бревен, стояло в ложбине. Можно было подъехать к «Казачке» вплотную и не заметить ни темной крыши, ни мачт радиостанции, ни забора, раскрашенного черно-желтыми пятнами.

Здесь лошади не ржали, собаки не лаяли, сапоги не скрипели. Многие из красноармейцев, отправляясь в дозор, заматывали копыта коней тряпками, а пешие надевали ичиги.

День и ночь на заставе не имели границ: люди жили здесь в нескольких сутках сразу. Просыпаясь, бойцы видели в окнах вечернее солнце и засыпали с петухами, чистили сапоги ночью и умывались в полдень.

...Только три дня прошло с тех пор, как на утренней поверке впервые выкликнули фамилию Коржа, но бойцам и начальнику уже казалось, что всю жизнь они видели это веселое лицо и беспокойные крапленные веснушками руки. Корж много ездил и, вероятно, один видел больше, чем целый взвод красноармейцев-барабинцев. Стоило только вспомнить какую-нибудь область, город или новостройку, как он немедленно вмешивался в разговор.

Он знал, что в Новороссийске из города на «Стандарт» ездят на катерах, что в Бобриках выстроили кинотеатр «почище московских», что Таганрог стоит на горе, что в тифлисских банях вода пахнет серой. Он мог рассказать, сколько суток идет пароход от Казани до Астрахани, как выглядит домна и в какой цвет окрашен кремлевский дво-

рец. На заставу Корж привез уйму цепких словечек, смешных рассказов, песен, а главное – настоящий хроматический баян с могучими мехами, ремнем на зеленой подкладке и таким количеством перламутровых пуговиц, что их хватило бы на сотню косовороток.

В первый же вечер Корж вынул баян из футляра и поставил перед бойцами на стол.

– Кто желает? – предложил он небрежно.

Все замолчали, поглядывая то на баян, то на незнакомого широкооротого первогодка. Инструмент слепил черным лаком и никелем застёжек. Боязно было прикоснуться к его сверкающим клавишам.

Осторожно кашлянул только повар – маленький кривоногий человек с лицом калмыка. Он был запевалой всех песен и первым музыкантом заставы.

– Разрешите? – спросил повар почтительно. – Я сейчас.

Он сбегал к рукомойнику, вымыл руки яичным мылом и только тогда принял на колени тяжелый инструмент.

– Ну держитесь! – сказал отделком Гармиз.

– «Ой, за гаем, гаем!»

– Полечку, Ростя...

Но баян молчал. Повар растерялся. Его руки, привыкшие к тульской трехрядке, вдруг окостенели на перламутровых клавишах. Беззвучно потрогав кнопки, он снял ремень и с сожалением посмотрел на свои короткие красные пальцы.

– Извиняюсь...

Баян шумно вздохнул.

Заиграл Корж... Уже по одному вступительному аккорду, зарокотавшему, как волна, стало ясно, что баян в хозяйских руках.

Знакомая легкая мелодия венгерки на цыпочках прошла по комнате, пробуя упругим носком половицы. Корж не торопил ее. Он сидел, наклонив голову, шевеля бровями, точно удивляясь отчетливым звукам, вылетавшим у него из-под пальцев. Гармонь почти не дышала, хотя на помощь одинокому альту уже выбегали тенора и временами одобрительно поддакивал мягкий басок.

Мелодия медлила. Она еще обегала второй круг, но по лицу Коржа видно было, что вот-вот грянет настоящее. Брови музыканта взлетели высоко и замерли, маленькие крепкие ноздри раздулись. Движением плеча он поправил ремень. И баян грянул. Все, что было в нем веселого, озорного, звонкого, сразу вырвалось из мехов и осветило казарму. Высоко поднялись девичьи голоса, еще выше их — скрипки и флейты. Ударили по контрабасам смычки, вскрикнули домры, проснулись колокольчики, дружно заоркотали гитары, октавы расстелили под ноги танцующим свое густое гуденье, а бубен, глупый и веселый, побежал вдоль круга, догоняя мелодию.

Корж сидел неподвижно. Только вызолоченные веснушками беспокойные пальцы легко и цепко трогали пуговики.

И вдруг кто-то крикнул:

— Лампа!

Копотная струйка поднималась к потолку и разлеталась черными мухами. Музыка оборвалась. Отделком, ворча, стал закрывать стол газетными листами.

— Нотно сыграно! — сказал повар почтительно и немного грустно, потому что втайне завидовал музыканту.

Все с уважением посмотрели на крепкого большего-

лового первогодка, небрежно перебиравшего лады. У него было простодушное лицо деревенского парня, но в глазах блестела хитринка.

Проводник Нугис, огромный молчаливый латыш, погладил баян и спросил:

– Тысячу потянет?

Музыкант засмеялся.

– А вот уж не вешал... Премия...

И он показал серебряную дощечку, врезанную в крышку баяна.

Стоял февраль – единственный зимний месяц, когда снег не сохраняет следов. Ветер точно работал по сговору с нарушителями. Он заметал все: лыжни, спички, окурки, остатки костров, прятал в пушистой снежной толще запахи овчины, сапог, табака.

Участок был трудный. Давно прошли времена, когда нарушители рисковали головой из-за дюжины чулок или банки ханьши⁶⁵. Контрабанда стала не самоцелью, а маскировкой. Шел стреляный зверь – без документов, без адресов, без оружия, агенты доихаровской⁶⁶ школы, умевшие с равным искусством лгать и молчать на допросах.

Конные дозоры беспрестанно объезжали распадки, проводники собак, пулеметчики, снайперы неумоимо прочесывали дубняк и заросли ожины, тянувшиеся вдоль границы.

Задержали старуху, шедшую «исповедоваться» к попу на ту сторону границы – реки. Она несла длинный поми-

⁶⁵ Ханьша – китайская водка.

⁶⁶ Доихара – организатор японского шпионажа на Дальнем Востоке.

нальный список усопших, и между именами старушечьих родственников Дубах нашел вписанные молоком фамилии командиров укрепленного участка.

Привели глухонемого корейца с замечательным фотоаппаратом, вделанным в ручные часы.

Подстрелили голубя, и в записке, примотанной к лапке, прочли: «Петр будет в субботу. Ждем папирос...»

Сам Дубах, надев белый халат, вышел навстречу гостю. Две ночи он провел в секретах вместе с бойцами...

В субботу Петр не пришел, но в понедельник, во время сильной пурги, в соседнем китайском городишке Цинцзяне поднялась стрельба. На рассвете отделком Гармиз задержал возле знака № 17 двух партизан, бежавших из маньчжурской тюрьмы... У обоих были обрезаны уши.

Больше всех задержаний имел Нугис, проводник знаменитой овчарки Рекса, – молчаливый отделком с плечами Поддубного и крутым девичьим румянцем во всю щеку.

Не истратив за зиму ни одного патрона, он доставил на заставу тридцать семь человек.

Несколько раз Корж сопровождал арестованных. Это был пестрый народ: зеленщики, макосеи, перебежчики-солдаты из цинцзянского гарнизона, родственники зарубежных казаков, бандиты, объединенные одним общим словом – нарушители. С тех пор как появились первые партии японских переселенцев, стали чаще попадаться маньчжурские землеробы. В поисках работы и мира они переходили границу целыми группами и, прежде чем достать документы, показывали широкие и жесткие ладони. Впрочем, трудно было сказать, кто друг, кто враг. Всех без исключения нарушителей распутывали в отряде.

В наряды Корж еще не ходил. Он уже привык по тревоге одним рывком сбрасывать одеяло и сон, мог с завязанными глазами собрать пулемет и неплохо держался в седле, но начальник не спешил с назначениями...

Прежде чем стать командиром, Дубах долгое время водил поезда. На всю жизнь он усвоил жесткое правило машиниста – ничего не делать с рывка. Он набирал скорость постепенно, приучая первогодков бить без промаха, угадывать дорогу по звездам, заучивать каждый камень, куст, пень на земле, которую им предстояло охранять в течение трех лет.

Он воспитывал в молодых бойцах зоркость к обыденному, острое чувство подозрительности к предметам и людям, попавшим в запретную полосу.

Однажды Дубах принес на занятия обыкновенный окурок, подобранный нарядом в лесу.

– Что вы видите? – спросил он у Коржа.

– Бычок!

– Только-то? Осмотрите и доложите.

Корж старательно осмотрел окурок. Он был сырой, желтый, с надписью золотом: «Бр. Лопато. Харбин».

– Китайский бычок, товарищ начальник!

Дубах улыбнулся.

– На этикетку не смотрите... У нас не школа ликбеза. А видим мы вот что...

И Дубах прочел десятиминутную лекцию об окурке. Оказалось, что переход был совершен давно (окурок успел пожелтеть), нарушитель шел из-за границы (на нашей стороне харбинских папирос не курят). Нарушитель шел

днем (ночью курят только сумасшедшие). Нарушитель был или малоопытен, или неосторожен (иначе бы спрятал окурки). Нарушителю помешали (половина папиросы не докурена). Нарушитель пользуется мундштуком с очень узким отверстием (конец папиросы сильно скручен).

– Замечайте, – сказал Дубах, пряча окурки в коробку, – все замечайте. Как дятел кричит... Когда японцы караулы сменяют... Где Пачихезу можно вброд перейти... Замечайте и подозревайте. Вопросительный знак – великое дело.

Как всякий начальник, Дубах был одновременно командиром и педагогом. Одним и тем же красным карандашом он отмечал пулевые следы на мишенях и ошибки первогодков в диктанте.

Чертовски много нужно было знать молодому бойцу. Как влияет ветер на полет пули и велик ли в этом году урожай на Кубани? Сколько выстрелов в минуту дает пулемет Дегтярева и каковы тактические особенности японской пехоты? Что есть баллистика? Как устроен фильтр противогаза? Как изображают на картах сопки и лес? Сколько ребер у лошади? Для чего служит печень? Как перевязывать голень?

Знать нужно было много, пожалуй, больше, чем знали иные комдивы времен гражданской войны. И все же, по мнению Дубаха, чего-то в занятиях не хватало. Чего именно – он еще сам не знал. Не установок, не новых идей... Скорее – какой-то очень простой и мудрой формулы, объединяющей в себе все, что защищали бойцы на этом участке: народы всех союзных республик, их земли, моря, их хлеб, железо, корабли, города.

И слово было сказано партией. Родина. Сильнее, короче, ясней не придумаешь.

Сначала Дубах стал вырезать все передовые на тему о патриотизме. Потом перешел к статьям, где говорилось о подвигах патриотов. Он решил вести «Книгу героев» – подробную летопись подвигов, совершенных советскими патриотами после эпопеи челюскинцев, когда миллионы людей так ясно почувствовали все могущество Родины...

Он разыскал в городе огромный альбом с шишкинскими медведями на переплете и стал наклеивать в него газетные вырезки и портреты героев.

Это была хрестоматия двадцатистрочных рассказов о мужестве, находчивости, скромности малоизвестных советских людей. Системы тут не было никакой. Женщина-врач, привившая себе ради опыта бациллы чумы, встречалась на одной странице с участниками путешествия в стратосферу. Девушки-лыжницы – со студентом, спасшим женщину во время пожара; золотоискатели, распавшиеся сказочный самородок, – с чабаном, отстоявшим от волков отару овец... Были здесь летчики, налетавшие по миллиону километров, лучшие снайперы СССР, профессор, предложивший обезболить роды, пионер, задержавший бандита, советские сталевары, музыканты, танкисты, актеры, пожарные, академики...

День за днем книга рассказывала бойцам, кто такие Коккинали, Демченко, Бабочкин, Лысенко, Ботвинник... Ее цитировали на политзанятиях, читали вслух каждый вечер.

Дубах гордился затеей. Он серьезно уверял коменданта участка, что с тех пор, как появилась «Книга героев», у всех стрелков пули стали ложиться заметно кучнее, чем прежде.

Приближалась весна. Снег сошел, но в распадах еще

лежал темный, мартовский лед. Сторожевые псы скулили. Из цинцзянской степной полосы полз дым – горел подожженный японскими колонистами гаолян.

Дубах ходил мрачный, посапывал носом, точно принюхиваясь.

Третий месяц на участке существовала «дыра». Кто-то осторожный, опытный, знающий местность, как свою ладонь, водил пограничников за нос. Было использовано все: усиленные наряды, конные дозоры, секреты, лесные облавы, – и все напрасно. Каждый переход, как прыжок в воду, – бесследен. Пробовали пускать собак, но даже Рекс, распутавший на своем веку больше сотни сложных клубков, сконфуженно чихал, окунув нос в траву: перец и нюхательный табак, рассыпанный нарушителем, жег собачьи ноздри.

Наконец, подвесили на тонких нитках колокольчики. Шесть ночей подряд прислушивались пограничники. Колокольчики молчали. Зато каждый день звонил телефон, и каждый раз начальник отряда сухохато спрашивал: «Ну?» Это «ну» стоило Дубаху многого. Он пожелтел, ссутулился, по суткам пропадал в тайге и, вернувшись, сразу сваливался на тахту. К нему вернулась скверная фронтовая привычка – ложиться не раздеваясь. Шестилетняя дочка Дубаха Илька, спавшая рядом, с испугом смотрела на оплетенные жилами руки отца. Они были так неподвижны и так тяжелы, что Ильке казалось – отец совсем не проснется. Но стоило только скрипнуть сверчку, как Дубах, не открывая глаз, поднимал тяжелую руку и говорил: «Я вас слушаю».

Телефон стоял возле самой подушки начальника. Дубах

был глуховат и стыдился признаться в этом врачу. В сырую погоду глухота совсем одолевала начальника; тогда он клал трубку с собой в постель и засыпал, привалившись к мембране щекой.

Телефонная линия шла тайгой. Птицы садились на проволоку, белки пробовали на обмотке свои зубы, грозы наполняли линию треском и шорохом. Мембрана старательно нашептывала всю эту галиматью на ухо начальнику, в то время как он бормотал и ворочался, отмахиваясь от шепота, как от мух...

Илька любила подслушивать в полевой телефон разговоры. Это можно было делать только тайком, когда отца нет на заставе. Стоит приложить трубку к уху, нажать клавиш, – и она начинала болтать всякую чепуху: «Минск! Минск! Минск! – звал кто-то глухим голосом, точно из подвала. – Когда вы вернете Гуськова?» – «Фртъуррю-фр-р-тъуррю», – отвечали неожиданно птицы из Минска. Потом трубка начинала храпеть, совсем как отец, когда разоспится. Илька понимала, что где-то заснул часовой. Она знала, что спать на посту нельзя, и, чтобы разбудить красноармейца, несколько раз поворачивала ручку. Храп обрывался... «Кремль шестнадцать! – говорил быстрый, отчетливый голос. – Кого вызываете? Кремль шестнадцать». И снова начиналось старое: комариный писк, гудение, странные разговоры Калуги с Кремлем о комсомольском собрании, валенках, мишенях, щенках... «Кремль шестнадцать!» – надрывался телефон. «Не надо спать!» – отвечала Илька, подражая отцу, и, довольная, выбегала из комнаты.

С тех пор как Илька стала самостоятельно отворять двери, Дубах окончательно потерял влияние на дочку.

Илька все время пропадала в казарме. Особенно она любила сушилку и кухню. В сушилке всегда замечательно пахло табаком, кожей, дымом. На жердях рядами висели огромные болотные сапоги с подковами, сырые шинели и гремучие плащи с капюшонами (в этих плащах можно было отлично прятаться от отца). Красноармейцы сидели на низкой скамье, курили, вспоминали какой-то Барабинск и рассказывали разные интересные истории, в которых Илька почти ничего не понимала.

Еще интереснее было на кухне. Здесь чугунная дверца была румяной от жара, на больших зеленых кастрюлях плясали крышки, а если Илька подходила близко к плите, черный чугунок говорил «пф-ф».

Повар тоже был совсем особенный, не такой, как другие красноармейцы. Он был немного выше Ильки, маленький, кривоногий, с широким лицом и розовыми от огня белками. Вместо зеленой фуражки и шинели он носил смешной белый колпак и фартук, в карманах которого всегда лежали стручки гороха и губная гармоника.

Звали повара Беликом. Илька дружила с ним из-за гармоника и интересных рассказов. Белик знал все: как разговаривают собаки и дятлы, до скольких лет живет щука, почему у телефона привешена ручка, может ли пуля долететь до луны и зачем у мухомора точки на шляпке.

Он мог еще играть авиамарш, склеивать змея, показывать фокусы с пяточком и предсказывать погоду.

Он знал все. Когда Илька приносила из лесу холодные прозрачные ягоды костяники на тонких стеблях, Белик говорил настойчиво и сурово:

– Бросьте... Это рыбий глаз.

Он не мог точно объяснить, как рыбы глаза попали в тайгу, но Илька верила другу твердо.

Однажды в апреле, когда папоротник выбросил из прогретой земли свои острые стрелы, вдруг снова стало холодно. В ложбину, где стояла застава, прорвался ветер, ивы зябко зашевелили листьями, и отец приказал Ильке надеть противное пальто. Встревоженная, испуганная, она побежала к повару.

– Белик, – спросила она грустно, – это опять зима, да?

– Нет, – отвечал повар смеясь. – Это у дуба лист прорезается. Сегодня ночью будут почки трещать.

Ночью Илька выбежала в чулках на крыльцо. Дубы стояли за ручьем, корявые, черные, подняв к месяцу голые руки. Рядом блестели тонкие прутья ветел. Клены укрывали от ночного холода сирень и орешник. Всюду пробивалась зелень, даже пробковое дерево выбросило несколько острых листков. Только дубы еще упрямылись, делали вид, что не замечают травы, щекочущей им корни.

Илька долго прислушивалась. Дубы молчали. Они были так упрямы, что у Ильки застыли ноги. Но все-таки она дождалась и услышала слабый звук, похожий на стук капли. Звук повторился. Сдерживая волнение, Илька бросилась к ручью. Она подбежала к самому толстому и упрямому из дубов и прижалась ухом к шершавой коре. Дерево молчало. Стучали рядом, падая на дно жестянки, капли березового сока – то Белик собирал квас.

Никакого треска Илька не слышала и вернулась в постель раздосадованная, в мокрых чулках. Она долго чихала, прежде чем заснула, а утром снова побежала к дубам. На этот раз Илька увидела, что повар был прав: маленькие

упрямые листочки прорезались из красноватых почек. Илька едва не заплакала от досады. Дуб перехитрил ее. Видимо, почки трещали как раз тогда, когда она чихала в постели. Впрочем, Белик тут же успокоил ее, сказав, что почки стреляют раз в девяносто два года.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Ну и музыка!

Корж в отчаянии уставился на сапоги. Черт знает что выделявала свежая кожа. Она пела, пищала, стонала, скрипела, оповещая границу о приближении наряда. Пять километров надсадного поросячьего визга. Ни смалец, ни рыбий жир не могли смягчить рассвирепевшую юфть.

Скованный визгом, Корж боялся пошевелиться. А нужно было спешить. Низкое солнце уже било в глаза.

– Шагай на носках, – посоветовал Нугис.

Он стоял возле Коржа, заботливый, сероглазый великан в порыжелых ичигах, и придерживал за щипец овчарку. Рекс повизгивал, нервничал. Запах юфти жег ноздри.

Раздался скрип. Корж шел на цыпочках, широко расставив руки. Он побагровел от досады. Он ждал всего: тревожного шепота, взрыва гранаты, выстрела в спину, прыжка японского разведчика, только не этого надсадного, мерного визга.

Корж завидовал Нугису, его обмятой шинели, легким ичигам, глуховатому голосу. Все было выверено, обтерто и пригнано у этого спокойного человека. Кобура его нагана была расстегнута, хотя Нугис почти никогда не стрелял на границе. И пули и слова он расходовал одинаково редко.

...В молчании они перебрались по бревну через ручей, перешли рисовое поле и вошли в падь, такую глубокую и узкую, что раньше срока над их головами блеснула звезда. Потом пролезли под валежиной, свернули в старое русло Пачихезы и стали подниматься вверх, прыгая с камня на камень.

– Запоминай, – сказал Нугис.

А запоминать пришлось много; в глазах рябило от пней, ручьев, тропок двойняшек-берез и камней, похожих друг на друга, как пара патронов. Изредка встречались окопчики, закрытые дерном и хворостом, залитые весенней водой. В одном из них валялись кусок патронного ящика и обрывок бинта.

Между тем тропа поднялась на гребень... Точно широкое казацкое седло, лежала гора среди дубняка. Две пади обегали мохнатые бока сопки и, сливаясь в узкую промоину, уходили на юг.

Прячась в зарослях багульника, они спустились с гребня, обошли солонцы, подернутые, точно плесенью, блеклой травой, и залегли за коряжиной метрах в двухстах от границы.

За промоиной, среди кочковатого поля, стоял глиняный город. Таких Корж не видел ни разу. По грязным улицам носилась солома, чадили жаровни. Пританцовывая под тяжестью коромысла, шел с корзинами зеленщик. Возле колодца, раскинув руки, лежал ничком человек – не поймешь издали, мертвый или пьяный. Изредка проезжали неуклюжие повозки с огромными колесами. Китаец в ватных штанах сидел у входа в харчевню, и ветер трепал над его головой бумажный тюльпан.

Едкий запах бобового масла, чеснока и мочи плыл через ручей, заставляя Рекса чихать. Непролазной нищетой, скукой старой маньчжурской провинции несло от глиняной крепости. Не было видно тут ни свежего теса, ни штабелей кирпича, ни бетонщиков, пляшущих в ямах. Корж смотрел на маньчжурский город с высоты своих двадцати двух лет.

– Ну и курятник! – заметил он удивленно.

– Это Цинцзян, – сказал Нугис, – город серьезный... Два батальона...

– А дохлый...

– У него жизнь ночная... особая.

Раздался резкий звук горна. Нугис поспешно извлек часы.

– Тревога!.. Смотри, засекаю время...

Из глиняной казармы выскакивали и бежали к конюшне солдаты. Тонконогие, похожие на мальчишек конники приторачивали тючки прессованного сена, термосы и пулеметные коробки. У всех солдат были широкие меховые наушники, серые перчатки и суконные гамашы, закрывавшие носки ботинок.

Офицер, выделявшийся среди солдат только обезьяньим воротником куртки и блестящими голенищами, взмахнул рукой – очевидно, скомандовал. Маленький отряд на рысях выехал за глиняные ворота и вскоре исчез в желтоватой мгле, висевшей за сопками.

– Ну, завтра будет гонка, – сказал отделком, – опять в норму не уложились...

– На тактические поехали?

– Какая тут тактика! Вчера переселенца в колодце нашли.

Прячась в кустах, они прошли еще с полкилометра и легли в холодную мокрую траву. Небо позеленело, замутилось, утратило высоту. Наступили минуты многозначительного молчания, той сумрачной кратковременной тишины, которая отделяет вечер от ночи, как узкая полоска горизонта – землю от неба. Сопки уже превратились в силуэты, но кроны деревьев еще не потеряли глубоких и нежных оттенков.

Выпь первой нарушила паузу. Глухим подземным уханьем приветствовала она первую звезду. И сразу со всех низин ей ответили лягушки. Согретые болотной водой, изнемогающие от блаженства, они точно ждали сигнала. Восторженный, неистовый рев поднялся над рисовым полем.

Лунь пролетел над водой, поворачивая круглую, кошачью голову. В его когтях бился суслик...

Странное чувство подавленности и тревоги охватило Коржа. Только что все вокруг было так невозможно и ясно: блестела вода, лежал на тропе белый голыш, качались кленовые листья. Теперь даже соседний куст жил двойной, загадочной жизнью. Все шуршало, пряталось, шептало, скользило, ползло; ручей и тот бормотал не по-русски. Только честные собачьи глаза, звезды да циферблат часов были бесспорны в этом мире намеков.

Корж вертел головой, рискуя сорвать позвонки. Он ждал. Он был терпелив. Как всякий новичок, он делал уйму ненужных движений: перекладывал винтовку, лазил в под сумки, ощупывал гранаты, ручной браслет.

Нугис лежал рядом, огромный, теплый, спокойный. Из травы торчал только конец шлема. Казалось, проводник даже посапывает.

Постепенно Корж успокоился. Среди тысячи неясных, случайных звуков он стал различать знакомые шумы. Где-то бесконечно далеко, за сопками, взывал буксующий грузовик. Голос его то повышался до комариного звона, то гудел возмущенным баском... Все глуше и глуше звучал утомленный мотор. Он точно жаловался окружающим сопкам на свое бессилие, на холод и грязь. И вдруг донесся короткий торжествующий крик клаксона. Шофер вырвал машину. Слышно было, как грузовик, ворча, удаляется от опасного места.

Корж обернулся на звук мотора: там, где недавно исчезла полоска заката, снова горел свет; не багровый отблеск палов и не дымные прожекторные столбы – просто небольшой светлый венчик, точно земля отдавала накопленное за день тепло.

Горело электричество. В глубоких котлованах возле Георгиевки, в тайге, на полевых базах, где заправлялись машины, в новом городе Климовске, в окрестных колхозах, вдоль железнодорожной ветви, уходившей на север, всюду светились огни. Они согревали, ободряли бойцов, лежавших в мокрой траве, напоминали о великой бессоннице, охватившей Дальний Восток...

Чувство огромного спокойствия наполнило Коржа. Радостно было думать, что в каких-нибудь пятнадцати километрах за его спиной по пыльной улице ходят в обнимку дивчата, что сейчас, ночью, ворчат бетономешалки, бегают десятники со складными метрами в карманах, что люди спят в поездах, учат дроби, аплодируют актерам, распрягают коней, пляшут, целуются, ведут автомашины.

И все это охранял он. Корж... Он еще раз нащупал

гранаты. Их авторитетная тяжесть успокоила его. Корж приподнялся, чтобы подползти ближе к Нугису, но проводник неожиданно поднял руку. Рекс вскочил на ноги. Что-то странное делалось с псом. Он подобрал хвост, приложил уши и стал пятиться, издавая чуть слышный щенячий визг.

Нугис сжал ему пасть. Собака дрожала.

По гребню сопки быстро шли двое. Шли прямо на куст. Потом их оказалось четверо... Что случилось дальше, Корж вспомнил только под утро.

Кажется, он успел окликнуть два раза. Винтовка выстрелила сама по себе, в упор, в черную овчину бандита. Трое бросились в сторону.

– Назад! – крикнул Нугис.

Но Корж не слышал. Он стрелял на бегу. Он знал только одно: трое живы, трое прорвались, трое уходят. Не задумываясь, не ожидая товарища, он устремился за ними...

В два часа ночи Дубах отстегнул маузер и снял болотные сапоги. Он был доволен – день прошел тихо. Никто не докладывал о следах нарушителей, не просил пополнить подсумки, не счищал с нагана сизую гарь.

Из отряда звонили только два раза, и то по мелочи: требовали сдать стреляные гильзы и спрашивали, готовы ли инвентарные списки библиотеки. Да комендант напомнил под утро, чтобы партийцы выехали на делегатское собрание за два дня, потому что дорогу сильно размыло дождями.

На цыпочках, чтобы не разбудить дочь, начальник прошел к полке и достал кусок холодной телятины. Илька спала на тахте, нахмутив пушистые брови, сердито сжав

кулачки. Что-то страшное снилось девочке. Она ворочалась, невнятно шептала, пищала тонко, как суслик...

Дубах посмотрел на нее и вздохнул. Обидно было, что Илька растет дикарем. Мать ее была казачкой. Он привез ее из Ростова прямо со школьной скамьи – веселую зеленоглазую девчонку с пышной шапкой медных волос. Рот ее никогда не закрывался. Дубах ворчал – слишком шумно стало в казарме. Потом привык. То была женщина не слишком умная, но с горячим, радостным сердцем. Она любила свой Ростов, степь, тополя и побаивалась тайги.

Когда банда полковника Хутоярова напала на заставу, Регина была на девятом месяце. Ее погубила горячность. Вместо того чтобы лежать на полу, она вздумала таскать в окопы патроны. Ящики были тяжелые: Илька родилась к концу перестрелки на койке проводника Гущина, исполнявшего обязанности санитаря. Смелый боец, отчаянный кавалерист, он до того растерялся, что перерезал пуповину грязным кухонным ножом...

Илька походила на мать. Те же медные волосы, широкий мальчишеский рот и озорные глаза. Только характер не тот. У матери смех вспыхивал, когда еще слезы не высохли. Илька редко смеялась, еще реже плакала. Она выросла без сверстников, без палочек-выручалочек, горелок, разбойников, пятнашек этих смешных и милых игр, без которых не обходится детство. Она ни разу не была в городе, не видела парохода, поезда, самолета, рояля, театра, зато совершенно точно знала, как надеваются подсумки, почему закапчивают мушки и что такое конкур-иппик⁶⁷.

⁶⁷ Конкур-иппик – кавалерийские состязания.

Правда, начальник отряда хотел собрать по заставам всех бирюков, вроде Ильки, и устроить нечто похожее на интернат, но дальше списков дело не шло. Пришлось выписать на заставу няньку – старуху из уссурийских казачек. Толку из этого вышло мало. Степанида оказалась старательной, но вредной бабой, постоянно огрызавшейся на красноармейцев.

Скрипнула половица. Илька приподнялась и долго смотрела на отца потемневшими от сна глазами. Вдруг она удивленно спросила:

– А сказка?

Спорить с ней было бесполезно. Каждый вечер, сидя на тахте, Дубах рассказывал Ильке самые смешные и милые сказки, на которые только была способна его уставшая за день голова. Прежде он долго колебался – можно ли рассказывать Ильке всю эту симпатичную галиматью об Аленушках и Иван-царевичах? Сомнения рассеял начальник отряда, толстый латыш Цорн. Еще до того, как педагоги амнистировали ковер-самолет, он привез из Москвы и роздал ребятам целый чемодан старых сказок. Ильке достался Андерсен. Его шуточные, лукавые сказки с удовольствием прочел и начальник. Он даже вписал в тетрадку андерсеновскую поговорку: «Что позолочено – сотрется, свиная кожа остается». Это было сказано здорово. Начальник рассчитывал когда-нибудь использовать поговорку на политзанятиях.

Уже два вечера прошли без сказок. Дубах чувствовал себя виноватым. Он сел возле Ильки и начал:

– У мухоморья дуб зеленый...

– Ой, какая неправда! – сказала строго Илька. – Не хочу про дуб, хочу про овчарку.

– Жила-была одна немецкая овчарка, и жил-был один бессмертный Кашей...

Он пересказывал Ильке Андерсена, бесцеремонно вплетая в приключения Оле-Лукойе Кашея Бессмертного, заставляя оловянного солдатика встречаться с Бармалеем и Бабой Ягой. Золотой ларец отыскивали у него овчарки, а серого волка приканчивал Иванушка-дурачок из берданки.

Илька забралась с ногами на тахту. По ее требованию отец прикрутил лампу. В комнате стало совсем темно, только на стене засветилась зеркальная сталь клинков.

От отца пахнет табаком, кожаными ремнями, одеколоном. Подбородок у отца удивительный: если провести рукой вниз – очень гладкий, если вверх – как напильник. Дубах сильный – может раздавить в кулаке грецкий орех, поднять бревно, согнуть пятачок. Когда отец сердится, он фыркает, точно хочет чихнуть. Это очень смешно, но смеяться нельзя...

– Вот и все, – сказал отец, щелкая портсигаром. – Аленушка уехала в Москву к тетке, Кашей засох, а ковер-самолет испортился...

– Его моль съела?

– Почему моль? Хотя да... Верно, съела...

Где-то далеко в тайге сломался сучок. Другой, третий... Дубах поморщился... Плохо, когда по ночам без мороза и ветра трещат сучки.

– А волк где?

– Волк?... Он тоже пропал.

...Еще два сучка... Дубах машинально надел сапоги... Целая обойма. Возле солонцов чья-то винтовка била почти без пауз. Так мог стрелять либо новичок, либо боец, которому уже некогда целиться.

– Его овчарки загрызли? – спросила Илья сонно. – Наверное, Рекс? Да? – И, не дождавшись ответа, заснула, схватившись обеими руками за отцовскую портупею.

Дубах осторожно высвободился. Распахнул дверь.

Перед забором визжали на ржавой проволоке кольца. Четыре сторожевых пса скулили, рвались с привязей в темноту.

Через двор к командирскому флигелю рысцой спешил дневальный.

Он бежал. Давно в темноте улизнула тропа. Чертовы сучья, мертвые и живые, дышавшие прелью, хвоей, свежим листом, лезли в лицо, хватали за рукава, рвали шинель. Забором вздымались вокруг корни валежин. С разбегу кидались под ноги ручьи. Ожина железными петлями ловила ноги. С жирным, плотоядным урчанием присасывалась к подошвам разбухшая земля. Все было свежо, холодно, мокро в апрельской тайге.

Он бежал. Не хватало дыхания. Грудная клетка, сердце, ремень, гимнастерка стали вдруг тесными. Качалась земля. Медленно кружились над головой стволы, и черные кроны, и звездный, уже склонившийся к горизонту ковш.

Птицы вырывались из кустов и, шумя крыльями, исчезали в темноте. Корж лез в гору на четвереньках. Мускулы ныли, кричали о пощаде. Корж полз. По опыту тренировок он знал, что скоро перейдет на второе дыхание.

Ветер перебросил через сопку дальний гудок паровоза. Прогредел мост. Курьерский шел на восток. Корж выполз на гребень и на спине съехал в распадок. Где-то совсем близко сорвался под беглецом камень.

– Врешь! – крикнул Корж, и сразу стало тихо.

Он снова побежал, охваченный могучим желанием: настичь, схватить за плечи, опрокинуть, вмять в траву и тогда уже, поставив колено на горло врагу, отдышаться. Бессвязные, яростные слова вырывались против воли у Коржа. Он так ясно представлял брошенное в траву, извивающееся тело диверсанта, что на бегу повторял обрывки фраз из будущего разговора с японцем. В какой-то картине Корж видел уже такого самурая. Он прыгал вокруг бородача партизана. У него был странный клинок, короткий, изогнутый, – не оружие бойца, а какое-то ядовитое жало... Этот тоже прыгнет вбок, затем вперед. Винтовку следует выбросить навстречу и немного вверх... Удар будет звонким. А потом? «Сидзука-ни синасай! Молчи! Откуда пришел?.. Доко кара кита-ка?..»

...Обеими руками Корж схватился за дерево. Листья клена плеснули в лицо пригоршни холодной воды. Он пытался прислушаться... Стоял мокрый, оглушенный толчками сердца. Шлем жег голову. Кровь гудела в висках.

Он оглянулся. Было светло. По седой траве вился зеленый след, проложенный лапами шинели. Окруженный шпажником, блестел бочажок. На его гладкой поверхности плавал тополевыи пух и гонялись, морщина воду, серые бегунки. Солнечная рябь дрожала на дне, устланном ржавыми листьями. И тишина, и одинокий след в холодной траве, и расцветающее небо, и пустые подсумки, и сизая гарь на затворе – все напоминало Коржу, что погоня окончена. Он опустился на колени и, погрузив лицо в воду, тянул ее до тех пор, пока не заныли зубы. Тогда он встал, расправил сырую шинель и пошел на запад, где торчала зеленая луковица георгиевской колокольни.

Трое бойцов с ищейкой и дегтяревским пулеметом, высланные начальником к месту стрельбы, к рассвету нашли Нугиса. Он сидел в кустах, вымазанный в грязи, посеревший от злости, и ругался шепотом по-латышски. Это было верным признаком неудачи.

– Кто стрелял? – спросил старший по наряду.

– Наверно, винтовка, – сказал Нугис сухо.

– Переход?

– Нет, передур...

– А где Корж?

– Не знаю, – мрачно сказал проводник. – Я его звал... Я дуракам не желаю быть нянькой.

Он встал и раздвинул кусты. Рекс завыл и попятился.

Посреди поляны, раскрыв лиловую пасть, лежал мертвый медведь... Тянуло горелой шерстью. Зверь был застрелен Коржем в упор.

Выбравшись в поле, Корж убедился в ошибке. Впереди была не Георгиевка. Вместо знакомой кирпичной колокольни здесь торчала часовня, обшитая американским гофрированным цинком.

Тайга кончилась. Земля катилась на юг широкой черной волной, неся на себе тракторы, бензиновые бочки, вербы и зеленые фургоны бригад. Шла пахота. Сверкали лемеха. Голубой керосиновый дым слоями висел над землей.

За спиной Коржа фыркнул мотор. Девчонка с веселым облупленным лицом распахнула дверцу «пикапа».

– Ноги... ноги оботрите, – сказала она домовито.

– А куда? – спросил Корж.

– Как куда? Полдничать... Чуете?

Из кузова машины тянуло пшеничным хлебом, горячим борщом.

– Не выйдет, – сказал Корж дрогнувшим голосом.

– Ну, взвару попробуйте... Товарищ, куда же вы?

– В Георгиевку.

– Тогда извиняюсь, – сказала дивчина; «пикап» умчался, обиженно фыркнув.

Корж долго смотрел ей вслед. Ловкая девка! Казачка... Она-то довезет свой борщ до зеленого фургона... Взвар... А что на заставе? Нугис уже вернулся... Отмалчивается... Кормит Рекса. Придется идти через двор одному, с постной рожей и пустыми подсумками. Корж уже видел, как навстречу ему, опираясь на стол, поднимается Дубах... Он успел представить эту позорную сцену в сотнях вариантов, прежде чем выбрался к Георгиевке.

Был полдень. Шинель уже высохла. Короткая синяя тень металась под ногами у Коржа.

В трех километрах от станицы, возле мельницы, он встретил попутчика. Паренек-кореец в полосатой футболке, сидя на жернове, строгал палочку. Возле него, скуля и почесываясь, лежала мохнатая собака.

– Здравствуйте, товарищ командир! – отчетливо сказал кореец.

– Я не командир.

– Извините... Я ошибся.

Они помолчали. Корж залюбовался руками корейца. Мускулистые, голые по локоть, они отливали на солнце золотом. Паренек снимал с палочки зеленые кольца.

– Идти далеко... Идти скучно. Будем играть, – пояснил кореец.

Пес заскулил. Умоляющими, розовыми от жары глазами он уставился на хозяина.

– Что это он у вас? – спросил Корж.

– Так... Блюшка.

Он встал и, приложив дудку к губам, издал гортанный и печальный звук. Глаза музыканта зажмурились, на тонкой шее зашевелился кадык. Он заиграл, нагнув стриженую голову, – смешной корейский парняга. Как все корейцы, он немного смахивал на японца. Корж вспомнил госпитальный сад и желтое лицо красноармейца в коляске. После сумасшедшей ночи он был готов подозревать в каждом прохожем шпиона.

– Ладно будет? – спросил музыкант, кончив играть.

– Ладно...

У корейца были с собой початок вареной кукурузы и немного бобового творога.

– Хоцице покушать? – спросил он ласково.

Корж отказался. Он даже отвернулся, чтобы не видеть, как тают желтоватые мучнистые зерна, но и смотреть по сторонам было не легче. Дятел доставал из коры червей. Промчалась белка-летяга, жирная, пестрая. Корж посмотрел под ноги: толстенькая гусеница грызла лист. Даже ручей бормотал противным, сытым голосом. Все вокруг ело, жрало, сверлило, пило, сосало. Тошно стало Коржу.

– Кто вы такой? – спросил он грубовато.

Кореец прищурился.

– Странно... Кажется, это не запрещенная зона... Ну, предположим, механик...

– Все мы механики, – сказал Корж сумрачно. – Ваша фамилия?

– Ким, Афанасий.

– Я партийность не спрашиваю.

– Ким – это фамилия. По-нашему – золото.

Корж задумался.

– Послушайте, – заметил кореец рассудительно, – вам будут из-за меня неприятности. Я член поселкового Совета. У нас пахота. Вы не имеете права меня останавливать.

Он говорил убедительно. Корж и сам понимал – придирака была никчемной. Следовало тотчас отпустить этого ясноглазого, стриженного ежиком парнишку. Он чувствовал усталость и стыд, но какое-то нелепое подозрение не позволяло ему отступить.

– А что в мешке? – спросил Корж, чтобы спасти положение.

Механик молча вынул тракторный поршень, укутанный в паклю. Поршень был старый, марки Джон-Дира, очень редкой в этих местах.

– По благу достал – сказал парень горделиво. – Знаете, как теперь части рвут.

Они поговорили еще немного и разошлись. Кореец заиграл снова.

Унылые гортанные звуки дудки долго провожали Коржа. Но когда оборвалась последняя дрожащая нота, он остановился, снова охваченный подозрением. Шли же вот так, с узелками, косцы... Музыкант... Блюшка... При чем тут поршень Джон-Дира?.. Провел, как перепела, на дудку...

Спотыкаясь о корни, он бросился к мельнице. Музыкант не спешил. Он шел, волоча по тропинке ивовый пру-

тик. Зеленая дудка торчала под мышкой.

Он с любопытством взглянул на маленького запыхавшегося красноармейца.

– Стой!.. – крикнул Корж. – Стой! Есть вопрос... Вот вы механик... А откуда у вас этот поршень?

– Не понимаю... То есть из склада.

– Я спрашиваю – из Сталинграда или из Харькова?

– Аттестуете?

– Нет... в порядке самообразования.

– Не знаю... Кажется, харьковский.

Корж облегченно вздохнул. Маленькие крепкие ноздри его раздулись и опустились... Веселые лучики разбежались по обветренному лицу. Он выпрямился, точно нашел точку опоры.

– А с каких это пор «ХТЗ» ходят с поршнями Джон-Дира? – спросил он почти весело.

– Цубо! – крикнул кореец и ударил пса в бок.

Рыжий отбежал на почтительное расстояние и горестно взвыл.

– Разрешите идти?

– Да... На заставу.

И они пошли. Через осинник, где орали дрозды, по зеленым мокрым хребтам «Семи братьев», мимо пади Кротовой, полной холода и грязного льда. Впереди изнемогающий от блох и любви к хозяину пес, за ним – кореец в полосатой футболке и, наконец, озабоченный Корж, застегнувший шинель на все четыре крючка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Никогда еще Сато не видел таких странных городов, как Цинцзян. Весь, от крепостной стены до собачьей будки, он был слеplен из глины. Пулеметная очередь прошивала любую башню насквозь. И люди, создавшие эту смехотворную крепость, еще верили в ее силу, каждую весну строители замазывали трещины, пулевые дыры и восстанавливали отвалившиеся углы.

Впрочем, за пять месяцев жизни в Цинцзяне Сато еще не успел разглядеть город как следует. Солдатские сутки похожи на ранцы, в которых есть все, кроме свободного места.

С тех пор как переселенцы разместились на землях возле Цинцзяна, отряд не знал ни одного спокойного дня.

В окрестностях поселка жили прежде огородники-маньчжуры и десятка два семей «росскэ», принадлежавших к какой-то странной секте «стару-о-бряцци». Пришлось потратить немало времени, чтобы заставить их потесниться. Половина маньчжур, несмотря на приказ, запрещающий массовые передвижения по провинции, ушла в горы, к партизанам.

«Росскэ» вели себя совсем странно. Старики надели на себя длинные белые рубахи с черными крестами на груди и легли живыми в гробы. Они не хотели давать объяснения и отказались отвечать даже самому господину поручику, спросившему упрямец на чистейшем русском языке: «Эй, казака! Циго вам хоцице?»

Солдаты лопались от смеха, когда бородачей, неподвижных, как сушеная камбала, вытряхивали из гробов на повозки и увозили на другие участки.

В конце концов такая возня надоела господину поручику. Он выбрал несколько наиболее упрямых стариков, плевавших при виде солдат, и велел их расстрелять, не вынимая из гробов.

После этого все быстро уладилось. Уцелевшие «росскэ» сами запрягли быков и ушли на юго-восток, демонстративно сняв с домов даже двери.

Вокруг Цинцзяна поднялась первая зелень, возвращенная переселенцами, и солдаты вернулись к обычным занятиям.

Как отмечал господин лейтенант, просматривавший каждый четверг солдатские дневники, записи Сато стали значительно содержательней. Он усвоил уже две главы из брошюры «Дух императорской армии» и мог довольно связно пересказать статью Араки «Задачи Японии в эпоху Сиова». Когда солдаты затягивали любимую песню господина поручика «Блещут молнией сабли», голос старательного Сато заметно выделялся из хора.

Сато решительно отказался от дружбы с болтливым Мияко и развязным Тарада. Противно было слушать, когда эти сплетники начинали говорить о продажности министерства иностранных дел или тайком передразнивали господина фельдфебеля. Он дружил только с Кондо — молчаливым грузчиком из Мацуяма. Во-первых, Кондо был земляком, а во-вторых, считался первым силачом во всей роте.

Мечтая втайне о трех звездочках, Сато тщательно подражал поведению и привычкам рядовых первого разряда и ротного писаря Мито.

У щеголеватого табачника Кавамото он заимствовал замечательный способ замотки обмоток, у крепыша Таки —

прекрасную точность поклонов и рапортов, у самого писаря – сразу три вещи: рассудительный тон, пренебрежение к «росскэ» и любовь к длинным цитатам.

Однажды, набравшись смелости, он попросил у Мито разрешения переписать некоторые выражения героев армии, которые писарь хранил в записной книжке. Господин писарь немного опешил. Он не был склонен делиться высокими мыслями с рядовыми второго разряда.

– Лягушка не может видеть из колодца весь мир, – заметил он сухо.

Но голос Сато был так почтителен, а поклон так глубок, что писарь смягчился. К тому же у этого старательного, неловкого солдата был отличный почерк.

– Хорошо, – сказал Мито, – но сначала ты перепишешь провизионную ведомость.

...Жизнь гарнизона не отличалась разнообразием. За все лето Сато отметил в дневнике только две замечательные даты: день рождения господина поручика и прогулку в квартал веселых домов.

Для гарнизона прогулка эта была целым событием. Во-первых, шли через весь город без окриков ефрейторов, свободно глаза по сторонам, а во-вторых, каждый солдат хоть на час забыл о казарме.

Сато досталась очень славная девчонка О-Кику, перекочевавшая сюда из Цуруги вместе с переселенческой партией.

У нее была замечательно гладкая кожа, высокие брови и волосы, уложенные по китайской моде в золоченую сетку.

– Хорошо, когда приходят свои, – сказала она, помогая

Сато расшнуровать ботинки. – С лавочниками не о чем говорить...

– Мы это прекратим, – пообещал Сато решительно.

Они недурно провели целый час, дурачась на постели и болтая всякую чепуху.

О-Кику оказалась почти землячкой Сато, дочерью лесоруба с Хоккайдо. Только в прошлом году ее продали в Цуругу за сто пятьдесят иен. О-Кику несколько раз назвала эту сумму. Видимо, высокая цена льстила ее женскому самолюбию.

Затем она показала малахитовый камень, предохраняющий от скверных болезней, и портрет русского бога, худого и бородатого, как айнос, с медным кружком над головой: девушка была христианкой.

Ее отрывистый смех, насмешливые глаза и полная шея так вскружили голову Сато, что он, не споря, купил и арбузные семечки, и миндаль, и четыре кружки подогретого пива.

Захмелев, он стал ни с того ни с сего жаловаться на грубость ефрейтора Акита и его привычку вымогать у солдат папиросы. О-Кику слушала, покачивая тяжелой короной волос, видимо, далекая от всего, что ей рассказывал полупьяный солдат.

– Poor boy⁶⁸! – сказала она машинально.

– ...Ему никогда не заработать и трех полосок⁶⁹, – бормотал Сато.

– Poor boy... – повторила она и зевнула.

⁶⁸ Poor boy! – Бедный мальчик!

⁶⁹ Три полоски – погоны подпрапорщика.

За циновкой кто-то громко закашлялся. Сато вовремя спохватился. Он испуганно взглянул на О-Кику. Девушка спокойно дымила папирсой, равнодушная ко всему на свете. Ее равнодушие успокоило Сато, но на всякий случай он все же заметил:

– Однако это пустяки... Доблесть господина Акита заметна всей роте.

Сато не успел полностью исправить свою оплошность: по коридору, бесцеремонно отдергивая занавески, уже шел фельдфебель Огава.

Видимо, Сато тоже понравился девушке.

– Приходи еще, – попросила она.

– Когда буду фельдфебелем...

Из всех кабинок доносились довольный смех и остроты солдат.

Их выстроили и повели в казармы. Хвастовства и вранья после этого хватило на целый месяц.

Сато часто вспоминал О-Кику: ее смех и полную шею, насмешливые глаза, но вскоре более интересное событие вытеснило мысли о хорошенькой девчонке.

Кто-то из предприимчивых переселенцев открыл в городе кинотеатр. Низкий глиняный сарай, украшенный флагами, стоял как раз напротив плаца, где упражнялись солдаты.

Вечерами у входа в кино, под большим картонным плакатом, изображавшим японского кавалериста, стоял пожилой кацубэн⁷⁰ в канотье и кричал:

– Подвиг лейтенанта Гаяси! Японский офицер в лагере красных казаков! Секреты русских гаремов!

⁷⁰ Кацубэн – лектор в кино.

Господин поручик был недоволен соседством. Крики зазывалы перемешивались со свистками и словами команды, отвлекая внимание солдат. Несомненно, театр перенесли бы в другую часть города, если бы не патриотизм, своевременно проявленный владельцем сарая. Все господа офицеры получили приглашение посещать театр бесплатно. Кроме того, раз в неделю устраивался дополнительный сеанс для нижних чинов.

Сато достался билет на вторую серию знаменитого боевика «Хитрость лейтенанта Гаяси».

Он увидел все, что обещали плакаты: бой японской кавалерии с пехотинцами, и бегство казаков, и пожар на таинственном корабле адмирала Ивана Смирнова. Правда, содержание картины из-за цензурных купюр осталось неясным, но Сато был в восторге и все время подталкивал локтем равнодушного Кондо. Чего стоил один вид горящего самолета или штыковой атаки десанта...

...Мужественный лейтенант Гаяси отбивал Ханаэ – дочь маньчжурского советника, похищенную во время прогулки отрядом казаков. Шесть похитителей, толстых, как монахи, наступали с пиками на Гаяси. Русские были свирепы и неуклюжи, лейтенант неуловим. Его сабля слепила противников.

В темноте слышался гибкий голос кацубэна, пересказывавшего содержание картины.

– Он был как молния! – пояснял рассказчик. – Русский – как дуб. Господин Гаяси знал, что за дверями его ждет Ханаэ...

Тотчас была показана Ханаэ с крупными слезами на напудренных щеках. Она играла на самисэне, а возле нее с бутылкой в руках плясал русский полковник.

Потом экран заполнили толпы растерянных бородатых людей, державших ружья как палки. Их было так много, что Сато испугался за участь роты Гаяси. С опаской поглядывал он на толстые ноги и разинутые рты атакующих.

Впрочем, тревога его быстро прошла. Показались самолеты, и через минуту трупы лежали гуще, чем рыба в засольных чанах...

– Лейтенант был ранен в руку, – пояснил кацубэн, увидев перевязанного Гаяси, – но лекарство и любовь прекрасной Ханаэ быстро залечили рану... Он вернулся в действующую армию в чине майора...

Обсуждая подвиг лейтенанта Гаяси, солдаты нехотя покидали кино.

– Говорят, что многие рядовые вернулись на острова фельдфебелями, – заметил Кондо.

– Осенью ожидаются новые назначения, – ответил в тон ему Сато.

– Значит...

– Это еще не известно...

И оба солдата расхохотались – так схожи были их мысли, навеянные кинокартиной.

Приближалась осень. После известного инцидента с листовками в 6-м полку и многочисленных арестов в других частях военное министерство ввело обязательные беседы с солдатами на злободневные темы.

В цинцзянском гарнизоне эти беседы проводил сам господин поручик. Вскоре после размещения отряда в казармах во всех солдатских тетрадах появились записи лекций: «Чем война обогащает крестьян», «Богатства Маньчжоу-Го завоеваны для народа».

Особенно интересной показалась Сато вторая беседа. Трудно было вообразить до разъяснений господина поручика, что эта пыльная, скучная земля таит столько богатств.

Медленно, точно диктуя, описывал Амакасу местные горы, где равнодушные, ленивые маньчжуры топчут ногами золото, медь, серебро. Он рассказывал о лесах северной полосы, таких глухих, что птицы позволяют брать себя руками; о пятнах нефти, найденных коммивояжерами вблизи Гунзяна; о южных районах, изнемогающих от избытка хлеба, проса, бобов.

Господин поручик назвал еще железо, асбест, серу, уголь, барий, цемент, тальк, магнезию, фосфориты, но Сато запомнил только одно – золото. Еще с детства он знал его непонятную силу. О золоте говорилось в сказках, которые читал в начальной школе учитель – господин Ямадзаки, во всех кинокартинах и приключенческих романах. О нем с одинаковой почтительностью отзывались и отец, и старый рыбак Нагано, и господин полицейский, и плетельщики корзин, привозившие с юга свой грошовый товар. Рыбаки, побывавшие на Карафутто, с таинственным видом показывали завернутые в бумажки тусклые крупинки металла. На них можно было купить все: рыбный участок, невод, дом, кавасаки⁷¹ и даже благосклонность сельского писаря.

Вечером, сидя в клозете, солдаты обсуждали лекцию господина поручика.

– Х-хорошо, что мы не пустили в Маньчжоу-Го р-росскэ, – сказал заика Мияко.

– Чепуха! У них золота больше, чем здесь. Главное – земля.

⁷¹ Кавасаки – небольшая рыбацкая моторная лодка.

– Посмотрим, что даст осень...
– Золото выгодней ячменя, – заметил Тарада. – Я бы согнал сюда каторжников со всех островов.
– А посевы?
– Пусть копаются маньчжуры...
– Колонизация невозможна без женщин...
– Было бы золото, б... найдутся, – заключил под общий хохот Тарада.

...После лекции господина поручика Сато, всегда отличавшийся на маршировках, стал ходить повесив голову. Мысль о золоте, валявшемся под ногами, не покидала солдата. Он стал присматриваться к блескам кварца, пирита, стекла, встречавшимся на плацу. Когда рота выходила за город, Сато украдкой клал в карманы кусочки рывежового железнняка и другие подозрительные камни.

Однажды во время тактических занятий он умудрился набрать в фурсики и незаметно пронести в казарму с десятков пригоршней желтой и, как ему казалось, особенно золотиносной земли.

Он посвятил в свою затею Кондо, и вскоре они вдвоем натащали и спрятали возле клозета не меньше ведра драгоценной земли. Позже пришлось втянуть в это дело и повара, потому что для промывки золота обязательно нужен был тазик.

Они выбрали день стирки белья, когда часть роты отправилась с грязными тюками на ручей в двух милях от города.

Все было обдумано заранее. Сато выбрал себе самый отдаленный участок и, оставив белье мокнуть, наскоро соорудил из сосновой коры желобок. Ровно в двенадцать

часов повар привез завтрак. Он роздал ячмень, передал Сато суконку и тазик и вернулся к повозке.

Кондо находился в наряде и участвовать в промывке не мог, но Сато был даже рад: блестящая на земле кучка песка была слишком мала для троих.

Он расстелил суконку на дне желобка, насыпал землю и стал лить из тазика воду.

Вскоре ему показалось, что в кучке темного песка тускло светятся золотые крупинки... Он так увлекся работой, что не заметил, как ручей подхватил белье и унес его к камню, где сидел господин фельдфебель.

Поймав фундоси⁷², Огава стал за дерево и долго следил за манипуляциями солдата.

Наконец, хлесткий удар мокрой тряпкой оторвал Сато от дела. Полуголый солдат вскочил, бормоча извинения.

– Дайте сюда! – приказал Огава спокойно.

Сато протянул фельдфебелю пригоршню темного песка.

– Вы предприимчивы, но глупы, – сказал пренебрежительно Огава.

Он ударил по ладони, и драгоценный песок полетел в кусты.

– Оденьтесь и отправляйтесь к повозке.

Сато вымыл тазик и ушел, с досадой поглядывая на кусты. Повар, которому он показал пустые ладони, не поверил Сато.

– Дай! – сказал он, протянув руку.

Сато рассказал о встрече с фельдфебелем.

⁷² Фундоси – набедренная повязка.

– Бака-дэс⁷³! – сказал повар озлясь; он сам захотел порываться в песке.

Ночью Сато долго не мог заснуть. Наказания одно ужаснее другого мерещились рядовому. Он видел то карцер, куда его вталкивает торжествующий Тарада, то ранец, набитый камнями, то бесстрастное лицо писаря Мито, приклеивавшего на доску приказ о расстреле.

Когда над головой Сато раздался картавый голос трубы, он вскочил и оделся быстрее других.

В этот день, впервые за все время службы, он получил выговор перед строем.

Против ожидания, осень оказалась дождливой. Тучи медленно тащились над сопками. Воздух, почва, умирающая листва, черная кора кленов – все было насыщено влагой. Запасные ботинки зацвели, белье отсырело.

Грязь на дорогах доходила до щиколотки. Хвосты лошадей, повозки, лица солдат, под сумки, стволы горных орудий – все было облеплено светлой жирной глиной.

Особенно трудно было подниматься на склоны гор. Усеянные мелкими острыми камнями, они сочились водой. Нередко, сделав шаг вперед, солдат хватался руками за землю и съезжал вниз, оставляя на склоне царапины. Деревья и те плохо держались на таких сопках. Достаточно было небольшого шквала, чтобы они начинали падать, увлекая друг друга. Всюду видны были корни, облепленные мокрой землей.

Тренируя солдат к ночным боям, господин поручик распорядился выдать темные очки-консервы. Тот, кто надевал их, даже в полдень не мог различить соседа.

⁷³ Бака-дэс! – Дурак!

Крестьяне, приезжавшие в город из окрестных селений, с удивлением и страхом наблюдали за солдатами, крадущимися в высокой траве. Когда раздавался свисток ефрейтора, они вскакивали, бежали, вытянув руки, спотыкались, падали, снова бежали – старательные и неловкие, как молодые слепцы.

На занятиях участились несчастные случаи. Рядовой Умэра оступился в яму и сломал себе ногу. Ефрейтор Акита разбил очки о дерево. Кондо пропорол штыком плечо санитару Тояма. Однако господин поручик не прекращал тренировок. Ночи становились темнее и длиннее, а партизанские отряды смелее и настойчивее.

Осень не принесла успокоения, о котором мечтали газеты.

Урожай был обилен, но не многим удалось снять его полностью. Маньчжурские поселки, в которых всегда можно было нанять десятка два-три батраков, казались вымершими. Потеряв землю, мужчины ушли в горы сеять мак на тайных площадках, подстерегать автоколонны. В холодных фанзах можно было встретить только женщин, стариков и детей. Неизвестно, на что они надеялись, чем питались: котлы были пусты, в очагах лежал пепел.

Старческие лица детей, их огромные животы и прикрытые только кожей лопатки заставляли отворачиваться в смущении даже солдат. Но женщины не плакали. Они смотрели на пришельцев глазами, сухими от ненависти. У них отобрали ножи, топоры, даже серпы; их пальцы были слишком слабы, чтобы задушить солдат ночью. Но взгляды выдавали желание.

Однажды Сато слышал, как господин фельдфебель, выходя из фанзы, сказал:

– Лучше бы эти ведьмы ругались...

Все чаще и чаще вспыхивали пожары. Горели соломенные постройки, склады, посеы; иногда сами солдаты поджигали гаолян, чтобы выгнать повстанцев. Днем и ночью поля объезжали патрули...

Всю осень по просьбе переселенцев командование держало в поселках посты, но тревога не разряжалась. Никто из переселенцев не рисковал пройти ночью от одного поселка к другому. Жили без песен, без праздничных прогулок в поля. Даже возле Цинцзяна нельзя было шагу ступить, чтобы не натолкнуться на колючую проволоку.

– Когда они кончат играть в прятки? – спросил Мияко, шагавший сзади Сато.

Простодушный Кондо вздохнул.

– Я думаю, никогда...

– Глупости! – заметил Сато, усвоивший от господина фельдфебеля решительный тон. – Голод заставит их вернуться в поселки.

С видом превосходства он оглядел забрызганных грязью, усталых приятелей. Несмотря на сорокакилометровый переход, Сато чувствовал себя превосходно. Ему нравилось все: октябрьский холод, резкий голос трубы, шутки приятелей, ночевки в брошенных фанзах, где можно было украдкой порыться в тряпье. Все это было в несколько раз занимательнее, чем ползание по грязи на брюхе или путешествие в темных очках.

Не все походы кончались удачно. Несколько ящиков, зашитых в просмоленную парусину, уже были отправлены на острова, но за свою жизнь Сато был спокоен. Еще в ав-

густе за пачку сигарет и шесть порций сакэ он выторговал у Мияко самое надежное заклинание, которое только можно было придумать. Оно действовало с одинаковой силой и против пулеметов и против гранат. Следовало только на бегу твердить про себя: «Хочу быть убитым... Хочу быть убитым...» Известно, что смерть всегда поступает вопреки человеческим просьбам.

...Полсотни стрелков шли к поселку Наньфу, где, по донесениям агентуры, уже несколько суток ночевал отряд партизан.

По обочинам дороги высокой бурой стеной стоял гаолян. Дул ветер, и стебли издавали монотонное дребезжание.

Опасаясь хунхузов, господин поручик приказал поджечь гаолян. Пламя зашевелилось сразу в трех местах, сомкнулось, и светлая желтая полоска побежала вперед, тесня рыжую поросль. Дыма почти не было. Двое пулеметчиков легли на вершине сопки, но только фазаны, взмахивая короткими крыльями, выбегали на дорогу, спасаясь от огня.

Как и следовало ожидать, партизаны успели вовремя покинуть Наньфу. Они отравили мышьяком все шесть колодцев, оставив солдат без воды. Пришлось вскрыть резервную бочку, сопровождавшую отряд от самого Цинцзяна.

Поселок был мертв, только крысы и тощие псы жили в заброшенных фанзах. Всюду валялись груды сырого тряпья.

Люди устали, и господин поручик решил провести в Наньфу целые сутки. Полсотни здоровых чистоплотных

парней быстро преобразили поселок. Нашлась и бумага для окон, и рисовый клей, и хворост для лежанок-печей.

После уборки Амакасу отдал приказ – прощупать все землянки и фанзы по соседству с Наньфу.

Посчастливилось только Мияко и Сато. На огородах, в одной из отдаленных землянок, они отыскиали огородника. Это был пожилой крестьянин в холщовых штанах и соломенной шляпе. Он оказался достаточно опытным, чтобы не бежать при появлении солдат. На полу его землянки нашли две стреляные гильзы от винтовки «Арисака», будто бы занесенные детьми.

Сато присутствовал на допросе. По приказанию господина Амакасу он поставил крестьянина на колени и, обнажив штык, отошел к двери.

Пленник стоял, опутив унылое темное лицо, и бормотал чепуху, которую господин поручик не считал нужным даже записывать.

Он имел наглость считать себя полуяпонцем и утверждать, что родился на острове Тайван от кореянки Киру и приказчика бакалейной лавки, какого-то господина Дзи-хеи. Поручик едва сдерживал смех, глядя на этого хитроватого и неповоротливого верзилу, подобострастно вытянувшего шею. Кто бы мог подумать, что огородник вырос на островах Ямато! Правда, он без всякого акцента говорил на южнояпонском диалекте, но господин поручик прекрасно знал эти штучки.

Чтобы не затягивать разговора, поручик сразу оборвал его:

– Довольно! Когда ты выехал из Владивостока?

Этот простой вопрос настолько смутил огородника, что

он стал заикаться. Срывающимся от волнения голосом он начал объяснять, что приехал из Цуруги пятнадцать лет назад через Сеул и Владивостока не видел ни разу.

Он продолжал бормотать всякие глупости, в то время как поручик, скучая, рассматривал стоптанные, грязные улы⁷⁴ пленника. Большие узловатые ноги крестьянина навели Амакасу на счастливую мысль.

– Разуйтесь, – сказал он почти добродушно.

Еще не понимая, что нужно поручику, пленник покорно снял улы. Ноги его были гладки и кривы, но из этого вовсе не следовало, что родиной пленника был остров Тайван. Известно, что и на материке многие матери прибинтовывают детей к своей спине.

– Покажите пальцы!

Не ожидая ответа, поручик нагнулся и, схватив пленника за щиколотку, рванул ногу вверх. Опрокинутый на спину огородник с испугом наблюдал, как густые брови поручика ползли выше, к жесткому бобрику.

Сняв перчатку, Амакасу прощупал внутреннюю сторону большого и смежного с ним пальца. Поручик действовал наверняка. У каждого сына Ямато, носившего гета, на всю жизнь сохраняются твердые гладкие мозоли – следы креплений, пропущенных между пальцами.

Кожа огородника не имела мозолей.

– Ну? – спросил поручик насмешливо.

Лежа на спине с задранными ногами, пленник пробормотал что-то невнятное насчет пятнадцати лет, проведенных в Маньчжурии.

⁷⁴ Улы – род китайской обуви.

Кивком головы поручик подозвал Сато.

– У вас хороший почерк, – сказал он, отвернувшись от пленного. – Отыщите лист картона и напишите следующее... – Подумав, он медленно продиктовал: – «Этот человек – шпион, коммунист и обманщик...»

– Господин полковник, клянусь отцом и детьми... – сказал кореец голосом, обесцвеченным страхом.

– «...Погребение воспрещается...» Вы поняли?

– Понял! – бойко сказал Сато и с любопытством уставился на «шпиона».

Вся голова огородника была покрыта частыми выпуклыми каплями росы.

...Кондо штопал перчатки, когда Сато вошел в фанзу и расстелил на полу большой кусок желтого картона.

– Кто он? – спросил Кондо, кивая на окно.

Сато с восхищением сообщил приятелю о находчивости поручика, но, против ожидания, рассказ не произвел впечатления на простодушного Кондо.

– Значит, все, кто не носит гета, шпионы? – спросил он, перекусывая нитку.

– ...Но он действительно врет...

– А «кто здесь не врет?»

– Ну, знаешь... – заметил Сато, недовольный равнодушием приятеля. – Я повторяю: пальцы у него совершенно гладкие...

– Ты шупал?

– Бака! – сказал Сато, энергично растирая палочку туши. – Это видно по лицу господина поручика...

– Са-а⁷⁵... Тогда почему ты не пошел в гадальщики?

Не отвечая, Сато начал выводить знак «человек». Желая блеснуть почерком, он старался вовсю. Это удавалось. Учитель каллиграфии, столько раз щелкавший Сато по пальцам своей короткой линейкой, был бы теперь доволен этими выразительными, энергичными знаками. Здесь были линии, похожие на обугленный бамбук и на следы комет, изящно округленные и короткие, жесткие, с рваными концами, точно у художника не хватало терпения вести плавно кисть.

Даже Кондо залюбовался работой Сато.

– Это можно повесить на стену, – сказал он одобрительно.

Следующим был весьма трудный знак: «шпион», который, как известно, состоит из двадцати девяти черт. Когда Сато, набрав тушь, медленно выводил изогнутую линию, за окном раздался выстрел. Кисть дрогнула, клякса расплзлась на картоне, испортив прекрасный знак.

– Он толкнул тебя под руку, – заметил Кондо злорадно.

– Кто?

– Огородник... Значит, ты был неправ.

Сато с тревогой уставился на кляксу, медленно расплзавшуюся по картону. Странно, что выстрел раздался, как раз когда он выводил знак «шпион».

За неряшливость Сато получил от господина поручика замечание. А когда солдат прикреплял позорную надпись к трупу, лежавшему на боку среди жесткой травы, ему показалось, что огородник злорадно улыбается.

⁷⁵ Са-а... – вот как...

В наказание за дерзость Сато с размаху ударил «шпиона» ботинком в лицо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С тех пор как усталый и торжествующий Корж привел на заставу шпиона, прошел ровно год.

Были за это время события поважнее, чем сумасшедшая погоня за медведями.

...Летом возле колодца Корж задержал побирушку с чумными ампулами, запеченными в хлеб.

...Илька полезла за белкой в дупло и нашла пачку харбинских листовок.

...С помощью Рекса накрыли за работой подпольную радиостанцию.

...Выследили и забросали гранатами банду есаула Азарова.

Но стоило Белику высунуться из кухни во время обеда и показать куцый медвежий хвост, как обедающие разражались хохотом.

У всех в памяти была свежа карикатура на Коржа в отрядной газете, где медведь и боец были изображены на беговой дорожке дружно рвущими ленточку.

Сам Корж посмеивался, вспоминая полную шорохов ночь, сапоги с музыкой и зеленую дудочку тракториста. Разве пришло бы тогда в голову прощупать рыжего пса, бежавшего рядом с корейцем?

Старый Рекс, распутавший на своем веку сотни клубков, оказался внимательней бойца-первогодка. Прежде чем начальник успел задать трактористу вопрос, Рекс налетел

на рыжего пса и стал трепать его за загривок. Он разорвал фальшивую рыжую шкуру и вытряхнул из нее фокстерьера, оравшего от страха, как поросенок в мешке.

Под шкурой нашли чертежи двух фортов и чистую голубую бумажку – настолько важную, что командир отделения, отвозивший находку в отряд, ехал в сопровождении трех стрелков.

Все это было так неожиданно, что даже Нугис, рассерженный нелепой стрельбой по медведям, смягчился и, подойдя к первогодку, спросил:

– Это что же, случайность?

– Не знаю...

– Ты подозревал?

– Догадывался.

– По каким признакам?

– По глазам! – сказал Корж смеясь. – У блудливых они всегда в стороны смотрят.

...Многое изменилось на заставе с тех пор, как Белик прибил над кроватью Ильки шкуру черного медведя.

Ушли в долгосрочный отпуск старослужащие бойцы Гайчук и Уваров, из отряда привезли библиотеку и четыре дегтяревских пулемета. Вдоль границы, от солонцов до поворотного знака, прорубили десятиметровую просеку. В мартовский вечер у этой просеки банда Недзвецкого подкараулила Дубаха и пыталась увезти его живым за границу. Затея стоила жизни двум закордонным казакам. Но и начальник еле выбрался из тайги. Целое лето залечивал он перебитую пулей ключицу, кости срослись плохо, узлом, и Дубах еще больше сутулился.

...За год Корж мало в чем изменился. Все так же весело

было озорное лицо и беспокойны крапленные веснушками пальцы. В строю он всегда стоял левофланговым – маленький, похожий скорее на воспитанника музыкантской команды, чем на бойца-пулеметчика. Только сосредоточенный взгляд, точность речи да исцарапанные сучьями темные руки говорили о трудной школе, пройденной первогодком.

Прошло лето, беспокойное, душное. Все чаще и чаще радио сообщало о перестрелках у Турьего рога и выкопанных японцами пограничных столбах.

В августе грянул дождь. Девять суток, напарываясь на сосны, беспрерывно шли низкие тучи. Сухая, рассеченная трещинами земля, листья деревьев, измученная июльским зноем трава, тарбаганы норы, распадки, реки, колодцы жадно впитывали крупные теплые капли...

Солнце прорезывалось изредка, багровое от носившейся в воздухе влаги. Птицы и пчелы умолкли. В полях, засеянных диффером, стояли сотни машин, и шоферы в ожидании тягачей отсыпались в кабинах.

На заставе, к великой радости бойцов, застряла кинопередвижка. Каждый день в спальне завешивали окна, и по экрану то перекатывались балтийские волны, то мчалась тачанка с Чапаевым, то под гудение гармоники неслись самолеты.

Это было единственной неожиданностью в размеренной жизни заставы. Дождь и бураны, жара и морозы влияли только на градусник и барометр. По выражению Дубаха, природа имела на границе только совещательный голос.

По-прежнему по утрам стучал о доску мелок и начальник терпеливо объяснял первогодкам, что такое

баллистика, сколько раз в минуту дышит конь и почему водяное охлаждение надежней воздушного.

На полигоне под проливным дождем стрекотали дегтяревские пулеметы.

Пар валил из сушилки, где рядами висели сапоги и одежда, и нередко, накинув теплый, еще пахнувший дымом плащ, прямо с половины киносеанса уходили бойцы в дождь, в осеннюю темень.

Тучи продолжали идти. Всюду были слышны монотонный шум ливня, сытое бормотанье ручьев. Целые озера, превращенные в капли, обрушивались на сопки и исчезали неведомо где.

Наконец земля пресытилась. Вздудись и потемнели реки. Там, где вчера бойцы перебирались посуху, с камня на камень, вода сбивала коней.

Пачихеза неслась, усеянная желтой пеной, вся в урчащих ненасытных воронках. В ее кофейной воде кувыркались бревна, плетни, бурелом. Все чаще и чаще стали встречаться бойцам разметанные стога, соломенные крыши и целые срубы. С островов бежало и тонуло зверье.

Ночью с того берега приплыл на бревне человек. Был он рослый, голый и, судя по неторопливым движениям, обстоятельный человек. Выйдя на берег, он растер онемевшие в воде икры, вынул из ушей вату и стал приседать и размахивать руками, силясь согреться.

Дождь барабанил голому по спине; пловец поживался и вполголоса поминал матерком студеную Пачихезу.

Он так долго размахивал руками, что Рекс, лежавший за камнем, не выдержал. Он вздохнул и ткнул влажным носом Нугиса в бок.

– Фу-у... – произнес Нугис одними губами.

Рекс нервно зевнул. Его раздражали смутная белизна голого тела, резкие движения незнакомого человека. Он ждал короткого, как выстрел, слова «фас!» – приказа догнать, вскочить бегущему на спину, опрокинуть.

Но хозяин молчал. Накрытый брезентовым капюшоном, он с вечера лежал здесь, неподвижный, похожий на один из обточенных Пачихезой камней. Рядом с Нугисом в кустах тальника сидел на корточках Корж, а немного поодаль красноармеец Зимин устанавливал сошки дегтяревского пулемета.

Плащи, гимнастерки, белье – все было мокро. Струйки воды катились по спинам бойцов. Временами, изловчившись, ветер забрасывал под козырьки фуражек целые пригоршни холодной воды. Бойцы даже не пытались вытирать лица. Шестой час не отрываясь следили они за Пачихезой.

Было известно: ожидается москитная банда.

Было приказано: взять живой.

...Голый отошел к камням и сел возле Коржа. Это был пожилой человек с сильной шеей и покатыми плечами. На кистях рук и щиколотках пловца темнели шнурки – старое солдатское средство против судороги в холодной реке. Корж слышал его дыхание, ускоренное борьбой с Пачихезой, видел мокрую спину и крутые бока. В воздухе, очищенном ливнем, отчетливой струей растекался запах махорки и старого перегара. Нарушитель сидел так близко, что, протянув руку, Корж мог бы достать до его плеча.

Отдышавшись, голый сложил ладони рупором и крикнул, подражая жестяному голосу петуха-фазана.

Берег молчал. В темноте слышны были только ровный шум дождя и ворчанье реки.

Пловец крикнул громче.

Рекс толкнул хозяина носом. Он приложил уши и подобрался для прыжка. Кожа на щипце овчарки сморщилась, блеснули клыки.

Не оборачиваясь, Нугис положил на голову пса тяжелую ладонь, и Реке стих и вытянул лапы, только собачьи глаза стали еще зеленее и глубже да хвост вздрагивал в мокрой траве.

...Сдерживая дыхание, трое бойцов ждали ответа. Наконец, с того берега, из высоких зарослей тальника, донесся еле слышный звук жестяной дудочки. Петуху-фазану отвечала подруга.

Крик повторился на середине реки, и вскоре среди желтой пены и сучьев стал виден плот, пересекавший наискось реку.

Голый выпрямился и рассмеялся почти беззвучно. Огромное облегчение, нетерпение, торжество слышались в сдавленном смехе пловца. Он набрал воздуха, чтобы крикнуть еще раз. Но чья-то жесткая ладонь закрыла голому рот.

– Застрелю! – сказал шепотом Корж.

– Спокойно! – посоветовал Нугис.

Вместо ответа голый укусил Коржу ладонь. Он жестоко сопротивлялся, мычал, отбивался коленями и локтями, норовя попасть противнику в пах, и успел несколько раз отрывисто вскрикнуть, прежде чем ему забили рот кляпом и надели браслет.

– Это зачтется, – заметил шепотом Корж и замотал платком искусанную ладонь.

Он подошел ближе к воде и крикнул, подражая фазану. С середины реки тотчас тихо ответила птица.

Покачиваясь, плот медленно пересекал фарватер Пачихезы. Поскрипывали связанные из ивы уключины. Кто-то греб по-матросски, рывками, ловко стряхивая воду с весла.

Теперь плот шел почти параллельно берегу, отбиваемый воронками и сильным течением. Вслед за ним, пересякая с голыша на голыш, бежали бойцы.

Возле связанного разведчика, жарко дыша ему в лицо, сидел Рекс.

Пограничники и плот двигались к одной, еще неизвестной точке. Она лежала далеко впереди, на пустынном и мокром берегу Пачихезы.

Плащ гремел, бил намокшими полами по ногам. Корж сорвал его на бегу. Цепляясь за мокрые сучья, он вскарабкался на сопку, подступившую вплотную к реке, скатился по скользкой траве и очутился у заводи, отгороженной от реки каменистым мыском.

Нугис прибежал минутой позже, тяжеловесный, спокойный, и сразу лег за мыском прямо в воду. Несмотря на огромный рост, он обладал замечательным свойством быть невидимым всюду.

Плот уже подходил к самому берегу, когда гребец вдруг сильно затабил веслами и тихо спросил:

— Костя, ты?

Корж не ответил. Стоя в кустах, он расстегнул кобуру и вынул наган.

На плоту зашептались.

С шумом ухнул в воду подмытый рекой пласт земли. Зимин спускался с горы, гремя камнями.

– Тьфу, лешман! – сказал с досадой гребец. Он подумал и стал отводить плот от берега.

– Стой! – крикнул Корж.

Трое сидевших на плоту вскочили и разом уперлись в отмель шестами. Раздалась громкая ругань.

– Назад!

– Держи чалку! – ответил гребец.

Он приподнялся и сильно взмахнул рукой. Корж растянулся за камнем. Метнулось короткое неяркое пламя. Осколки гранаты загремели по голышам.

– Наверное, «мильс», – сказал Нугис спокойно и, положив наган на сгиб левой руки, выстрелил в гребца.

Пуля высекала из воды длинную искру. Гребец засмеялся и, сильно работая веслом, повел плот к серединной струе.

Корж плюхнулся на камни и сорвал сапоги. Портянки отлетели сами при первых шагах.

– Заходим с разных сторон! – крикнул он Нугису и сразу с головой ушел в воду.

– Огонь? – спросил, подбегая, Зимин.

– Обождать. Следи за плотом. Дам сигнал.

Нугис свистнул.

– Рекс, сюда!

Из-за сопки донесся отрывистый лай. Не дожидаясь собаки, Нугис взял наган зубами за скобу и бросился в реку.

Корж плыл саженками, гулко хлопая ладонями по воде. Он не чувствовал ни холода, ни вздувшейся пузырями одежды. Плыть было легко: вода возле берега казалась упругой и плотной; при каждом ударе ноги сама река выбрасывала пловца до пояса.

Расстояние между нарушителями и бойцом сокращалось. Маленькие злые волны теснились вокруг Коржа, толкая пловца в грудь, швыряясь клочьями грязной пены. Временами из воды вдруг высывались голые сучья или ладонь загребала пук отяжелевшей травы. Корж плыл не оглядываясь. Он слышал пыхтение проводника, знал, что Нугис плывет следом – тяжелый, настойчивый и надежный.

Сильная струя завертела Коржа на месте. Он пробовал сопротивляться ее мягкой и властной настойчивости и вдруг почувствовал, что река сильнее его. Огромные воронки заглатывали сучья, пену, торчмя опускали на дно небольшие валежины. Одна из воронок двинулась к Коржу. Он рванулся в сторону, но руки уже не подчинялись пловцу. Мутная вода кипела вокруг Коржа; всюду вспучивались и рассыпались пузырями бугры.

Воронка поставила тело пловца почти вертикально. Несколько секунд боец крутился на месте, силясь стряхнуть с ног страшную тяжесть. Потом он увидел рядом с собой напряженное лицо Нугиса, ветку с черными листьями, обломок доски... Он вспомнил чей-то старый совет – не сопротивляться воронкам, поднял над головой руки, и сразу ровный томительный звон в ушах напомнил Коржу о глубине.

Струя протащила его по камням и выбросила на поверхность метрах в десяти от плота – оглушенного, исцарапанного, но упрямо размахивающего руками.

– Врешь! – крикнул Корж, чтобы ободрить себя.

Сквозь косую сетку дождя он видел небольшой плот, борозду от правила и силуэты застывших напряженно

людей. Гребли двое. Что было сил налегали они на короткие весла, но бревна глубоко сидели в воде. Плот двигался чуть быстрее течения.

Видя, что пловец нагоняет гребцов, человек, сидевший у правила, поднялся. Был он массивен, высок и глядел на запыхавшегося Коржа сверху вниз.

– Эй, мосол! – сказал рулевой негромко. – Дай без крови уйти. – И он вытянул навстречу бойцу непомерно длинную руку.

– Брось оружие! – ответил Корж, задыхаясь.

– Эй... отстань... Окалечу.

Вместо ответа Корж повернулся на бок и пошел овер-армом⁷⁶.

– Прощай, мосол, – сказал рулевой отчетливо, и на миг вспышка осветила его худое лицо.

Возле плеча Коржа взметнулись два невысоких фонтанчика. Он поспешно нырнул. Маузер так долго плевался в воду, что у Коржа еле хватило дыхания. Когда он снова поднял голову, Нугис уже обходил плот с другой стороны. Проводник шел брассом, и плечи его погружались и всплывали с удивительной равномерностью. Возле проводника, точно два косых паруса, торчали из воды уши Рекса. Ветер кидал пену в собачьи ноздри. Рекс взвизгивал от нетерпения и жался к хозяину.

– Фас! – сказал Нугис, и овчарка сразу вырвалась вперед, догнала плот и рывком вскочила на скользкие бревна.

Кто-то испуганно вскрикнул. Рычание Рекса смешалось с разноголосой руганью.

⁷⁶ Овер-арм – способ плавания на боку.

Рулевой обернулся и разрядил в овчарку половину обоймы. Сквозь стиснутые зубы Нугиса вырвался стон; он затряс головой, точно пули вошли в его тело. Страшно было слышать проводнику затихающий голос овчарки, видеть, как бандитня добивает друга шестами. Он опустил голову ниже к воде и стал выгребать с такой силой, что от его плеч потянулись по воде две ровные складки.

— Дотявкалась, — сказал рулевой. — Кто следующий?

— Ты!

Почти не целясь, рулевой выстрелил в подплывавшего к плоту Коржа.

— Огонь! — крикнул Нугис.

Течение несло их мимо каменистого крутояра. Эхо подхватило звук выстрела, превратив его в долгую пулеметную очередь. Одновременно гулкой струей выскочил из темноты желтый огонь.

Пулеметчик Зимин, опередивший плывущих, нащупывал плот. Он бил почти наугад, ориентируясь по силуэтам и вспышкам.

Ругань умолкла. Были слышны только шум дождя и томительно близкий визг пуль...

Медленно светлела рябая от ветра река. Дождь стих, но тучи еще толпились в горах, отдаляя время рассвета.

Рекс лежал на плоту, длинный и плоский. Лапа его провалилась в щель между бревнами, вода облизывала окровавленный бок. Возле овчарки, погрузив руки в мокрую, еще теплую шерсть, сидел на корточках Нугис. Пристальными светлыми глазами он следил за движениями гребцов, нехотя макавших весла в кофейную воду. Один из них, не выдержав тяжести взгляда, отвернулся...

– Бравый был пес, – сказал он соседу.

– Молчи, – посоветовал Нугис.

Постепенно из темноты стали выступать серые лица гребцов. Третий бандит лежал ничком на мокрых бревнах, и маленький босой Корж заботливо прикрывал соломой индукторный аппарат.

Нарушители молчали. То был пестрый, непонятный народ в стеганых ватниках, ичигах и отслуживших табельный срок военных фуражках. На советской земле любой из них сошел бы за красноармейца-отпускника. Впрочем, старичок в замасленном плаще, лежавший на краю плота, был вылитый стрелочник.

Даже медный рожок и флажки торчали из порыжелого голенища. Только вместо пояска подпоясался «стрелочник» бикфордовым шнуром.

Когда Корж повернул старикашку на спину и стал разматывать шнур, нарушитель тихо шепнул:

– Может, сговоримся, служилый?

– Может, и так...

– В советских возьмешь?

– Все возьмем, – сказал Корж одобряюще. – В отряде сторгуемся... – И он уложил старикашку на бревна вниз головой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В хате птичницы Пилипенко готовились к празднику. Выстлали сени соломой первого обмолота, повесили свежие рушники. Мятою, чебрецом, опаленными морозом виноградными листьями убрали углы.

Хозяйка расщедрилась: вынула плахты, старинные, заветные, которые вешала только трижды в год: на Октябрь, сочельник и пасху. Их голубой шелк напомнил старухам о Днепре. Не сговариваясь, разом затянули песню, завезенную на Восток еще дедами.

Давно сносились свитки, шитые шелком сорочки, сбились чеботы, рассыпались, растерялись девичьи мониста. Молодежь уже не помнила, где Нежин, где Миргород, где Полтава. Только старики, собираясь по вечерам, как далекий сон, вспоминали полтавские вишенники, азовские лиманы, океанские пароходы, груженные арбами и волами. А все же то был клочок живой Украины. И мягкий говор, и песни, и степная неяркая красота женщин, и цветистые рушники, и упрямото хлопцев, и высокие арбы, и мышастые волаы – все напоминало о прошлом. Кушевка считалась украинским селом.

Пограничный колхоз имени Семена Буденного ждал гостей. То была старая традиция – отмечать первый обмолот конскими скачками, кострами, полуночными песнями в затихающем поле, крепкой выпивкой в каждой избе. Всюду трещала в печах солома, ворчало сало, дым столбами подпирал вечернее небо.

Сидя на корточках, Пилипенко расписывала печь. Возле птичницы стояли глечики с красками. Были тут варки из лука, конского щавеля, гвоздики, ольховой коры, чебреца, листьев гарбуза – краски всех цветов, живучие, горластые, как сама хозяйка.

Мягким квачиком, птичьим крылом, расписывала художница печь. Во всем селе не было хозяйки опрятней и домовитей, чем эта высоченная, сухая, как будяк осенью,

женщина. Паром дышала печь, и на ее светлеющих боках выступали цветы, один затейливей и горячей другого.

Шесть колхозниц лепили на дворе пельмени. Уже закипала в котле вода, уже стояли на столах ведра, полные холодного пива, кувшины с варенцом и сметаной, миски с медвежатиной, жареной рыбой, холодцом, баклажанами, маринованной вишней, тертой редькой, взваром, липовым медом. Прикрытые рушниками, вздыхали на лавках пироги, начиненные грушами, сливами, голубицей, грибами, дикими яблоками – всем, что принесла к осени богатая уссурийская земля. А гостей все еще не было.

На выгоне, где двумя шпалерами стояло все село, сверкали клинки. Шла джигитовка. Немало конников-пограничников приехало в гости к кущевцам. Был тут Дубах с двумя молодыми бойцами – все выскобленные досиня, в свежих гимнастерках и в сапогах, исцарапанных сучьями. Только зубы да глаза светились на их обветренных лицах. Были еще комендант участка, толстый мадьяр Ремб, и снайпер-пулеметчик Зимин, и знаменитые братья Айтаковы, лучшие джигиты отряда, и другие командиры, приехавшие на праздник с соседних застав.

Даже старики, помнящие лихую рубку кубанцев, залюбовались чистой работой Айтаковых. На полном га-лопе один командир перелез на лошадь другого, стал на плечи брату, а крепкий старый дончак как ни в чем не бывало брал «клавиши», «плетни», «гроба» и «вертушки».

Потом, держа железную палку, проскакали двое парней из уссурийских казаков, а третий крутился меж коней колесом. Потом «свечкой», стоя на седле вниз головой, проехал один из бойцов, прибывших с Дубахом.

Люди собирались уже расходиться, но вдруг на краю выгона показался рыжий конек. Был он без всадника – только широкое седло блестело на солнце – и летел, распластавшись, прямо на лозы. Не успели люди завернуть коня, как из-под брюха вынырнул всадник – маленький, цепкий, с озорным лицом деревенского парня и белым цветком за оттопыренным ухом.

Он круто завернул коня и стал у контрольной черты.

– Пошел! – крикнул Дубах.

С места в галоп поднял всадник коня. Он бросил повод, два клинка блеснули в руках.

Веселую усмешку разом сдуло с губ бойца. Грозно стало молодое лицо. Он приподнялся на стременах. Два клинка чертили в воздухе быстрые полукруги. Кажется, всадник еще примерялся, в какую сторону обрушить удар, но лозы, не вздрогнув, уже вертикально оседали на землю. Сверкающие капли скатывались к рукояти. То были взмахи неощутимой легкости, быстрые, как укусы.

Председатель колхоза, бывший партизанский вожак Семен Баковецкий, хромой старичок с голубыми глазами, стоял возле Дубаха. Вытянув шею, он беззвучно шевелил губами, точно замороженный сабельной мельницей.

– Чей это? – спросил он, когда последний прут торчмя ударился оземь.

Дубах подбоченился.

– А что, разве по удару не видно?

– Догадываюсь.

– То-то, – сказал Дубах и зашевелил усами, пряча улыбку.

А маленький всадник тем временем показывал новые

чудеса. Он наклонился к шее коня, шепнул что-то в сторжкое ухо, и сразу, повинувась голосу и железным коленям, конь стал клониться, упал на бок и замер. Конник распластался за ним на земле. Только край фуражки да белый цветок были видны с дороги.

Через секунду боец снова очутился в седле. Будто случайно, выронил он из кармана платок, обернулся, разогнал коня и, изловчившись, достал белый комочек зубами.

– Товарищ Корж, – сказал Дубах, когда лихой наездник спешился в группе бойцов, – старики хотят знать, какой вы станицы.

– Разрешите отрапортовать?

– Только без фокусов.

Но Корж, здороваясь с Баковецким, уже сыпал скороговоркой:

– Казак вятской, из семьи хватской, станицы Пермьской. Сын тамбовского атамана, отставной есаул войска калужского!

Баковецкий схватился за уши.

– Э... да он еще и пулеметчик! – закричал он смеясь.

Перебрасываясь шутками, кавалькада потянулась к Кущевке.

Наступал вечер, холодный, пунцовый, – один из тех октябрьских вечеров, когда особенно заметна величаяя и безнадежная красота осени.

Все было желто, чисто, спокойно кругом. Березы и клены покорно сбросили листья. Только дубы еще отсвечивали ржавчиной – ждали первого снега. Ледяными, махехинными глазами смотрела из колдобин вода. Запоздалый

гусь летел низко над лесом, ободряя себя коротким гагаканьем.

Всадники ехали шагом. И с боков и за ними тучей шли кущевцы. Бежали мальчишки. Неторопливо вышагивали старики в высоких старинных картузах. Щеголи в кубанках, посаженных на затылок, шли по обочинам, чтобы не запылить сапог. Взявшись за руки, с визгом семенили дивчата, а на пятки им наезжали велосипедисты. То был веселый, крепкий народ, сыны и правнуки тех, кто огнем и топором расчистил тайгу.

Не в обычае кущевцев было шагать молча, если само поле, чистое, открытое ветру, просило песню.

И песня зародилась. Чей-то сипловатый, но гибкий голос вдруг поднялся над толпой. Несколько мгновений один он выбивался из общего гомона. Но незаметно стали вплетаться в песню другие, более крепкие голоса. Песня зрела, увлекая за собой и свежие девичьи голоса, и молодые баски, и стариковское дребезжанье. Широкая, как река, она разлилась на три рукава. Каждый из них вился по-своему, но в дружбе с другими. Громко обсуждали свою долю беспокойные тенора, примиряюще гудели басы, светлой родниковой водой вливались в песню женские голоса.

И вдруг все стихло. Один запевала, все тот же сипловатый верный тенорок, нес песню дальше, над полем, над посветлевшей рекой. Уже слабел, падал, не долетев до берега, голос... Тогда сразу всей грудью грянул тысячный хор, и сразу стало в поле веселей и теплей.

Вошли в село. Не сразу гости дошли до двора птичницы. Нужно было показать товарищам командирам и

племенного быка швицкой породы, и овец рамбулье, и хряков в деревянных ошейниках, и стригунков армейского фонда. Хотели было осмотреть заодно знаменитое гусиное стадо Пилипенко, но при свечах видны были только сотни разинутых клювов да желтые злые глаза.

В этот вечер Пилипенко пришлось занимать стол у соседей. Кроме пограничников, в хату набилось много званого и незваного народа.

Пришел и сразу стал мешать стряпухам Баковецкий. Пришел старший конюх и главный говорун дедка Гарбуз, приехали на велосипедах почтарь Молодик с приятелями, примчался на собственном «газике», насажав полную машину дивчат, знаменитый чернореченский тракторист Максимюк, пришла новая учительница, веснушчатая семнадцатилетняя дивчина, робеющая в такой шумной компании. Заглянул на пельмени художник Чигирик, писавший в местных краях этюды к картине «Жнитва», и много других. Последним явился шестидесятилетний кузнец и охотник Чжан Шу с внучкой Лиу на плечах.

На лавке возле печи сидели дивчата.

— Ось дочка, — сказала Пилипенко начальнику. — Мабуть, визьмете в пидпаски? Та поздоровайся, Гапко.

Все с любопытством посмотрели на скамью, где Гапка делилась с подругами серною жвачкой. Девка была славная, коротенькая, крепкая, как грибок. Она сердито взглянула на Пилипенко и выбежала, стуча маленькими тугими пятками.

— У-у, дикая! — сказала мать с гордостью.

Зажгли лампы, и все сели за стол, не без спора поделив между собой командиров. Зашумели разговоры. Со всех

углов посыпались тосты за боевых пограничников, за наркома, за хозяйку.

Коржу не сиделось на месте. Он был из той славной породы людей, без которых гармонь не играет, пиво не бродит и дивчата не смеются. Едва успев одолеть миску пельменей, он выскочил во двор помогать стряпухам. Вслед за ним отправились братья Айтаковы, пулеметчик Зимин и молодежь из кущевцев. Не прошло и минуты, как оттуда донеслись хлопанье ладоней и drobный треск каблуков. А когда стали обносить гостей снова и Пилипенко вышла во двор собирать ушедших, к бойцам уже нельзя было подступиться.

Окруженные хохочущей толпой, на скамейке стояли пулеметчик Зимин и Корж.

Отрывисто покрикивала гармонь, и огромный Зимин, нагнувшись к Коржу, гудел:

*Говорят, что под сосною
Засвистали раки...*

Удивленно ахала гармонь, но Корж отвечал, не шевельнув даже бровью:

*Собирался раз весною
Взять Сибирь Араки.
Подавился пес мочалой,
Околел в воротах.
Не слыхали вы случайно,
Где теперь Хирота?*

И вдруг Корж опустил руки. Гармонь вздохнула совсем по-человечески жалобно.

– Дальше, дальше! – кричали стоявшие во дворе и за плетнем.

– Рифма не позволяет.

– Ну, годи! – объявила Пилипенко и, бесцеремонно растолкав круг, увела певцов в хату.

Между тем ведра пустели. Разговор становился всеобщим. Со всех сторон полетели резкие замечания о японцах. Не было в хате кушечка, у которого интервенты не изрубили, не спустили бы под лед близкого человека.

Горячилась молодежь, но и старики подбрасывали в печку солому. Под сединой, точно под пеплом, жарко светилась ненависть к японскому войску.

Вспомнили николаевскую баню, и приказы Ой-оя⁷⁷, и любимую партизанскую тему – японских часовых, укутанных в десять одежек, – и перешли, наконец, к последним событиям.

Держался упорный слух, что в Монгольской Народной Республике нашел могилу целый японский полк, и, хотя точно еще ничего не было известно, каждый спешил высказать свое мнение о бое.

– Кажуть, пятьдесят самолетов було, – сказал дедка Гарбуз, – таке крошево зробыли. Де ахвицер, де кобылячья с...

– Яки кони? То ж була автоколонна.

– Нехай даже танки.

⁷⁷ Ой-ой – имя генерала, командовавшего японскими войсками во время интервенции на Дальнем Востоке.

– Расчет у них был такой: перерезать путь на Кяхту, разрубить Чуйский тракт, а затем...

– А кажутъ, их монгольские конники порубали.

– ...затем, обеспечив левый фланг, идти к Забайкалью.

Помните меморандум Танаки?

– Нехай идуть... Куропаткиных нету!

– Боже ж мий, – сказала птичница громко, – дали б мини якого-небудь манесенького ахвицера!..

И она посмотрела на свои жилистые, темные руки.

Кто-то заметил:

– Тогда уж лучше Быстрых...

Все оглянулись на однорукого молчаливого казака, стоявшего возле печи. Страшна была судьба этого человека. На его глазах сожгли брата, изнасиловали беременную жену. Лютые муки придумали японцы для пленника. На канате протаскивали из проруби в прорубь, лили в ноздри мочу, срезав кожу на пальцах, опускали руки в серную кислоту. Только выдубленный непогодой таежник мог сохранить силу и память после этих неслыханных мук.

Услышав свое имя, он улыбнулся, блеснув золотыми зубами, но ничего не сказал.

– Вин немый, – шепнула Гапка Коржу.

– Чудной японцы народ, – сказал подвыпивший дедка Гарбуз. – Детей любятъ, работники гарны, а характер самый насекомый, жестокий. Кажуть, харакери, харакери... А що воно таке? Чи демонстрация духа, чи що?

– Дикость!

– Ни, ни то.

– Дисциплина!

– Расстройство рассудка!

– Самурайская гордость!

Каждый спешил высказать свое мнение. Помалкивал только Чжан Шу. Для кузнеца согрели в жестяном жбане пива, поджарили арбузных семечек. Старик сидел среди кушечков в распахнутой синей куртке, взмокий, довольный. Маленькая Лиу заснула у него на коленях.

Наконец, гости услышали кашель и тоненький смех старика.

– Прошлый зима, – сказал он медленно, – моя ловил один лиска капкан. Лиска думал всю ночь, потом говори: ладно, прощай, нога! Отгрыз и ушел... Это тоже есть самурай?

Все засмеялись.

– Ну, такое харакири мы тоже раз делали, – заметил Баковецкий. – Было нас четверо: Антонов Федя, я, Седых-младший и еще один чуваш, Андрейкой звали. Мы в отряде Сметанина с орудийной бочкой ездили.

– Бочкой?

– Да. Федя патент взял. В каждом днище по дыре. В одну из карабина холостым бьешь, в другую газы выходят, а звук... ей-богу, как гаубица! Наша бочка у Семенова в сводках за батареею ходила... Однажды насаживали в Черниговке новые обручи, вдруг – га-га-га! Белые вдоль села из четырех «люисов». Мы в огороды – та же история. Прибежали в избу – стали отстреливаться, а уговор был старый: все патроны – семеновцам, себе – по одному. Все равно кишки на телефонную катушку наматывают... Вскоре отстрелялись, стали прощаться... Да... Вдруг наш чуваш побледнел: «Братушки, как же, патрон-то я вытряхнул!» А в дверь уже ломаются. Спасибо Федя сообразил. «Что ж,

говорит, сядем к столу, будем полдничать». Вынул гранату, снял кольцо и положил между нами. Вот так, как глечик стоит.

Рассказчик полез в печку за угольком. Все ждали конца истории. Но Баковецкий раскурил трубку и замолчал.

– А що? Граната испортилась?

– Ну, как сказать, – ответил рассказчик медленно. – Про то из всех четверых у одного меня можно спросить.

– Ни, це не то... Нехай товарищ начальник разъяснит характеры.

– Хорошо, – согласился Дубах. И вдруг, обернувшись к Гарбузу, быстро спросил: – Что легче свалить – столб или дерево?

– Столб, – сказали кущевцы.

– Вот именно... Столб не имеет корней. Так вот, японский патриотизм особого качества. Он не выращен, а вкопан в землю насильно, как столб. Не знаю, как объясняет наука, а нам кажется – в основе харакири лежит страх: перед отцом, перед школьным учителем, перед богом, перед последним ефрейтором...

Баковецкому передали записку. Он быстро прочел ее и вышел на улицу.

– Смешно подумать, – сказал Дубах, поднимаясь из-за стола, – чтобы кто-либо из нас, попав в беду, вскрыл себе пузо. Это ли геройство?

– Та ни боже ж мни! – воскликнул Гарбуз. – Нет у меня самурайского воспитания!

– А ну их в болото! – сказал из дверей Баковецкий и, отведя Дубаха в сторону, что-то шепнул.

– Где?

– В бане у Игната Закорко.

Они вышли во двор и огородами прошли к темной хате, стоявшей на самом краю села.

Хозяин ждал их возле калитки.

– Здесь, – сказал он и распахнул дверь маленькой баньки.

На скамье, свесив голову, сидел человек в солдатской рубахе. Увидев начальника, он вскочил и вытянул руки по швам.

– Заарестуйте его, – сказал поспешно хозяин. – То мой брат.

Начальник не удивился. В приграничных колхозах такие случаи были в порядке вещей.

– Закордонник?

– Ей-богу, я тут ни при чем. Скажи, Степан, я тебя звал?

– Нет, – сказал Степан, – не звал.

– Вот видите!.. Чего ж ты стоишь, чертов блазень! Кажись...

Степан вздохнул и, повернувшись к начальнику спиной, поднял рубаху. Вся спина перебежчика была в струпках и узких багровых рубцах.

– Понимаю, – сказал начальник. – Японцы?

– Да.

– За что?

– За ничто... За свой огород. Бильше не можно терпеть. Я ж русский человек, гражданин комиссар... Заарестуйте меня.

– Сучий ты сын, – с сердцем сказал Баковецкий. – Видно, без японского шомпола и совесть не чешется!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...Знакомая каменистая тропинка бежала вдоль берега моря. Она прыгала с камня на камень, кралась по краю обрыва, исчезала в кустарнике и вдруг появлялась снова, лукавая, вызолоченная хвоей и солнцем.

Глядя на нее, Сато подумал, что пора бы теперь расстаться с ботинками. Еще в порту он купил пару отличных гета с подкладкой из плетеной соломы. С каким наслаждением он сбросил бы сейчас тупорылые ботинки и вонючие носки! Сато даже присел было на камень и взялся за обмотки, но вовремя спохватился. Нет, он явится домой в полной солдатской форме – в кителе, застегнутом на все пять пуговиц, в шароварах, обмотках и стоптанных ботинках (фельдфебель оказался изрядным скрягой и отобрал новые). Вопреки приказу начальства, он даже не спорил с погон три звездочки, на которые имеет право только ефрейтор.

Сато с облегчением подумал, что никогда уже не увидит материка с его унылыми холмами, глиняными крепостями и рыжей травой. Он даже обернулся, точно желая в последний раз взглянуть на обрывистый берег Кореи, но море было бескрайно, как радость, переполнявшая отпускника.

Неясные, только что родившиеся облака висят над водой, пронизанной утренним светом. Волны робко толпятся вокруг мокрых камней, где сидят, подставив солнцу панцири, багровые крабы. Над ними мечутся чайки. Их короткие крики звучат, как визжание блоков на парусниках.

Сато шел и громко смеялся. Мокрые сети, растянутые

через тропинку, били его по лицу. Он не старался даже уклоняться. Он вдыхал запах Хоккайдо, исходивший от этих сетей, – запах охры, смолы, рыбы и водорослей. Еще два мыса, зыбкий мост на канатах – и откроется дом.

Он прошел мимо рыбаков. Рослые парни в синих хантэн с хозяйскими клеймами на спине сталкивали лодки в прозрачную воду. Они спешили в море выбирать невода, изнемогавшие под тяжестью рыбы.

По зеленым вельветовым штанам Сато узнал Яритомо: два года назад на базаре в Хоккайдо приятели выбрали одинаковые штаны и ножи с черенками в виде дельфинов. Правда, Яритомо утонул возле Камчатки во время сильного шторма, но Сато несколько не удивился, увидев утопленника, дымящего трубкой на корме лодки. Ведь о шторме рассказывал шкипер Доно, любивший приврать.

Он перевел взгляд на другую лодку и без труда отыскал седую голову самого шкипера. Возле него почему-то сидели господин ротный писарь и заика Мияко.

Кунгасы вереницей уходили от берега и прятались в дымке – предвестнице жаркого дня.

– Ано-нэ! – крикнул Сато, сложив руки рупором.

Рыбаки подняли головы. Видимо, никто не узнал Сато в бравом солдате, обремененном двумя сундуками. Только Доно что-то крикнул, отвечая на приветствие. Шкипер взмахнул рукой, и флотилия исчезла среди солнечных бликов.

...Как трудно разговориться после долгой разлуки! Вот уже полчаса отец и Сато обмениваются односложными восклицаниями.

Ставни раздвинуты. Блестят свежие циновки. Отец

хочет, чтобы все односельчане видели сына в кителе и фуражке с красным околышем, со звездочками ефрейтора на погонах. Рыжими от охры, трясущимися руками он подбрасывает угли в хибати, достает плоскую фарфоровую бутылку сакэ и садится напротив.

Они сидят молча, протянув руки над хибати, – солдаты, герои двух войн, – и слушают, как потрескивают и звенят угли. Сестра Сато, маленькая Юкико, движется по комнате так быстро, что кимоно не успевает прикрывать ее мелькающие пятки.

Она ставит перед братом соба⁷⁸, квашеную редьку, соленые креветки и засохший русский балык – лакомство, доступное только отцу.

Они молчат. Они так редко встречаются, что отец не знает даже, о чем спросить удачливого сына.

– Вероятно, у вас мерзли ноги? – говорит он, глядя на ботинки Сато.

– Нет, мы привыкли, – отвечает Сато небрежно.

Между тем дом наполняется гостями. Приходит аптекарь Ватари, плетельщик корзин Судзумото, шкипер Кимура. Появляется гадалщик Хаяма, высокий неряшливый старик в котелке, предсказавший Сато жизнь, полную приключений и перемен. Хаяма рад, что предсказания так быстро сбываются. Он треплет Сато по плечу и дышит винным перегаром. Отец, сделав приветливое лицо, с тоской и неприязнью смотрит, как господин Хаяма, бесцеремонно завладев чашкой с лапшой, со свистом втягивает клейкие нити... Если не подойдут остальные, этот обжора съест и креветки, и соленый миндаль, и балык.

⁷⁸ Соба – лапша из гречневой муки.

Но Юкико уже пятится от входа, кланяясь и бормоча приветствия. Сам господин писарь, услышав о приезде Сато, решил засвидетельствовать почтение новоявленному герою. Вытирая клетчатым платком свое раскисшее лицо, он здоровается с собравшимися и косится на миловидную Юкико.

Вместе с писарем входит учитель каллиграфии господин Ямадзаки – маленький, кадыкастый, с широким ртом, где зубы натыканы как попало. Сато раскланивается с ним особенно почтительно. После отца старый сэнсэй⁷⁹ для него самая почтенная фигура в деревне.

Подогретое сакэ делает гостей разговорчивыми. Сато ждет, когда его будут расспрашивать о службе и последних подвигах армии, но гости наперебой начинают делиться собственными впечатлениями.

– Перед тем как идти в сражение, – вспоминает господин Ямадзаки, – росскэ нагревают над кострами свои шубы... Однажды возле Куачензы...

Всем известно доблестное поведение господина Ямадзаки в стычке с казаками, когда на одного учителя напали шесть великанов в бараньих тулупах, – но никто, из боязни проявить неучтивость, не прерывает рассказчика.

Наконец Сато получает возможность говорить, но все рассказы, приготовленные заранее, когда он поднимался по тропинке, вылетели у него из головы.

– У них трехмоторные самолеты, – начинает он невпопад. – Мы видели их каждый день...

– Они купили их на деньги от Китайской дороги! – с

⁷⁹ Сэнсэй – учитель.

возмущением кричит учитель. – Купили во Франции... Вы видели закрашенные знаки французов?

– Нет... Они были высоко.

Наступает пауза.

– Я всегда предсказывал ему повышение, – бормочет господин Хаяма, бесцеремонно почесываясь.

– Вы знаете новость? – спрашивает писарь. – Сегодня умер полицейский Миура. Говорят, от разрыва сердца. Он сильно огорчился последнее время.

Несомненно, что господин Миура, весельчак и бабник, мог умереть не от огорчения, а только от пьянства, но слушатели почтительно склоняют головы.

– Теперь освободилась вакансия... Если соединить настойчивость и хорошие рекомендации...

Все многозначительно смотрят на Сато. Отец – с гордостью, соседи – с почтением, Юкико – с испугом: она не может даже представить брата с такой же толстой красной шеей, как у господина Миура.

– Надо подумать, – говорит Сато с важностью, хотя чувствует, что готов сию минуту бежать в канцелярию. – Я подумаю, – повторяет он, наслаждаясь впечатлением.

Вдруг учитель приподнимается и, ухватив плечи Сато своими худыми цепкими руками, злобно кричит в уши отпускинику:

– Вот новость! Он хочет подумать... Встать! Живо!

И сразу пропадает все: море в светлых бликах, тропинка, рыбаки, отец, писарь, Юкико...

В казарме полутемно. На потолке мигает фонарь «летучая мышь». Фельдфебель, сдернув с Сато одеяло, грубо трясет его за плечи.

Одним рывком Сато надевает штаны. Полурота выстроилась на дворе возле казармы. Пока нет команды «смирно», солдаты трут уши, щиплют себя за плечи и ляжки, стремясь стряхнуть остатки сна. Косо летит снежная пыль.

— Говорят, красные перешли в наступление, — шепчет, лязгая зубами, Мияко.

— Но ведь пока еще...

— Прекратить разговоры! Смирр-но!

Господин фельдфебель выкликает по списку солдат. В морозном воздухе, точно отрывистый лай, звучат застуженные солдатские голоса. Стрелки ждут приказания, вытянув руки по швам, боясь прикоснуться к покрасневшим на морозе ушам.

Господин поручик скороговоркой поясняет задачу:

— ...Пользуясь миролюбием правительства, росскэ нарушили границу и захватили часть территории Маньчжоу-Го — от мельницы до знака номер семнадцать... Солдатам второй роты выпала честь доказать росскэ, что такое истинный дух сынов Ямато. Двигаться в полной тишине. Возможен бой с превосходящим по силе противником... Надеть металлические шлемы... Наушники не опускать.

...Рысцой солдаты сбегают в падь, пересекают дорогу и углубляются в лес. Здесь теплее и тише. Звезды еле видны в путанице черных сучьев. Сухие листья гремят под ногами. Крепкий, морозный воздух, быстрое движение отряда и неизвестность цели опьяняют Сато. Он чувствует, как начинают гореть щеки.

Они идут долго. Пот выступает через шинели и оседает инеем на сукне. Лес давно исчез в морозном тумане. Они

идут гуськом между скал, по дну пересохшего ручья. Под ногами лопаются ледяные корки, и фельдфебель то и дело предостерегающе поднимает руку.

Потом солдаты долго ползут в кустарнике, где, несмотря на мороз, сочится вода. Перчатки Сато намокают. Он чувствует, как влага проникает сквозь двойную материю на коленях...

Перед ними поляна, клином врезавшаяся в лес. Справа из темноты проступает крыша мельницы. Здесь проходит граница.

Охваченный волнением, Сато смотрит на высокий столб, раскрашенный белыми и зелеными полосами... Он так высок, что, даже протянув руку, нельзя достать до железного герба. Какие, однако, ловкачи эти росскэ, сумевшие так быстро присвоить поляну!

– Здесь! – говорит шепотом фельдфебель. – Осмотреть оружие! Приготовить гранаты!..

В разведку уходят двое: ефрейтор Акита и рядовой Мияко. Туман расступается и сразу смыкается за ними.

Лежа в жесткой траве, солдаты поглядывают на столб и растирают озябшие пальцы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

– Тише! – попросил Нугис.

Он согнулся над старым шестиламповым приемником, силясь поймать Москву.

Это было нелегким делом. С тех пор как Илька разбила шестую лампу, Москва отодвинулась на лишнюю тысячу километров.

– ...волновый... переда...

Восемь теней на потолке замерли, даже игроки в домино осторожнее застучали костяшками. Где-то выше антенны, выше дубов, окружающих заставу, неся тихий голос Москвы:

– ...рит... расная площадь...

И снова поросячий визг, щелканье, дробь морзянки вырвались из-под терпеливых пальцев Нугиса. Как всегда бывает в Октябрьские дни, разговаривали сразу сотни станций...

Во Владивостоке выступал китайский театр. Глухо гудел бубен. Точно ивовая дудочка, звучала горловая фистула певца.

В Хабаровске вынесли микрофон в городской сад, к обрыву над Амуром, и дикторша, торопясь, говорила:

– ...Вот вижу лодки с флагами на корме... На всех гребцах синие береты и желтые майки... Вот четыре катера... Вот плывет пароход... А на палубе танцуют мазурку... Вот...

– ...лейтенант Вдовцов исполнит арию Хозе, – предупреждала радиостанция города Климовка. – У рояля жена воентехника третьего ранга Клавдия Семеновна Воробьева.

В радиостудии Николаевска-на-Амуре собрались старики партизаны. Второй час сипловатый стариковский басок, перебиваемый морзянкой, не спеша вспоминал:

– ...Тогда, оставив в затоне шесть раненых, мы решили дать бой и пробиться к товарищу Шилову. На ут...

– Крути назад! – крикнул Корж. – Дай партизан послушать.

– Хочу про японцев, – сказала Илька.

Но Нугис только мотнул квадратной головой. Он страшно торопился. Перед ним лежали часы. Было без четверти пять по местному и около десяти по московскому...

С минуты на минуту должен был начаться парад. Нугис упрямо пытался пробиться к Москве сквозь позывные парадных, плывущих вдоль тихоокеанского побережья, сквозь кабацкие фокстроты, летевшие из Харбина. Капитаны краболовов поздравляли друг друга и спрашивали об уловах, японский диктор без конца повторял какое-то рекламное объявление, радисты передавали, что в бухте Ольга опять битый лед...

А Москва, лежавшая на другом краю мира, все еще молчала.

Бойцы сидели вокруг Нугиса торжественные, одетые по случаю Октября в свежие гимнастерки. Пулеметчики, снайперы, стрелки, проводники собак терпеливо ждали конца путешествия Нугиса по эфиру.

– Пощелкай, – посоветовал повар. – Бывает, лампы застаиваются...

Подняли крышку, и Нугис осторожно пощелкал по стеклам, чуть освещенным изнутри золотистым сиянием.

Раздался оглушительный визг. За окном горестно взвыла овчарка, грянул хохот.

Нугис был раздосадован неудачей. Он встал и спрятал часы.

– Отставить! – объявил Корж. – Задержка номер четыре...

– Пойду поищу запасные, – сказал Нугис упрямо.

Но старый приемник уже не внушал бойцам доверия. Кто-то из пулеметчиков заметил:

– Опять парад проворонили...
– Хоть бы танки послушать...
– А у нас в Верхних Кутах сегодня оладьи пекут, – вспомнил неожиданно пулеметчик Зимин.

Это случайное замечание точно распахнуло стены казармы. Сразу стали видны барабинские степи, Новосибирск, Смоленск, Свердловск, Полтава, Елабуга – все, что лежало по ту сторону тайги. Каждому бойцу захотелось вспомнить добрым словом родные города и поселки.

– А у нас в Мурманске на каждой мачте – звезда, – сказал Белик. – Днем флаги, ночью иллюминация. Ледокол «Чайка» портрет Буденного вывесил. Весь из рыбьей чешуи... Серебряный чекан, и только! Его норвежцы у себя в Тромсе клеили и в подарок рыбакам привезли. Начальник порта хотел в Третьяковскую галерею отправить, да ледокол не отдал.

Повар стал было описывать, из какой чешуи был сделан портрет, но Белика перебил Гармиз.

– Нет, ты послушай! – закричал он, вскочив с табурета. – Какой Мурманск! Ты Лагодех видел? Через Гамборы ночью ходил? Там есть поляна – каждому дереву тысяча лет. Больше! Две с половиной! Листья с ладонь. Всю ночь пляшем. Внизу на дорогах арбы скрипят, виноград, вино в город везут... Потом девушек провожаем... В горах темно... Фонари к звездам идут. Крикнет один – тысяча отвечает... Послушай! Какой ветер у нас! Станешь спиной к пропасти, раскинешь рукава... Весь день будешь стоять... Вот!

Гармиз взмахнул руками и замер, обводя всех глазами, точно ища того, кто усомнился бы в силе гамборских ветров.

Никто не ответил... Сибиряки, украинцы, белорусы, татары – бойцы сидели задумавшись... Молчал даже Корж, беспокойный, не умеющий минуты прожить без острого слова.

Он сидел верхом на табурете и силился представить, что делается теперь дома. Он так редко бывал в деревне, что сразу не мог сообразить, чем занят сегодня отец.

...Сейчас десять утра. Вероятно, отец вместе с Павлом находится в кузне... Кузня низкая, точно вырубленная из сплошного куска угля... В раскрытые двери видны горн, руки, взлетающие над наковальней. Когда молот опускается, открывается отцовское лицо – черное, с толстыми солдатскими усами, из-под которых сверкают зубы...

Маленький длиннорукий Павел раздувает горн. У него, как у всех Коржей, светлые озорные глаза и большой рот. Он приплясывает на одной ноге, насвистывает и бесстрашно лезет короткими щипцами в самый жар, где нежно розовеет железо.

Весело смотреть на отца с сыном, когда они в два молота охаживают толстенную полосу, а железо вьется, изгибается, багровеет, превращаясь в тракторный крюк или шкворень фургона...

Впрочем, какая же сегодня работа!.. Наверно, все сидят за столом. Мать выскоблила доски стеклом, поставила берестяную сахарницу и голубые...

– Внимание!.. Красная площадь, – негромко сказал репродуктор. – Все глаза обращены... асской башне... Через... уту... чнется парад.

Корж вскочил. Все обернулись к приемнику.

– Я нечаянно! – закричала Илья, поспешно отдернув руку.

Говорила Москва. Затухая, точно колеблемый ветром, звучал голос диктора. Он описывал все: простор площади и свежесть осеннего утра, освещенные солнцем звезды Кремля, появление делегаций, стальные шлемы пехоты, скульптурную группу напротив ворот Спасской башни, называл людей, стоявших у Кремлевской стены, – имена, знакомые всем, от чукотских яранг до поселков горной Сванетии.

Накапливались войска. Оживали трибуны. Кому-то аплодировали, где-то музыканты пробовали трубы. Прозрачный неясный гул висел над Красной площадью.

И вдруг сразу стало тихо, как в поле. На том краю мира не спеша били часы.

– Десять, – сказал тихо Белик, и все бойцы слышали дальний звон подков.

Ворошилов объезжал войска, здороваясь и поздравляя бойцов. Площадь отвечала ему всей грудью, дружно и коротко.

Потом они слышали глуховатый голос наркома. Он говорил, сильно паузя, отчетливо и так просто, что забывалась торжественная обстановка парада. Он напоминал о том, что было сделано за год, о силе и целеустремленной воле народа. Последние его слова, обращенные к Красной Армии, были заглушены треском атмосферных разрядов, точно по всей стране прогремели орудийные залпы салюта.

...Вошел на цыпочках Дубах и сел сзади бойцов. Илья вскочила к нему на колени.

– Танк больше лошади? – спросила она.

– Тсс... Больше.

– Значит, главное. А почему пустили вперед академию? Она больше танка?

Сделав страшные глаза. Дубах закрыл Ильке рот ладонью... Сквозь марш пробивались отчетливые, мерные удары. Разом впечатывая многотысячный шаг, проходила пехота.

– Товарищ начальник, – спросил Корж, – что сначала идет, артиллерия или конница?

Дубах подумал. Он ни разу не видел московских парадов и стыдился в этом признаться. Ездить приходилось много, но всегда по краю страны. Негорелое, Гродеково или Кушку он знал лучше Москвы.

– Как когда, – ответил он осторожно. – Сегодня – не знаю...

По камням Красной площади хлестал звонкий ливень... Скакала конница. Вихрем летели к Москве-реке тачанки.

Потом наступила долгая пауза. Странное, еле слышное пофыркивание несло из Москвы.

– Вся площадь в автомашинах... – пояснил диктор. – Теперь движутся гаубицы... их колеса обуты в резину.

И вдруг какой-то странный рокочущий звук ворвался в казарму, точно над Москвой разорвался длинный кусок парусины.

– Слышали? – спросил рупор поспешно. – Это истребитель... Он похож...

Голос его потонул в низком реве пропеллеров, в лязге танковых гусениц. Парусина над площадью рвалась беспрерывно.

– Девятнадцать... двадцать... двадцать семь... сорок два... – считал Белик, – сорок три... пятьдесят!

– Это целый дредноут! – крикнул диктор. – У него четыре башни. В нашем здании стекла дрожат!

...Зажгли лампу. Закрыли ставни. Восемь бойцов – сибиряков, белорусов, украинцев – стояли на площади.

Они видели все: бескрайнее человечье половодье, освещенное солнцем, красногвардейцев с седыми висками, сталеваров, народных артистов, горделивых московских метростроевцев, академиков, старых ткачих, детей, сидящих на плечах у отцов, – сотни тысяч лиц, обращенных к Кремлю.

Они стояли бы на Красной площади до конца праздника, но батареи питания заметно слабели, шум демонстрации становился все тише и тише, точно Москва отодвигалась дальше, на самый край мира, и, наконец, приемник умолк...

– Семичасный, Кульков, Уваров, в наряд! – крикнул дежурный.

Мягкий треск полевого телефона вывел Дубаха из дремоты. Не открывая глаз, он протянул руку и снял трубку. Говорил постовой от ворот:

– Две женщины и лошадь с повозкой – к вам лично. Прикажете пропустить?

– Пропустить, – сказал начальник, безжалостно скручивая ухо, чтобы прогнать сон. Он сидел, навалившись грудью на старенький самоучитель английского языка. Лампа потухла. Сквозь ставни безжил рассвет.

Дубах успел одеться прежде, чем часовой закрыл за приехавшими ворота, и встретил женщин вспышкой карманного фонарика.

Одна из них, птичница соседнего колхоза, была знакома начальнику. Он не раз охотно беседовал с домовитой хо-

зайкой, терпеливо выслушивая ее долгие рассказы о муже, утопленном интервентами в проруби. То была опытная, рассудительная женщина, умевшая отлично залечивать мокрец и выводить собачьи глисты.

Ее спутница, девочка с суровым, испуганным лицом, одетая в ватник и мужские ичиги, сначала показалась начальнику незнакомой.

– Ой, лишенько! – сказала Пилипенко, едва начальник показался на крыльце. – Ой, маты моя... Ой, идите сюда скорейшь, товарищ начальник...

– Что за паника? – удивился Дубах. – Откуда у вас эти дрючки?

– Боже ж мий!.. Колы б вы знали... Ось дывытесь...

Не выпуская валежины из рук, птичница подошла к телеге и разгребла солому. Открылись тонкие ноги в распутившихся обмотках, короткий зеленый мундирчик, затем глянуло чугунное от натуги лицо японского пехотинца. Во рту полузадушенного, скрученного вожжами солдата торчала фуражка.

– Ось злодий! – сказала птичница, дыша злобой и возбуждением. – А ось тесак его. Вин, байстрюк, мини усю робу распорол.

И громким плачущим голосом она стала рассказывать, как это случилось.

Они с дочкой ехали в город – забрать лекарство. У кур развелось так много блох, что полынь и зола уже не помогали. Были еще и другие дела. Гапка хотела купить батиста на кофточку. По дороге дочка накрылась кожухом и заснула. Они ехали дубняком... Нет, не возле мельницы... У них в колхозе дурнив нема, чтобы нарушать запрещение.

Сама Пилипенко тоже сплющила очи. И вдруг выходит той злодий, той скорпион, блазень, байстрюк с тесаком, той японьский офицер, и кажет...

– Прошу в канцелярию, – предложил Дубах.

Птичница кричала так громко, что из казармы стали выскакивать во двор полуодетые бойцы.

Увидев на столе начальника бумаги и малахитовую чернильницу – подарок уральских гранильщиков, Пилипенко перешла на официальный тон... Нехай товарищ начальник составит протокол. И пусть об этом случае заявят самому наркому. Если бы не Гапка, она осталась бы там, в лесу, а шпион подорвал бы мост... Когда она остановила лошадь, он спросил по-русски, где Кущевка, а потом, как бешеный, кинулся с тесаком. Спасибо, что на дороге была глина и злодий поскользнулся. Офицер только оцарапал птичнице шею и пропорол кожух. Они упали на повозку, прямо на Гапку, а девка спросонок такхватила японца, что злодий выпустил тесак. Он царапался и кусал Гапке руки, но женщины все-таки связали офицера вожжами.

– Это солдат, – заметил Дубах.

Пожилая женщина в унтах и распахнутом кожухе, открывавшем сильную шею, взглянула на пленника сверху вниз.

– А я кажу, що це офицер, – сказала она упрямо. – Верно, дочка?

– Офицер, – сказала Гапка, с уважением посмотрев на мать.

– Вин разумие по-русски...

– Скоси мо вакаримасен⁸⁰, – сказал торопливо солдат. – Я весима доруго брудила.

– Это видно, – заметил Дубах. – Отсюда до границы четыре километра.

– Годи! – крикнула Пилипенко, со злобой глядя на стриженую голову солдата. – Я стреляная. Чины знаю. Три звезды – офицер. Полоса – капитан.

– Мамо, – сказала вдруг Гапка баском, – а мабуть, вин скаженный?

И она с тревогой показала багровые подтеки на своих смуглых сильных руках. От волнения и страха за дочку Пилипенко расплакалась.

Женщин успокоила нянька Ильки – Степанида Семеновна. Она увела казачек к себе, приложила к искусанной руке Гапки примочку из арники, вскипятила чай.

Они сидели, долго перебирая подробности нападения и ожидая Дубаха. Птичница вспомнила, как пятнадцать лет назад японцы, расколов пещнями лед, загнали в прорубь мужа. Аргунь была мелкой, снег сдуло ветром, и все проезжие видели, как ее Игнат из-под льда смотрит на солнце. Днем труп нельзя было вырубить. Она приехала на санях ночью со свечкой и топором. Так, замороженного, в виде куска льда, она привезла мужа домой и заховала его во дворе.

Она обернулась к Гапке, чтобы показать, какую девку она все-таки выходила, но дочка уже не слышала беседы. Забравшись на тахту начальника, утомленная и спокойная, она заснула, забыв об офицере и своей искусанной руке.

⁸⁰ Ничего не понимаю.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Светало. Звездный ковш свалился за сопку. В сухой траве закричали фазаны. Предвестник утра – северный ветер – пробежал по дубняку; стуча, посыпались перезревшие желуди.

Солдаты ежились, лежа среди высокой заиндевелой травы. Терли уши шерстяными перчатками, старались укрыть колени полами коротких шинелей. Поручик демонстративно не надевал козьих варежек. Сидел на корточках, восхищая выдержкой ефрейторов, только изредка опускал руки в карманы шинели, где лежали две обтянутые бархатом грелки.

Акита не возвращался... Уходило лучшее время, растрачивалась подогретая водкой солдатская терпеливость. По приказанию поручика двое солдат, стараясь не звенеть лопатами, выкопали и положили в траву погранзнак. Теперь Амакасу с досадой поглядывал на поваленный столб. Стоило два часа морозить полуроту из-за такой чепухи!

Закрыв глаза, он пытался представить, что будет дальше... К рассвету он опрокинет заслон и выйдет к автомобильному тракту. Пулеметные гнезда останутся в двух километрах слева. Застава будет сопротивляться упорно. Русские привыкли к пассивной обороне... Они даже имеют небольшой огневой перевес, но при отсутствии инициативы это не имеет значения. К этому времени полковнику постфактум донесут о случившемся. По крайней мере министерство еще раз почувствует настроение армии... Он ясно представил очередную ноту советского посла, напечатанную петитом в вечерних изданиях, и уклончиво-удивленный ответ господина министра.

Только осторожность удерживала Амакасу от броска вперед. Благоразумие – оружие сильных. Он вспомнил готические окна академии и пренебрежительную вежливость, с которой полковник Гефтинг объяснял японским стажерам методику рейхсвера в подготовке ночных операций... «Благоразумие – оружие сильных», – говорил он менторским тоном... Амакасу презирал толстозадых гогенцоллерновских офицеров, проигравших войну. Они не понимали ни японского устава, ни наступательного духа императорской армии.

И все-таки Амакасу слегка колебался. Молчание противника было опаснее болтовни пулеметов.

Наконец, явился ефрейтор Акита. Рассказ его был подробен и бессвязен... Вместе с Мияко они прошли весь лес, от солонцов до заставы. Нарядов не встретили. Окна заставы темны... Потом пошли отдельно... Слышно было, как проехала крестьянская повозка.

– Почему крестьянская? – спросил поручик раздраженно.

– Пахло сеном, и разговаривали две женщины.

– От вас пахнет глупостью!

– Не смею знать, господин поручик.

– Где Мияко? Подумайте... Ну?

– Вероятно, заблудился, – сказал ефрейтор, подумав. – Он ждет рассвета, чтобы ориентироваться.

Разведка оказалась явно неудачной, но ждать больше было нельзя. Амакасу отдал приказ выступать...

...Два глухих взрыва сорвали дежурного с табурета. Это было условным сигналом. Наряд Семичасного предупре-

ждал заставу гранатами: «Тревога! Ждем помощи. Граница нарушена...»

Люди вскакивали с коек, одним рывком сбрасывая одеяла. Света не зажигали. Все было знакомо на ощупь. Руки безошибочно нащупывали винтовки, клинки, разбирали подсумки, гранаты. В темноте слышались только стук кованых сапог, лязг затворов и громоыхание плащей. Бойцы, заснувшие всего час назад, хватали оружие и выскакивали во двор, на бегу надевая шинели.

Люди двигались с той привычной и точной быстротой, которая свойственна только пограничникам и морякам.

Через минуту отделение заняло окопы впереди заставы. Через три – небольшой отряд конников, взяв на седла «максим» и два дегтяревских, на галопе пошел к солонцам.

Сигнал Семичасного, еле слышный на расстоянии двух километров, отозвался эхом на соседних заставах. Бойцы «Казачки» седлали коней, когда дежурные на «Гремучей» и «Маленькой» закричали: «В ружье!» Здесь тоже все было известно на ощупь: маузеры, седла, пулеметные ленты, тропы, камни, облюбованные снайперами, сопки, обстрелянные сотни раз на учениях.

Проводники вывели на тропы молчаливых овчарок. Конники на галопе пошли по распадкам, с маху беря ручьи и барьеры из валежин. Пулеметчики слились с камнями, хвоей, пропали в траве.

Наконец, десятки людей услышали беспорядочные слабые звуки – точно дятлы вздумали перестукиваться ночью.

Прошло полчаса... Соседние заставы, выславшие усиленные наряды, продолжали ждать. Никто не имел права бросить силы к «Казачке», оголив свой участок.

И вдруг зеленая ракета беззвучно поднялась в воздух. Описав огромную дугу, она долго освещала мертвенным светом вершины голубых дубов и лесные поляны. Дятлы опешили, а затем застучали еще настойчивее. Дубах вызвал начальника отряда.

– В Минске идет снег, – предупредил он спокойно.

Эта метеорологическая сводка настолько заинтересовала начальника, что он тут же поделился новостью с маневренной группой и авиачастью, находившейся в ста километрах от границы.

– Два эскадрона к Минску, галопом! – приказал он маневренной группе. Предупреждаю: в Минске снег, – сообщил он командиру авиачасти.

– Греемся, – лаконично ответила трубка.

...В остальном в Приморье было спокойно. В полях возле Черниговки гремели молотилки. Посыетские рыбаки уходили в море, поругивая морозец. На амурских верфях электросварщики, работавшие под открытым небом, зажигали звезды ярче Веги и Сириуса... Летчик почтового самолета видел огненное дыхание десятков паровозов. Шли поезда, груженные нефтью, мариупольской сталью, ташкентским виноградом, учебниками, московскими автомобилями. В шестидесяти километрах от места перестрелки рыбак плыл по озеру в поселок за чаем, вез белок, вспугивал веслами глупую рыбу и пел, радуясь тишине осеннего утра.

Ни один чехол не был снят в эту ночь с орудий укрепленной полосы.

Сопка Мать походила на казацкое седло. Широкая, затянута бурой травой, она лежала между падами Козьей и

Рисовой. Правым краем это седло упиралось в ручей, против левого расстилались кусты ежевики и солонцы – плешивый клочок земли, истоптанный и изрытый зверьем.

Отделенные от сопки широкой поляной, стояли по ту сторону границы невысокие голые дубки. Траву на поляне и сопках никогда не косили. Дикой силой обладала рыжеватая почва, не видевшая никогда лемеха. Будяки вытягивало здесь ростом с коня, ромашки разрастались пышнее подсолнухов. Щавель, лилии, повилика, курослеп, лебеда, лютик, гвоздика соперничали в силе, ярости и жестокости, с которой они душили друг друга. Иногда властвовали здесь ромашки, делавшие поляну чистой и строгой. Иногда лиловым пламенем вспыхивал багульник или ноготки заливали сопки медовой желтизной. К осени все это пестрое сборище выгорало, твердело, превращаясь в густую пыльную шкуру.

...Конники спешили у рисового поля за сопкой. Три пулемета ударили с каменной вершины по взводу японцев, обходивших сопку с флангов... Клещи разжались, освободив наряд Семичасного, изнемогавший под огнем «гочкисов».

Лежа в каменной чаше, среди заиндевелой травы, Корж долго не мог отдышаться. Бешено билось сердце, разгоряченное скачкой. Кажется, взяли от лошадей все, что могли. И все-таки не успели. Кульков, запевала, редактор газеты, тамбовский столяр, лежал плотно – пальцы в траву, щека к земле, точно слушал, идут ли. У Огнева пробитая пулей ладонь была вывернута на сторону.

Рядом с Коржем лежали Велик и связная собака Барс. Тревога застала повара на кухне, и Велик не успел даже

снять фартука. Теперь он был помощником наводчика. Быстро присоединив пароотводный шланг, он установил патронную коробку и помог Коржу продернуть ленту в приемник...

Три пулемета брили траву за солонцами. «Гочкисы» огрызались с той стороны поляны отчетливо, звонко. За спиной Коржа рикошетили, волчками крутились на сланцевых плитах пули...

Прошло полчаса. Вдруг Дубах, лежавший в двенадцати метрах от Коржа, поднялся и крикнул:

– Стой!

Пулеметы поперхнулись, не дожевав лент. Из дубняка, помахивая белым флажком, вышел молодцеватый солдат в каске и короткой шинели. Трава закрыла его с головой. Каска покачивалась, как плывущая черепаха.

Обвешанный репейником пехотинец взобрался на сопку и молча передал Дубаху записку.

Написанная по-русски печатными буквами, она походила на издевательство:

«Русскому командиру (комиссару). Покорнейше приказываю немедленно прекратить огонь и отойти в расположение заставы. Сохраняя жизнь доблестных русских солдат, остаюсь в полной надежде.

Амакасу».

– Дивная нота, – проворчал Дубах, поморщившись. – Желаете хамить до конца?

– Вакаримасен, – сказал солдат быстро. – Дозо окаки-насай⁸¹.

Дубах вырвал листок из блокнота и вывел тоже печатными буквами:

«На своей территории в переговоры не вступаю. Рассматриваю ваш отряд как диверсионную банду».

Потом подумал и приписал:

«Покорнейше приказываю прекратить провокацию».

Маленький солдат отдал честь и, сохраняя достоинство, стал погружаться в заросли будяка. Корж посмотрел ему вслед. Он в первый раз видел японца вблизи.

– Молодой, а до чего коренастый, – заметил он насмешливо. На левом фланге противника подняли маленький флажок с красным диском. Несколько пуль взвизгнуло над самым гребнем сопки.

Вдоль горы, от пулемета к пулемету, прокатилась команда:

– К бою!.. По перебегающей группе... очередями... пол-ленты... Огонь!

– Огонь! – крикнул Корж, и пулемет задрожал от нетерпения и бешеной злости.

Дубах не сидел на месте. Негромкий голос его слышался то на левом краю седловины, то возле пулеметчиков Зимина и Гармиза, то возле ручья, где отделком Нугис с группой бойцов наседали японцам на фланг.

⁸¹ Не понимаю. Пожалуйста, напишите.

Усатый, в широком брезентовом плаще и выгоревшей добела фуражке. Дубах походил на мирного сельского почтальона. В зубах начальника торчала погасшая трубка.

Он отдавал распоряжения так спокойно, точно перед ним была не полурота японских стрелков, а поясные мишени на стрельбище. За полчаса он успел несколько раз изменить расположение пулеметов и направление огня. Это была вдвойне удобная тактика: она не позволяла противнику как следует пристреляться и путала его представление о числе огневых точек на сопке.

Глядя на Дубаха, ободрились, повеселели бойцы, смущенные было численностью японо-маньчжур.

Начальник ни разу не повысил голоса, но потухшая трубка сипела все сильнее и сильнее.

Дела пограничников были далеко не блестящи. Нугису удалось перейти ручей и уничтожить пулеметный расчет, менявший ствол «гочкиса», но одно отделение и дегтяревский пулемет были не в силах сковать продвижение полуроты стрелков.

Все чаще и чаще, в паузах между очередями, Дубах прислушивался, не звенят ли в Козьей пади копыта.

— Корж перенес огонь вправо, — доложил командир отделения. — Зимин устраняет задержку.

Дубах ответил не сразу. Сидя на корточках, он плевался, но вместо слюны шла розовая пена. По губам командира отделком угадал приказание:

— Рассеянием... на ширину цели... огонь!

Начальника оттащили вниз, к распадку, где стояли кони. Расстегнули рубаху, начали бинтовать. Но Дубах вдруг вырвался и, как был, с окровавленной волосатой грудью и

волочащимся бинтом, полез на четвереньках в гору. У него еще хватило сил влезть в яму и отдать распоряжение о перемене позиции. Дубаха беспокоила соседняя сопка Затылиха. Она запирала вход в падь, и каски наседали на нее особенно нахраписто. Потом он вздумал написать записку командиру взвода Ерохину. Морщась, полез в полевую сумку и сразу обмяк, сунувшись носом в колени.

Ответ Дубаха обрадовал Амакасу. Он с удовлетворением отметил твердый почерк и решительный тон записки. Было бы скверно, если бы русские отступили без боя. Глупо с отрядом стрелков торчать на месте возле столба. Но еще хуже двигаться в неизвестность, рискуя солдатами.

Дружные голоса пулеметов вселяли в поручика уверенность в счастливом исходе операции. Он знал твердо: это новая страница блистательного романа Фукунага. Она будет перевернута, прежде чем министерская сволочь успеет продиктовать извинения. Сила не нуждается в адвокатах. Стиснув зубы, русские будут пятиться и бормотать угрозы до тех пор, пока их не заставят драться всерьез.

Между тем перестрелка затягивалась. На правом фланге, возле солонцов, лежал взвод маньчжур. До тех пор пока не требовалось двигаться дальше, солдаты держались неплохо. Многие, по старой хунхузской привычке, стреляли наугад, упирая приклад в ляжку. Они выбирали неплохие укрытия и готовы были вести перестрелку хоть до обеда.

Как все крестьяне, они были прирожденными окопниками — медлительными, абсолютно лишенными солдатского автоматизма. К свисту пуль они прислушивались старательнее, чем к окрикам фельдфебелей.

В конце концов показная суетня маньчжур привела поручика в ярость; он приказал выставить в тылу взвода «гочкис», – только тогда солдаты, прижимаясь к земле, медленно двинулись к сопке. У края солонцов они снова остановились. Память о разгроме армии Ляна под Чжаланнором⁸² была еще свежа в Маньчжурии. Никакими угрозами нельзя было заставить солдат продвинуться вперед хотя бы на метр.

Лежа на второй линии, Сато с восхищением поглядывал на Амакасу. Поручик сидел выпрямившись, не обращая внимания на пыль, поднятую пулеметами пограничников. Из-под зеленого целлулоидного козырька, защищавшего Амакасу от солнца, торчали обмороженный нос и жестяной свисток, на звук которого подползали ефрейторы. Изредка он отдавал распоряжения своей обычной ворчливой скороговоркой.

Заметив восхищенный взгляд солдата, Амакасу поднял согнутый палец... Он вызвал еще рядовых второго разряда Тарада и Кондо и в кратких энергичных выражениях объяснил солдатам задачу.

– Храбрость русских обманчива, – заявил Амакасу. – Русские пулеметчики или пьяны, или сошли с ума от страха... Чтобы привести их в себя, нужно пересечь солонцы, зайти к пулеметчику с левого фланга и швырнуть по паре гранат... Разнесите их в клочья. Они еще не знают духа Ямато! – С этими словами Амакасу снова взялся за биннокль.

Три солдата поползли к солонцам.

⁸² Конфликт на КВЖД с белокитайцами в 1929 году.

– Прощайте! – крикнул товарищам Кондо.
– Вернемся ефрейторами! – отозвался Тарада.
– Хочу быть убитым... – сквозь зубы сказал Сато. Суетливый, он надеялся, что смерть не исполняет желаний.

Пулеметчик на левом фланге противника работал длинными очередями. Гневное рычание «максима» становилось все ближе, страшнее, настойчивей. Возле солонцов Сато остановился в раздумье. Не так-то просто было двигаться дальше по голой площадке, покрытой вместо травы какими-то лишаями. Если русский солдат действительно сошел с ума, то его пулемет сохранил здравый рассудок. Пули посвистывали так низко, что голова Сато против воли сама уходила в плечи. «Дз-юр-р-р», – сказала одна из них, и Сато почувствовал резкий щелчок в голову. Он осторожно снял каску. На гребне виднелась узкая вмятина, точно кто-то ударил сверху тупой шашкой.

Между тем Кондо успел переползти солонцы и вскарабкался до половины склона.

– Получи! – крикнул он, размахнувшись.

Граната упала, не долетев до гребня, и покатилась обратно. Вслед за ней съехал на животе Кондо. Донесся звенящий звук взрыва. Пулемет поперхнулся. Русский стал менять ленту.

– Иду! – крикнул Сато.

Он разбежался и кинул гранату прямо в брезентовый капюшон пулеметчика. Ключья материи и травы взметнулись в воздух. Рота ответила торжествующим криком...

Зубами Сато вырвал вторую шпильку. «Хочу быть убитым, хочу быть убитым», – повторял он упрямо, зная, что слова эти прочны, как броня. Пулемет был бессилен, он

молчал. Зато все громче и громче раздавались голоса солдат, воодушевленных удачей.

Вся рота видела, как Сато добежал до половины холма, взмахнул рукой и вдруг, точно поскользнувшись, растянулся на склоне. Раздался приглушенный взрыв, и тело солдата сильно вздрогнуло.

Пулемет заговорил снова. Рыльце его высунулось из камней метрах в двадцати от места взрыва. Солдаты слились с землей, утопили в траве свои круглые шлемы. Лежали молча, ожидая сигнала, чтобы рвануться вперед.

Сато грыз землю – чужую, холодную, твердую. Не понимая, что произошло, он выл от ужаса и боли и, наконец, затих, выбросив ноги и раскрыв рот, набитый мерзлой землей.

В полукилометре от него Амакасу смочил палец слюной и выбросил руку вверх.

– Сигоку⁸³, – сказал он улыбнувшись.

Ветер гнал с юго-востока в сторону сопот грязноватые облачка.

...Два пулемета били с каменистого гребня. Уже кипела вода в кожах и дымились на винтовках накладки, а конца боя еще не было видно.

Гладкие стальные шлемы, сужая полукруг, выползали к солонцам. Отчетливо стали слышны жестяные свистки и резкие выкрики командиров, подымавших солдат для броска.

Подготавливая удар через солонцы, японцы старательно

⁸³ Сигоку – отлично.

выбрасывали гребень сопки. Высушенная морозом земля, на которой пулеметы сосредоточили свою злость, дымилась пылью, точно тлела под зажигательными стеклами.

Иней исчез. Небо стало глубоким и ярким. Перепелки, не обращая внимания на выстрелы, вылезали из кустов греться на солнце.

Семь пограничников удерживали сопку Мать. Они не лежали на месте. Земля дымилась под пулями. Лежать было нельзя. Послав пару обойм, они искали новую складку, камень, яму, бугор. Стреляли... Снова увертывались...

Семеро знали сопку на ощупь. Три года назад они пережили здесь страхи первых дежурств. Они видели сопку, заваленную снегом, сверкающую всеми красками усурйской весны, голую после осенних палов. Каждая складка, куст, камень, родник стали близки, как собственная ладонь.

Эта горбатая, беспокойная земля была пограничникам более чем знакома. Она была своей.

Нахрапистый противник не озадачил бойцов. Бывало и хуже. Семеро сибиряков били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, не заваливали мушек, придерживали дыхание, спуская курок.

Стрелки занимали седловину. Пулеметы были вынесены на края. Зимин отжимал правый фланг, работая очередями, короткими, как укусы. Левый фланг и соседнюю сопку Затылиху прикрывал Корж. Барс лежал рядом, повизгивал, хватал воздух зубами, когда осы пролетали над ухом.

В десяти шагах от Коржа отделенный командир Гармиз

разрывал пакеты с бинтами. Черт знает сколько горячей крови было в начальнике! Она вышибала тампоны, пробивала бинты и рубахи, дымилась на промерзших камнях. И все-таки волосатое тело Дубаха не хотело умирать, дышало, ежилось, вздрагивало.

Гармиз был плохим санитаром. Он извел четыре бинта, прежде чем спеленал командира.

Странное дело: кровь уходила, а тело становилось все грузнее и грузнее. Наконец, оно стало таким тяжелым, что Гармиз понял – придется драться одним. Он прикрыл начальника плащом и побежал к Зимину менять диск.

Брезентовый плащ мешал Коржу работать. Он скинул его и остался в одной гимнастерке. Холода он не замечал. Трое солдат, медленно извиваясь в траве, ползли к солонцам. Он перенес на них огонь, раздавил одного. Двое успели укрыться.

Гармиз взял плащ и, оттащив его метров на двадцать в сторону, поднял сучками капюшон над травой.

– Пускай упражняются, – сказал он, вернувшись.

– Где начальник? – спросил Корж.

– Возле ручья.

– Ранен?

– Не знаю.

Очередью, короткой, как окрик. Корж придержал группу солдат возле дубков. Два японца слева снова оживились и перебежали через солонцы.

Лента кончилась.

– Упустил! – крикнул Корж.

И вдруг капюшон плаща разлетелся в клочья. Белик кинулся навстречу гранатометчику, но Зимин уже сшиб со склона два шлема.

«Максим» гулко раскашлялся навстречу бегущим солдатам. Затем наступила пауза, прерываемая только отрывистыми винтовочными выстрелами. Барс выставил вперед уши и звонко чихнул.

– Салют микаде! – заметил Корж.

– Отступают? – спросил Велик, обрадовавшись.

– Нет, перекурку устроили.

Острый камень колот Коржу бок. Он отшвырнул его, лег еще плотнее, удобнее. Никакая сила не могла вырвать теперь его из каменной чаши, усыпанной гильзами. Он слышал голоса товарищей, окликавших друг друга. Красноармейцы отвечали командиру взвода, как на утренней перекличке: приемисто, коротко. Трое не ответили вовсе. Но когда голоса добежали до левого фланга, Корж громко ответил:

– Полный!

Барс снова чихнул. Из дубняка тянуло не то кислым запахом пороха, не то кизячным дымком.

Корж выглянул из-за щитка и выразительно свистнул. Горели луга. Рваной дугой изгибалось неяркое, почти бездымное пламя. Было очень тихо. Над лугами дрожал горячий воздух. Японцы молчали.

Вскоре ветер усилился. Костры, зажженные солдатами в разных частях поляны, слились в один полукруг. Три полосы: голубая, рыжая и седовато-черная – дым, огонь и выжженная трава – приближались к сопке. Сладковатый запах гари уже пощипывал ноздри. Несколько красноармейцев вскочили и стали вырывать траву на гребне. Затем смельчаки спустились еще ниже, чтобы поджечь багульник и создать защитную полосу пепла прежде, чем на сопку

взберется огонь. Тогда с той стороны заговорили винтовки и «гочкисы».

Вслед за пламенем перебежали солдаты. Стали видны простым глазом их жесткие стоячие воротники, гладкие пуговицы и бронзовые звезды на касках. Маленькие и настойчивые, они напоминали назойливых насекомых.

Корж прижимал их к земле. Он чувствовал злость и могучую силу «максима». До тех пор пока пулемет пережевывал ленту, солдаты были во власти Коржа. Он мог нащупывать их за камнями, подстерегать, настигать на бегу. Охваченный яростью к цепким ядовитым тварям, он не терял головы. Искал... отбрасывал, рассекал.

...Тем временем пламя подкралось к сопке и исчезло из глаз. Сильнее потянуло дымом. Белик поплевал на пальцы и смазал глаза. Корж сделал то же. «Чадит, – подумал он с облегчением, – значит, кончилось». Внезапно стая фазанов выскочила из травы и, размахивая короткими крыльями, помчалась по гребню. Их сиплые голоса звучали испуганно. Пара бурундуков наткнулась на Барса, подпрыгнула и, точно по команде, бросилась вправо. За бурундуками зигзагами бежали перепелки. Подгоняя рыльцем подругу, прошел еж. Все, что жило в этой рыжей траве, – пернатое, четвероногое, покрытое иглами, мехом, – карабкалось по склону, спасаясь от огня.

Потянуло сухим зноем. Воздух над сопкой поплыл волнами.

Горбы сопки стали двойными.

– Рви! – крикнул Корж.

Белик скинул плащ и выполз вперед. Он запустил руки по плечи в могучую пыльную кожу сопки. Ломал, мям,

выдергивал жилистый щавель, стволы будяка, рвал крепкую, как проволока, повилику. Но что могли сделать пальцы бойца, если косы не брали здешнюю траву?

Огонь опередил его, забежал с тыла к Коржу. Белик схватил плащ и, ползая на коленях, душил желтые языки. Барс метался сзади, цеплялся за гимнастерки пулеметчиков и звал людей назад.

Люди не шли. Нельзя было уйти, потому что Мать своим грузным телом закрывала две пади. Тот, кто терял гребень, уступал точку опоры.

Четыре стрелка били с сопки. Били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, придерживали дыхание, спуская курок.

Ветердохнул в лицо Коржу огнем. Пулеметчик утопил голову в плечи. Языки проскользнули под «максим», и краску на коже повело пузырями.

Пулеметчик крикнул Белика, но вместо повара отозвался кто-то картавый, чужой.

— Эй, русский! — крикнул картавый. — Оставь напрасно стрелять...

Корж хотел крикнуть, но побоялся, что голос сорвется.

— Вр-р-решь! — ответил «максим» картавому.

— Эй, брат! Оставь стрелять!

— Вр-р-решь! — отозвался «максим».

Раздался взрыв ругательств. Озлобленные неудачей, прижатые пулеметом к земле, солдаты обливали руганью обожженного, полумертвого красноармейца.

Они кричали:

— Эй, жареная падаль!

Они кричали:

– Ты подавишься кишками!

Они кричали:

– Собака! Тебе не уйти!

Пулеметчик не слышал. Ему казалось, что горит не трава – кровь, что живы в нем только глаза и пальцы. Глаза искали картавого, пальцы давили на спуск.

Наконец, пулемет поперхнулся. Солдаты взбежали на гребень.

– Стой! Оставь стрелять! – закричал Амакасу.

– Вр-р-решь! – ответили «максим» и Корж.

Это было последним дыханием их обоих.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

– Они попали в мешок, – сказал Дубах, придерживая коня. – Мы приняли лобовой удар, а тем временем эскадрон маневренной группы... Видите вот этот распадочек?

Всадники обернулись. Всюду горбатились сопки, одинаково пологие, мохнатые, испещренные яркими точками гвоздик. Всюду синели ложбины, поросшие дубняком и орешником.

Был полдень – сонный и сытый. Птицы умолкли. Только пчелы, измазанные в желтой пыли, ворча, пролетали над всадниками.

– Не различаю, – признался Никита Михайлович.

– Не важно... Падь безымянная. А сыну вашему придется запомнить: эскадрон на галопе вышел отсюда и смял левый фланг японцев... Одной амунии две тачанки собрали.

– Говорят, им по уставу отступать не положено.

Дубах улыбнулся – зубы молодо сверкнули под пшеничными усами. Даже от черной повязки, прикрывающей глаз, разбежались колючие лучики.

– Ну, знаете, они не формалисты, – сказал он лукаво. – Господин лейтенант, как его, Амакаса... тот, я думаю, сто очков братьям Знаменским даст.

– Ушел?

– Нет, раздумал. Вернее, его Нугис уговорил. Не видели? Очень убедительный человек. Любопытно вот что, – заметил Дубах, вводя коня в ручей. – Когда стали перевязывать раненых, оказалось, что почти вся самурайская гвардия под хмельком. С маньчжурами еще удивительнее: зрачки расширены, сонливость, потеря чувствительности. Врачи утверждают действие опия.

– Под Ляоянем нам водку давали, – вспомнил Никита Михайлович. – Полстакана за здоровье Куропаткина.

Он собирался уже начать рассказ о памятной маньчжурской кампании, но Павел поспешно перебил отца:

– А как же японцы?

– Возвратили... Двадцать три гроба, шестнадцать живых. Нам чужого не нужно.

– С церемонией?

– Не без этого... Их майор даже речь закатил. Говорил по-японски, а кончил по-русски: «Я весима радовался геройски подвиг русскэ солдат». Пересчитал трупы, подумал и еще раз: «Очиэн спассибо!» Капитан Дятлов по-японски: «Не за что, говорит, а качества наши всегда при себе».

Они подъехали к заставе. Здесь было тихо. Двое красноармейцев обкладывали дерном клумбу, насыпанную в виде звезды. Возле них в мокрых тряпках лежала рассада.

На ступеньках казармы сидел белоголовый, очень добродушный боец. Он подтачивал клинок бруском, как делают это косари, и комариным голосом вытягивал длиннейшую песню.

За ручьем, где лежал манеж, фыркали кони, слышалась отрывистая команда.

Как всегда, казарма жила в нескольких сутках сразу: для одних день был в разгаре, для других еще не начинался. В спальнях, на подушках, освещенных солнцем, чернели стриженные головы тех, кто вернулся из тайги на рассвете.

Начальник подошел к окну и опустил штору. Подбежал дневальный.

– Не надо зевать, – ворчливо сказал Дубах.

На цыпочках они прошли в соседнюю комнату. Здесь за столом сидели Белик и Илька. Повар наклеивал в «Книгу подвигов» газетные заметки о Корже. Илька обводила их цветным карандашом.

На снимках Корж был суровей и красивей, чем в жизни. Илька оглядела Павла и строго спросила:

– А вы правда Корж? Вы сильный?

Павел согнул руку в локте.

– Ого! А вы на турнике солнце можете сделать? А что вы умеете? Хотите, покажу, как диск надевать?

– Началось! – сказал Дубах смеясь.

Хмуря брови, Илька обошла вокруг Павла.

– Заправочки нет, – заметила она озабоченно. – Ну, ничего Только, пожалуйста, в наряде не спите.

– Хотите видеть нашу библиотеку? – спросил Дубах. Он открыл шкаф и вынул огромную пачку конвертов.

Все полки были заложены письмами. Здесь были кон-

верты, склеенные из газет, и пергаментные пакеты со штампами, открытки, брошенные на железнодорожном полустанке, и большие листы, испещренные сотнями подписей. Телеграммы и школьные тетради, стихи и рисунки.

Никита Михайлович нерешительно развернул один из листков. Это было письмо мурманского кочегара.

«Извините за беспокойство, – писал кочегар. – У вас сейчас дозорная служба, а я человек, свободный от вахты, и мешаю участием. Горе наше общее и гордость тоже. Пересылаю вам поэму на смерть товарища Коржа (тетрадь первая). Остальное допишу завтра, потому что с шести мне заступать. Товарищ командир! Прочтите ее, пожалуйста, как голос советского моряка, на общем собрании».

– Все зачитать было нельзя, – сказал Белик. – Там, где касается японцев, он как бы на прозу срыгается.

Никита Михайлович молчал. Он растерянно рылся в пиджаке, перекладывая из кармана в карман то очечник, то пулеметную гильзу, подобранную утром на сопке. У него тряслись руки. Ни путешествие к месту боя, ни вчерашний выход в наряд вместе с товарищами сына не взволновали старика так, как этот переполненный письмами шкаф.

Он торопливо надел очки, сел за стол и громким стариковским тенором стал читать письма, адресованные заставе. Писали московские ткачихи, парашютисты Ростова, барабинские хлебопеки, подводники, геологи, проводники поездов, народные артисты, ашхабадские шоферы. Писали из таких дальних городов, о которых старый Корж никогда прежде не слышал.

Это были письма простые и искренние, письма людей,

которые никогда не видели и не знали Андрея, но хотели быть похожими на него.

«Дорогие товарищи пограничники! – читал Никита Михайлович. – Мы не можем к вам приехать сегодня, потому что, во-первых, идут зачеты по географии и русскому языку. А во-вторых, Алексей Эдуардович сказал, что ехать сразу – это будут партизанские настроения. Просим вас записать нас заранее в пулеметчики. Мы будем призываться в 1943 году и сразу приедем на смену товарищу Коржу. Пока посылаем пионерский салют и четыре лучшие мишени».

– Эту штуку надо списать, – сказал Никита Михайлович.

Но писем было так много, что он вздохнул и стал читать дальше.

«...Цоколь памятника предлагаю высечь из лабрадора, а самую фигуру поручить каслинским мастерам. Пусть медный боец вечно стоит на той сопке, где он отдал Родине жизнь».

«...Верно ли, что он умер от потери крови? Да неужели же такому человеку нельзя было сделать переливание или вызвать из города самолет?»

«...Мы, шоферы 6-й автобазы, обещаем подготовить четырех снайперов».

Бережно разглаженные ладонями Белика, лежали телеграммы, слетевшиеся сюда со всех краев Родины:

«...Медосвидетельствование прошел. Имею рекомендацию ячейки и краснознаменца директора. Разрешите выехать на заставу».

«...Телеграфьте: Калуга, Почтовый ящик – 16. Прини-

маете ли добровольцами девушек. Имею значок ГТО. Образование среднее».

«...Выездная труппа будет в первых числах мая. Готовим «Платона Кречета», «Славу». Сообщите, можно ли доставить выюками часть реквизита».

«...Молнируйте: Москва, Трехгорная мануфактура. Имеет ли товарищ Корж детей. Берем ребят свои семьи».

Давно вернулись с манежа бойцы. Ушел, извинившись, начальник, и Белик увел с собой Павла. В казарме уже собирались в дорогу ночные дозоры, а Никита Михайлович все еще сидел за столом и громко читал взволнованные письма незнакомых людей.

Никогда еще он не чувствовал, что мир так широк, что столько тысяч людей искренне опечалены смертью Андрея. Он вспомнил размытую дождями дорогу к Мукдену, штаб полка, письма с тонкой черной каймой, наваленные в патронный ящик, и кислую бабью физиономию писаря, проставлявшего на бланках фамилии мертвецов. Получила бы жена такой конверт, если бы его, Никиту Коржа, разорвала шимоза?

...Перед ним лежала груда писем. Горячих, отцовских. Не ему одному всем был дорог озорной остроглазый Андрюшка... Он перевел взгляд на стену, где висел портрет Андрея Никитича Коржа. Художник нарисовал сына неверно: рот был слишком суров и брови черные, но глаза смотрели по-настоящему молодо, ясно, бесстрашно.

Никита Михайлович снял очки и облегченно вздохнул. В первый раз после памятной телеграммы он не чувствовал боли.

...Он вышел во двор. На площадке перед казармой

бойцы играли в волейбол. Это был крепкий, дружный народ, возмещавший недостаток тренировки волей к победе. Черный мяч, звеня от ударов, метался над площадкой. Раскрасневшиеся лица и короткие возгласы показывали, что бой идет не на шутку. На ступеньках крыльца с судейским свистком в зубах сидел Дубах.

В одной из команд играл Павел. Маленький, больше-ротый, густо крапленный веснушками, он поразительно походил на Андрея. Только глаза у него казались светлее и строже.

Младший Корж играл цепко.

– Держи! – крикнул Нугис.

Это был трудный, «пушечный» мяч. Он шел низко, в мертвую точку площадки.

Павел рванулся к нему, ударил с разлету руками и растянулся на площадке. Мяч, гудя, пролетел над сеткой и упал возле Нугиса.

Дубах забыл даже свистнуть. Он посмотрел на отчаянного игрока и зашевелил усами:

– Ого! Узнаю Коржа по хватке!

Никита Михайлович приосанился, гмыкнул.

– Какова березка, таковы и листочки, – сказал он с достоинством.

– Каков лесок, такова и березка, – ответил начальник.



ИВАН КРАТТ

ПЕРЕВАЛ

Казалось, безмолвие продолжалось всегда. Не было ветра и шороха камней, обледенела осыпь. Белые горы лежали вокруг, пустынные и тихие. Внизу тянулась бескрайняя тундра, а за ней океан, немой, скованный первым торосистым льдом.

С тех пор как затихла пальба и по ущелью фиорда уплыл желтый дым, молчание полярного дня стало еще ощутимей. Сивай остановился, медленно скинул лямку. Маленькие сани послушно скользнули в сторону. Плотный, немного сутулый, в большой рысьей шапке, обрамлявшей лицо, он устало сел на камень.

Идущий сзади не сказал ни слова. Отодвинув упавший ремень нарт, он тоже остановился и тоже присел рядом. Лишь резко дернул поводок пса. Тот прижал уши, оскалил пасть. Затем лег в снег.

Несколько минут люди молчали. На стволы винтовок, на металлические пряжки ремней оседал иней, смерзалась шерсть воротника. Было очень холодно в этой каменной пустыне. Со вчерашнего дня мороз усилился, и только непрерывное движение спасало от стужи. За сутки они прошли восемь километров, ни разу не сложив костра.

Временами они наблюдали легкие витки дыма на окрестных скалах – солдаты противника жгли вересковые костры, грелись, варили пищу в своих землянках. По расположению дымков видно было, что перевал занят прочно, умело, никому не пройти через каменные горбы.

Второй наконец не выдержал тягостного молчания. Стряхнув рукавицей с валенок снег, он круто повернулся, так что скрипнул под ногами наст, глянул на товарища.

— Сивай, – сказал он негромко. – Куда мы идем?

Сухопарый и низенький, он казался еще меньше в своей оленьей куртке, перекрещенной наплечными ремнями, в беличьей длинноухой шапке. Движения его, всегда аккуратные и скупые, сейчас были порывисты и неровны.

Теперь промолчал Сивай. Не оборачиваясь к нартам, он встал, поднял лямку, накинул ее на плечо и снова побрел вперед. В снежных наметах отчетливо обозначились его следы. Пес тоже вскочил, рванулся за ним, но плетеный повод удержал на месте. Хозяин хотел крикнуть, выругаться, однако и на этот раз сдержался. Надвинув шапку почти до переносицы, угрюмо зашагал сзади.

Двое их уцелело из всей разведки, посланной во вражеский тыл штабом армейской группы. Готовилась большая операция против крупных сил неприятеля в восточном секторе фронта. Противник тоже накапливал силы. Нужно было предупредить и разгадать его маневр, иначе дивизия горных стрелков не сможет развернуть наступление и окажется отрезанной за перевалом. В полярных условиях это означало смерть.

Молчаливый дальневосточник лейтенант Сивай и лейтенант Колпаков только вдвоем ушли после трехдневного боя. Тринадцать разведчиков один за другим погибли в горах, давая возможность пройти двоим. Бойцы умирали, чтобы спасти всю операцию: командиры несли неоценимые документы.

Добраться нужно было как можно скорей, и единст-

венный путь лежал через горный скат, занятый теперь неприятелем. Каждый камень и выступ скалы был превращен в засаду, на каждом утесе гнездилась пулеметная точка. Была тропа внизу, в долине, но чтобы по ней выйти к своим, потребовалось бы две недели... Путь, по которому можно еще спастись...

Колпаков шел сзади, утомленно и беспокойно вглядываясь в гранитные отроги, часто отступая за камни, если дымки впереди становились гуще. Несколько раз он готов был крикнуть Сиваю, по-прежнему осторожно шагавшему под прикрытием скал. Лейтенанту казалось, что Сивай движется чересчур открыто и что все дальнейшее продвижение ненужно, бессмысленно.

«Все равно опоздаем... — думал он с горечью и ожесточенно дергал ременный повод собаки, когда та останавливалась у выступа. — Пропадем, как псы...» Но он больше не пробовал заговорить с товарищем, тяжело брел по наметам и молчал.

Каменистые надолбы скоро кончились. Впереди простиралось голое, обдутое ветром плато, а за ним укрытые снегом бугры хребта. Дымки по всему кряжу указывали расположение вражеских блиндажей. Дальше идти нельзя.

Приближался вечер. Мутное небо становилось темнее, медленно тускнел снег. Из фиорда внизу потянул ветер, взвихрил верхушки сугробов, зашелестела в расщелинах сухая трава. Мороз увеличивался, на воротниках курток нарастали сосульки, побелела и курчавилась шерсть собаки. Пес останавливался чаще, поднимал одно ухо, тревожно вслушивался в шорохи между скалами. Потом нюхал воздух и долго стоял на месте. Близость жилья волновала его.

А на перевале было все так же безлюдно и тихо, никакого движения не замечалось среди снегов. Только дым стал темнее и выше, несколько раз прочертили сумерки искры костров. В землянках готовились к ночи, топили печурки, не жалея вереска.

Сивай дошел до последнего выступа. От усталости и напряжения немели ноги, ныло контуженное взрывом снаряда плечо. Хотелось опуститься на камень, закрыть глаза, ни о чем не думать. Лишь бы уйти от этой ненавистой тишины, от неустанных, не дающих покоя мыслей. Усилием воли он заставил себя встряхнуться, выпрямился, достал бинокль, медленно, с большим трудом навел стекла на вражеские бугры. Все было спокойно. Цепь укреплений тянулась по всему хребту, и пройти между огневыми точками не смогла бы и рысь. Колпаков прав. Здесь, пожалуй, дорога кончилась.

Колпаков понял состояние Сивая. Не говоря ни слова, не глядя в сторону дымовых столбов, он двинулся в углубление за утесом, притоптал снег и, потянув к себе пса, решительно уселся в затишном месте. Наступала ночь, нужно было переждать до утра. А затем придется вернуться обратно. От возмущения он даже не сорвал травы, чтобы устлать дно выемки, и только молча посторонился, когда товарищ принес охапку вереска и мерзлого, пересохшего мха.

Никто ничего не говорил. Сивай осторожно, прикрывшись полою ватника, разжег свою трубку, медленно раскурил ее. В отсвете огонька видно было, как таял на ресницах иней. Он сидел тихо, не двигаясь, будто сразу уснул.

Колпаков тоже не шевелился. Подняв воротник куртки,

засунув пальцы в рукава почти до самых локтей, он пытался сохранить тепло. Повозившись у ног хозяина, затихла и собака. Стало совсем пустынно и глухо, слышно было, как осыпался сдуваемый ветром с каменного навеса снег.

Однако Сивай не спал. Даже переутомление, боль в плече не могли заставить его забыть хоть на минуту всю тяжесть ответственности. Разведка дала новые и настолько важные сведения, что их нужно было доставить немедленно, а стараться пробиться через хребет означало верную смерть.

Он никогда не был трусливым. Двенадцатилетним еще парнишкой проделал путь в восемьсот миль по Анюю один с мертвой матерью в ветхой юкагирской лодке. Он уходил тогда из проклятого богом селения. Отец — старый золотоискатель погиб вместе со всеми во время чумы. Мать скончалась в пути, и мальчик вел легкий карбас, ни разу не приставая к берегу. Наступала зима, по реке шла тяжелая шуга, лодка неслась мимо нависших, присыпанных снегом скал, мимо голой, безрадостной тундры. Изредка проплывали, словно уходя навсегда в небытие, древние каменные пещеры вымерших поселений.

Налетали громадные вороны, нагло клевали труп женщины. Мальчик даже не мог отогнать их веслом. Не мог уже и кричать. И все же ночью и днем в отблесках тусклого, холодного солнца виднелась на корме согнутая упрямая фигурка.

Это было двадцать лет назад. Он много думал о смерти, часто встречая ее за годы странствий, за время двух войн. Совсем взрослым он научился грамоте; позже, забившись в тайгу с тючком книг и ружьем для пропитания, в четыр-

надцать месяцев одолел курс семилетки. Кончил военную школу. Пытливый и жадный, силился узнать многое, и жизнь казалась ему драгоценным даром...

Трубка давно погасла. Стемнело окончательно, невидными стали утесы и скалы, лишь у самого навеса неярко мерцала снежная коса. Казалось, прошло много времени, но, глянув на светящийся циферблат часов, Сивай увидел, что еще только шесть вечера. Предстояла трудная, холодная ночевка, а на рассвете нужно пробираться вперед, через вражеские позиции. Иного выхода нет.

Приняв решение, Сивай усмехнулся, шевельнул отеками ногами. Необходимо устраиваться поудобней. От его движения проснулась собака, подняла голову.

— Лежи, — негромко сказал Сивай. — Так теплее.

Он совсем успокоился. Наступающая ночь и предстоящая утром попытка перевалить горный кряж не казались ему уже такими тяжелыми. Хотелось подбодрить товарища. Но Колпаков на его оклик не отозвался. Поджав ноги, скорчившись, он сидел неподвижно, будто давно спал.

— Семен, — позвал еще раз лейтенант тихонько. — Возьми сухарь.

Колпаков снова не отозвался. Сивай нахмурился и больше не заговаривал. Он чувствовал, что спутник его только притворяется спящим.

Сжевав галету, кинув вторую собаке, лейтенант плотнее запахнул свою куртку и, прислонившись к неровной стене, терпеливо закрыл глаза. До рассвета оставалось много часов. Нужно сберечь силы.

Темень стала еще непроглядней. Не видно было уже снежного бугра, исчезли очертания скал. Лишь на перевале

по-прежнему сочились искры костров. Противник караулил проходы.

К концу ночи ветер утих. Мрак понемногу редел, за горным кряжем обозначилась полоса рассвета, медленно выступили зубчатые, темные гольцы. Костры в землянках потухли, не было ни дыма, ни искр. Полная тишина окружала долину, заснеженный скат перевала.

Колпаков продолжал укладываться. Он немного согрелся, движения его были спокойны и неторопливы. Лишь путались в ремнях коченевшие пальцы. Ему хотелось думать, что он сделал все возможное и теперь не о чем говорить. Он не боится, но идти вперед – безумие. Двое людей ценнее одного пакета. Задача командования – беречь свои кадры, война не на один день... Однако в глубине сознания бродила противная незатихающая мысль о простом, животном страхе смерти.

Он знал цену своего поведения...

И то, что он предложил Сиваю разделиться, принести сведения порознь, чтобы хоть часть их была доставлена даже немного позднее, теперь представлялось ему в голом, неприкрашенном свете. Он просто трусил и опять пытался обелить свой поступок... Но внешне он был прав.

Сивай больше не уговаривал. Молча курил трубку, гладил голову пса. Когда наконец Колпаков взвалил рюкзак на плечи и никак не мог пристегнуть ремень, Сивай не спеша поднялся, помог зацепить пряжку.

— Ну, прощай, Семен, — сказал ему коротко. — Случится, дойдешь, а меня не будет, кланяйся нашим...

Пес тоже поднялся, недоумевая глядел на обоих. Большой и шумный человек никуда не двигался, уходил

только хозяин. Все еще не понимая, пес ткнулся ему в колени, потом кинулся к Сиваю, словно приглашая идти. Но лейтенант только стиснул лохматую морду недавнего друга и остался на месте.

— Иди, — буркнул он притворно сурово. — Ишь, еще прощается!

Сивай долго глядел им вслед. Небо постепенно светлело, ширилось над горами оранжевое марево. Из вражеских блиндажей снова закурились дымки, далеко по снегу прошли несколько лыжников. Как видно, менялись секреты.

Колпаков шагал не останавливаясь, торопливо обходя наметы, все время держась под защитой скал. Становилось светлее, отчетливо была приметна его невысокая, с легким заплечным мешком фигура, собака на коротком поводке. Потом у поворота, перед спуском в каньон фиорда, оба остановились, человек обернулся, и Сиваю показалось, что тот колеблется... Но это продолжалось недолго. Колпаков вдруг махнул рукой, потянул за ремень собаку, и они пропали за скалистым выступом. Ушли, чтобы вернуться в жизнь...

Сивай не завидовал и не злился. Приказать остаться, идти с ним — не захотел. Он был почти уверен в истинных побуждениях Колпакова, но формально не мог к нему придаться. Кто знает, что может случиться на перевале?.. Зато появилось помимо воли и не исчезало чувство облегчения от его ухода. Все документы Сивай удержал при себе, передал товарищу только копию плана расположения немецко-финских укрепленных батарей. Давать другие было бесполезно, — Колпаков доберется, когда сведения

уже будут не нужны. Теперь остался лишь расчет на себя, на почти невозможное..

Он вдруг опять усмехнулся, вытер рукавицей индевевшие брови. Стало спокойно и просто, как в детстве, когда мучивший весь день проступок был рассказан матери... Он неторопливо съел консервы, все лишнее сложил под камнем, притоптал снег. С собой взял пистолет и нож, два коробка спичек, несколько галет. Затем в последний раз огляделся.

Сзади лежала тропа, по которой ушел Колпаков, по ней мог уйти и он... Медленно уплывал над фиордом туман, оранжевый свет пропал, белесое небо и снег сливались далеко внизу на горизонте. А впереди утесы замыкали круг, и перед ним простиралось плато, белое, ровное, открытое со всех сторон. Лишь кое-где чернели на снежной пелене острые выступы валунов.

Сивай опустил бинокль, передохнул, снова навел стекла, разглядывая каждую выемку, каждый бугор. Но ничего нового найти не мог. Пробраться на виду у неприятельских снайперов невозможно. Надо искать иного пути.

Словно в подтверждение его размышлений, из-за утеса выкатился большой полярный заяц, присел, затем легкими скачками направился через скат. Если бы Сивай не видел появления зверька, теперь бы он его не заметил. Белая шерсть почти не выделялась на чистом пушистом снегу. Заяц уже достиг середины плоскогорья, остановился, и в тот же момент стукнул короткий звук выстрела, над краем всплыло сизое облачко. Зверек метнулся в сторону, вскинулся, затем упал мордой в снег. Больше он уже не поднимался. Скрытый за камнями снайпер стрелял без промаха.

Сивай невольно прижался к скале. Баранья куртка его давно стала грязной, среди первобытной белизны могла служить отличной мишенью. Но самое главное – нельзя было обнаружить себя. Тогда уже пройти никогда не удастся.

Снова стало пусто и тихо. Треснул остуженный камень. Над горами пролетел маленький, невзрачный орел. Сивай не двигался. Чувство беспомощности, одиночества овладевало им все сильнее, и вместе с ним росло и упорство, желание во что бы то ни стало найти выход. О возвращении он не думал. От напряжения болела голова, давно похолодели пальцы, смерзались ресницы. Однако он продолжал стоять за выступом, в сотый раз перебирая невыполнимые планы.

Остановился он на одном. У края плато чернела груда камней, за ней обрывались вниз гранитные скалы. Они уходили на дно ущелья, образуя прямую, неприступную стену. Издали были видны отвесные бока каньона, без выступов и расщелин. Никакой надежды где-нибудь зацепиться, одолеть это чертово место.

И все же Сивай решился. Прошло уже почти двое суток с тех пор, как добыты сведения, оставалось совсем немного времени... Осторожно, стараясь не высунуться из-за прикрытия, лейтенант лег позади длинного сугроба, перегородивающего вход в углубление, принялся медленно разгребать снег. Намет поддавался легко, но работать приходилось, не поднимая головы, вытянув руки вперед, напрягая все мускулы, и Сивай быстро устал. Шея и грудь разведчика были мокры от пота; стыли, коченели пальцы. Однако он двигался все дальше и дальше, упрямо пробивая снеговую толщу.

Наконец сугроб был пройден. Сивай передохнул, погрел руки, тихонько поднял над траншеей голову. Линия хребта теперь чуть подвинулась влево, крайний утес загордил убитого зайца, одно из вражеских гнезд. Но между лейтенантом и краем плато лежала полоса чистого, нетронутого снега. Ни единого пятнышка не виднелось на этом белом пространстве, ни пучка травы, ни камня. Правда, полоса тянулась не шире чем на двадцать метров и находилась значительно ниже середины плоскогорья. Был шанс, зарываясь в снег, снова проползти незамеченным.

И опять разведчик пополз. Снеговой покров оказался здесь плотным, недавние ветры утрамбовали прогалину. Приходилось уже не просто отодвигать в сторону пушистую массу, а вгрызаться в каждый вершок наста, в обледенелый, затвердевший под снегом мох. Пальцы почти не слушались, трудно было удержать рукоятку ножа. Чужими, тяжелыми стали ноги, осколки ледяшек и снег били в лицо, слепили. От невероятного усилия зарыться поглубже, распластаться, от ожидания каждую секунду сухого звука выстрела кружилась голова, знобило. Казалось, этому переходу не будет конца...

Сивай теперь не думал о Колпакове, о новых трудностях. Единственная мысль, желание, воля были сосредоточены на узкой лежавшей перед ним полосе снега. Нужно ее переползти, иначе он не доберется никогда...

Когда он наконец достиг каменной гряды, была уже половина дня. Слепое, без лучей, солнце висело над горами, далеко на горизонте темнел океан. И то же безмолвие окружало плоскогорье, холодная, застывшая тишина. Сейчас разведчик обрадовался этому молчанию. Оно озна-

чало, что часть пути выполнена, невозможное оказалось преодолимым.

Не поднимаясь, Сивай достал из кармана раскрытую галету, съел ее, затем уже уверенно пролез к зубчатому краю обрыва. Здесь вражеские снайперы его не заметят, и можно начать вторую, самую трудную часть перехода.

Воткнув нож в расщелину, он отдыхал. Собственно говоря, это был не отдых, не полный покой обессиленных, напрягшихся мышц. Ноги его по-прежнему держались на узком обледенелом подобии карниза, и лишь в руках на минуту чувствовалось облегчение. Сивай карабкался уже не один час, вгоняя в случайные щели лезвие своего ножа, нащупывая каждый выступ, каждую зазубрину в голой стене каньона.

Плоскогорье с огневыми точками врага осталось далеко вверху, где-то внизу находилось дно ущелья. Он висел на страшной высоте, и единственной опорой была тонкая полоса железа. Давно прошли голод и жажда, пропало ощущение холода, не мерзли больше руки. Внутренняя сосредоточенность, напряжение были так велики, что слышалось, как бьется и пульсирует самая незначительная ниточка нерва.

Сивай старался не глядеть вниз. Однажды ему показалось, будто он видит далеко в просвете между каменистыми щеками фиорда кусочек снежной равнины и на ней темные движущиеся точки. Одна из них была совсем маленькой, почти неприметной. Точки передвигались быстро и скоро исчезли.

—Колпаков... — прошептал он с усилием. — Тебе легче...

Он слизал капли пота, стекавшие на сухие, потрескав-

шиеся губы, Снова воткнул в расщелину нож. Дрожали руки, темнело в глазах. Невероятная тяжесть давила мозг. Хотелось разжать пальцы, выпустить липкий черенок ножа, почувствовать хоть на мгновение облегчающую силу полета... Были моменты, когда неожиданно углублялась щель, по ней можно вернуться наверх. Он стискивал веки и, собрав остатки сил, торопился ее переползти...

Порой выключалось сознание, он переставал понимать. Впереди находился выступ, к нему он должен добраться. Должен. Он забывал – почему. Мысли путались, представлялось, что так кончается жизнь. Но именно это *должен*, маячивший выступ приковывали его внимание, и он двигался. Иногда казалось, что выступ качается, сейчас упадет. Он торопился достичь его раньше... В минуты просвета он сосал разбитые до костей, израненные пальцы. Соленый вкус крови возвращал память.

Серая завеса снова укрыла солнце, пошел мелкий снег. Потом впервые за эти сутки долетели отзвуки залпов береговых батарей. Снаряды шли на большой высоте, слышался протяжный свист, разрывы. Орудия противника молчали. Сивай знал, что их здесь не было, противник копил удар с фланга, пользовался отсутствием точных данных разведки. Сведения находились у него, лейтенанта Сивая...

Канонада заставила его вострепнуться. Впившись зубами в черенок ножа, освободив руки, он яростно уцепился за голый шероховатый выступ, одолел его, еще раз передвинул лезвие. Мысли о смерти, покое больше не давили, отхлынула кровь от разгоряченного мозга. Он сопротивлялся – значит, он еще жил.

Теперь стало легче – помогали зубы. Он даже усмехнулся, увидев на противоположной стороне большого напуганного лоса. Взрывы выгнали сохатого искать убежища. Огромный, откинув рога на спину, стоял он на краю скалы. Видно было, как дрожала его заиндевшая волосатая морда.

Плотный и широкоплечий Сивай осунулся, вытянулась шея, запали щеки. Когда он висел над пропастью, зажав зубами рукоятку ножа, цепляясь за малейшую неровность скалы, упираясь ногами в каменные складки, он казался беспомощным, сгорбленным подобием человека. И все же он передвигался.

Приближался вечер. Снизу напелзал туман, уже не видно было краев ущелья. Порозовели и снова стали тусклыми вершины гор. Разведчик не видел этого, он полз и карабкался и опять полз, изредка отдыхая на каком-нибудь уступе. К концу дня он сделал почти триста метров. Сейчас он, наверное, уже был на другой стороне плоскогорья.

Добравшись до первой большой выемки, Сивай сразу уснул. Силы иссякли окончательно. Он лежал очень близко от неприятельского блиндажа, сооруженного наверху плато. Там громко разговаривали, бренчали посудой, кто-то играл на окарине. Шла ночь, на западе бухали пушки, мигали сквозь тьму отблески далеких огневых вспышек. Сивай ничего не слышал, спал глухо и крепко, как усталый зверь.

Утром он проснулся от ощущения холода. Некоторое время Сивай не мог ничего сообразить, потом вспомнил, беспокойно зашевелился, попробовал встать. Щель была довольно просторной, можно свободно повернуться. С

облегчением он убедился, что ноги не окоченели, слушались. Только невероятная слабость овладела всем телом. Разведчик хотел подкрепиться, что-нибудь съесть, но последние вещи он выбросил еще вчера. Все же сон освежил его, по крайней мере он мог снова двигаться. Сивай слизал с камня снег, подтянул унты, внимательно огляделся.

Стало светло. Справа между сопками алела снеговая равнина, над крайним увалом выползло рыжее солнце. Кругом было тихо, лишь сверху Сивай уловил лязгающие тяжелые звуки металла. Видимо, там перетаскивали на тягачах пушки. Значит, он действительно находился рядом с первой линией укреплений.

Это его обрадовало. Теперь через сотню метров можно выбраться из ущелья на горную тропу. Он ждал ее как избавления. Слабость не проходила, а еще больше увеличивалась, и, что страшнее всего, распухли пальцы. Два из них на левой руке начинали чернеть. Второпях он сперва ничего не заметил.

Чтобы не поддаваться, он торопливо нашарил для ножа расщелину, пытался повиснуть, карабкаться дальше, но почувствовал, как вяло напряглись мускулы, почти не согнулись пальцы. Он мотнул головой, упрямо пробовал дотянуться до скважины и неожиданно выпустил нож. Зазвенев и подскочив на уступе, нож скатился на дно каньона.

Сивай сидел долго, неподвижный, почти равнодушный. Кончалась жизнь... Не было ни страха, ни сожаления. Безграничная усталость парализовала волю, хотелось уснуть и больше не двигаться никуда. Мешал только грохот над головой, нарастающий, нестерпимый. Он невольно прислушался к нему, словно ждал, когда тот кончится. Потом

долей сознания уловил еще какие-то звуки, человеческие голоса. Инстинкт заставил еще раз очнуться. Голоса вернули представление о настоящем, о враге, о предстоящем наступлении. Упираясь кистями рук, он поднялся и медленно полез по выемке кверху. В самый лагерь противника.

Пули цокали сухо и четко, слышно было, как свистели осколки гранита. Иногда приходилось лежать за камнем бесконечно долго. Потом, когда утихала пальба, Сивай снова сворачивал в снег. Он полз зигзагами, собрав угасающие остатки сил, падая на белой пелене ската. Издали он был похож на подбитого, старающегося уйти зверя. Руки почти не действовали, разведчик полз на избитых о камни локтях, оставляя за собой небольшие красные пятна.

До конца перевала оставалось немного. Сивай видел склон горы, поросшей ползучей березкой. На ветках уцелели кое-где желтые, сморщенные листья. Видел одинокий ночной след тундровой мыши, снеговые дымки от бьющих впереди пуль. Он старался отвлечься, не слушать выстрелов, взвизгов свинца. Стрелки горячились и не попадали в разведчика. Сивай понял, что сможет уйти.

Теперь он очнулся совсем. Удивительно ясно представилось все происшедшее за несколько дней, сознание необходимости выжить, проползти эти оставшиеся складки горной вершины стало почти осязаемым. Он даже почувствовал в первый раз боль в израненных, кровоточащих локтях. Сейчас он действовал точно и расчетливо, жил и действовал не только для одного себя. Дух бодрствовал, сила сопротивления не была сломлена. Он двигался, ожидая последнего выстрела, и все же больше не задерживался нигде. Лишь неприятный холодок леденил спину. Словно она была голой.

Пошел снег. Колючие крупинки уже не таяли, медленно заволакивались дали. К винтовочным выстрелам присоединился и пулемет. Враги торопились прикончить разведчика, прежде чем тот доберется до конца плато.

Пули вспарывали наст, дробили сухую корку, кругом взметывались белые пучки. Сивай забивался поглубже, поспешно перебирал коленями, одеревеневшими кистями рук. Он потерял шапку, волосы и брови его обледенели, с трудом раскрывались веки. Он изнемогал...

Разрывная пуля настигла его, когда до спуска в долину оставалось всего несколько метров. Никелевая оболочка лопнула возле ключицы, переломила кость. Разведчик ткнулся в изрытую белизну, дернулся и наконец затих... Снег пошел гуще, плотнее, затем повалил хлопьями...

Солдаты прекратили стрельбу. Кряжистый, гладко, до красноты выбритый офицер, в теплой мохнатой шапке, не спеша вылез из блиндажа, подозвал капрала. Вынув пистолеты, они направились к краю площадки. За снеговой мутью едва нашли спуск на дорогу, возле которой должен был лежать Сивай. Но там его не оказалось. Осталась ямка, заносимые снегом темные сгустки крови. Тяжело раненный разведчик дополз до крутого обрыва и, скорчившись, покатился вниз. Еще курилась неглубокая борозда.

— Дьявол! — сказал офицер и, обозленный, певуче выругался. — Назад!

А внизу сопки Сивай продолжал ползти к своим. Он двигался теперь ногами вперед, помогая себе головой и здоровым плечом.

К вечеру его подобрала свои.

Колпаков был убит на четвертый день пути. Вражеские лыжники подстрелили его возле костра, разложенного беглецом, чтобы согреться. Исхудалый пес один вернулся в лагерь. За ошейником торчала бумажка. «Прощайте! – писал умирающий. – Мне очень хотелось жить...»

1941



РАЗВЕДЧИК ТАТЬЯН

Знакомство наше было необычным. В свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую пыль, разговаривать на воздухе было неуютно. Поэтому моряки-разведчики пригласили зайти в хату. Мужественные лица окружили меня – загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обойм. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрыл сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

– Воюешь? – сказал я, похлопывая его по щеке. – Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

– Восемнадцать, – ответил разведчик тонким голоском.

– Ну?.. Прибавляешь, небось, чтоб не выгнали?

– Ей-богу, восемнадцать, – повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского

любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

– Ну ладно, пусть восемнадцать, – сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке. – Откуда ты появился, как тебя – Ваня, что ли?

– Та це ж дивчина, товарищ письменник! – густым басом сказал гигант. – Татьяна с-под Беляевки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое – взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собрались в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокочущий, как самолет: это под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

– Не вы первый! – сказал гигант, отдышавшись. – Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьян – морской разведчик?

...Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба. Девушка пришлась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец,

когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы – необходимость маскировки и страстное желание сохранить *флотский* вид, столкнувшись, породили эту необыкновенную форму.

Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ – гигант-комендор с «Парижской коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные, – и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и «Татьян» теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель, только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что видела в Беляевке перед побегом; и ясные ее глаза

темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мной девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаще, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» – бывший киномеханик, районный сердцеед первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

– Оце бачив? – спросил он негромко. – Що она тебе – зажигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких, соленых шуток, от обид и приставаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо – любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания – гордую слабость высокой во-

инской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба – в ярость, нежность – в силу. Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дожидаться их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки прижались к скале, но пули щелкали все ближе – румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом – пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выда-

вал себя во тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было.

Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде – со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырщ был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

– Яку дивчину загубили... Эх, моряки...

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь – целомудренную, скромную, терпеливую, он говорил о Татьяне. Он вспо-

минал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос – и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна-девушка, так не похожая на «разведчика Татьяну» – нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он берег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда «Татьян» снова будет Таней. Но мечта была в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе...

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она была по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один – для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырца. Пробираясь к скале, он слышал стрельбу и, обогнав остальных раз-

ведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой – и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд.

– Колы помру, молчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чуе... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом поднимали носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской коммуны».

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

СОЛОВЕЙ

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели

под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, – неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» – полосатая тельняшка – свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их – противный, ноющий, длинный – был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она прорыла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной

способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, хлопанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружились, были немедленно обращены на *пользу дела*.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командир. Клоханье курицы означало, что у хаты замечен часовой, крик утки – что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

– Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще – непременно будет! – жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто во-
рвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках – его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжело и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к

шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей – птица кустов и деревьев – пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

В ЛЕСУ

Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то мешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на

животе в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забилось гулко и часто. Ни волевым напряжением, ни ровным дыханием нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один – в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножью сосны, ударил о снег и погрузил в это забытие.

Ночью их было двое – сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они подобрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, два

друга, два удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда. Вон в той заросли ельника они пролежали полчаса, а может быть, час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя, еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять – десять минут, уверенный, что Коля вернется, – не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарядит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием, Ситин сказал: «Полно «кукушек»...

давай по ельнику... пощупаем, что справа...» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чашу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо. И, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание.

Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне, в какую-то яму, и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник, снег и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи – на это не хватило бы тепла. Его и так мало оставалось в теле, намерзшемся за долгие часы забытья.

Солнце переползало по пышным елям, двигалось вокруг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, запах вишен, журчанье у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знал. Он думал только о темноте любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин...

И не нужно будет считать удары сердца, искать, как переместилась тень от сосны. Не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было невыносимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханьем завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыхание. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напряг мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался без-

оружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: теперь снайперу было не до шевеления ели — осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплое обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырытую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели.

Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку, искал оружие. Граната снова попалась ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунул голову и осмотрелся не таясь. Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился — и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово «кукушки». Здесь висели повешенный на сук автомат, обоймы, мешок с

продовольствием, бинокль, фляга – все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот.

– Толково наши бьют, – сказал он громко. – Где ж им под таким огнем усидеть...

И он поудобнее устроился на ветвях, взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст, видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне, Он ждал новой смены...

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты – четверо – шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали: двое на первый труп,

третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями: вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась – очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь раскололось, и вокруг завизжали осколки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман, и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику, обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели.